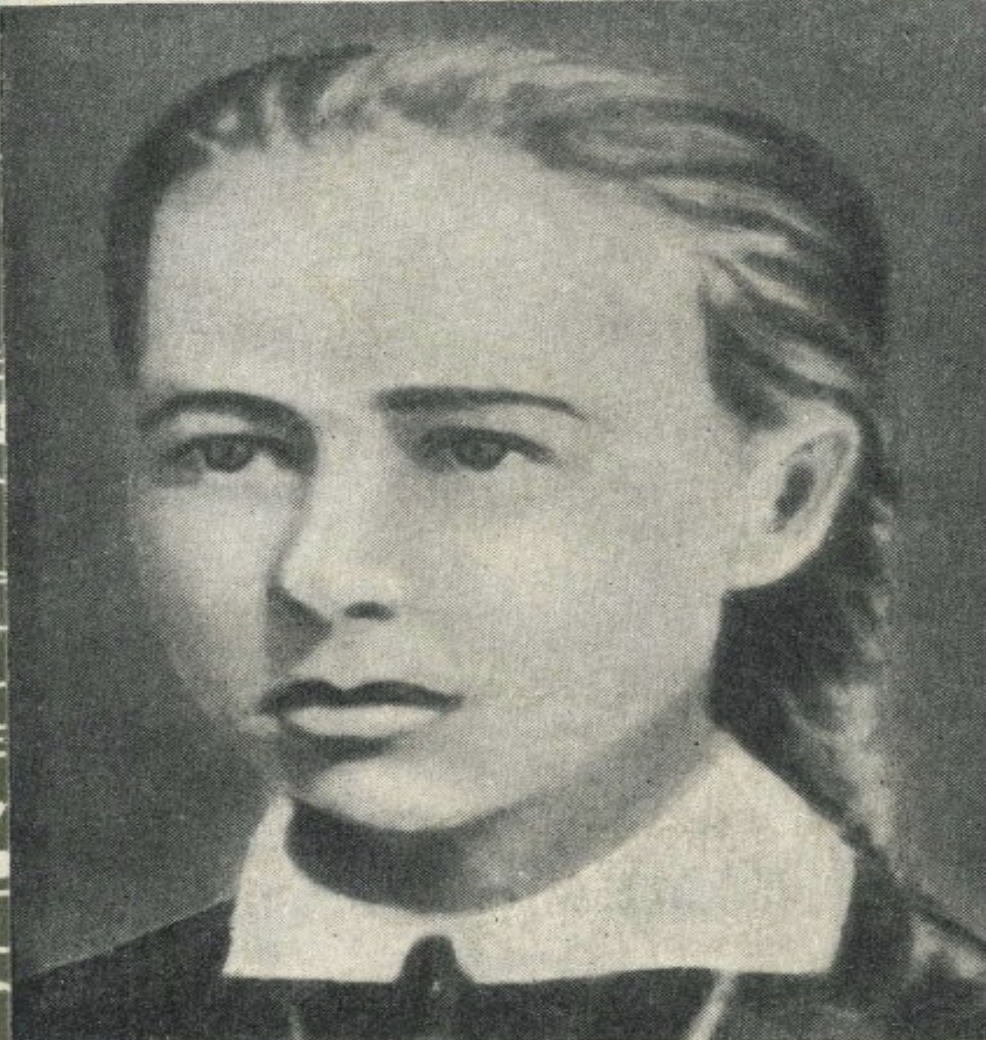
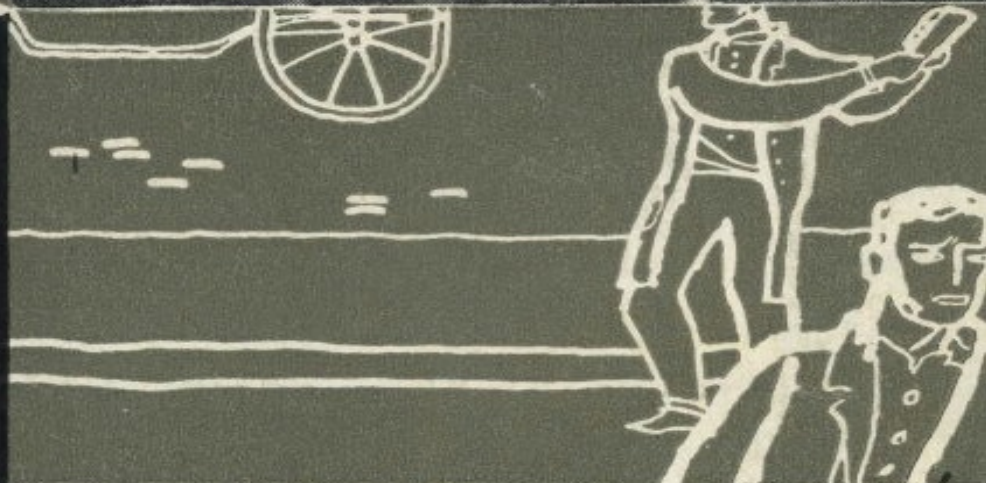


ПЕРОВСКАЯ



*Елена
Сегал*



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга посвящена жизни и деятельности Софьи Перовской (1853–1881), участнице революционного движения «Народная воля».

В 1881 под руководством Софьи Перовской было совершено покушение на царя Александра II.

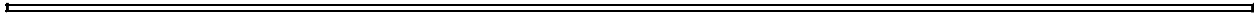
- [Елена Сегал](#)
 -
 -
 -
 -
 - [ПРЕДДВЕРИЕ ЖИЗНИ](#)
 - [Семейная хроника](#)
 - [Детству приходит конец](#)
 - [Новые веяния](#)
 - [Разрыв](#)
 - [ЧАЙКОВЦЫ](#)
 - [Боевое крещение](#)
 - [Сент-Антуанское предместье](#)
 - [Пока суд да дело](#)
 - [ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ](#)
 - [«Встаньте! Суд идет!»](#)
 - [Переоценка ценностей](#)
 - [Продолжение происшествия в Доме предварительного заключения](#)
 - [БОРЬБА РАЗГОРАЕТСЯ](#)
 - [Первое сражение](#)
 - [Заживо погребенная](#)
 - [У разбитого корыта](#)
 - [Конгресс землевольцев](#)
 - [В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ](#)
 - [Агент Исполнительного Комитета М. С. Сухорукова](#)
 - [Концы нитей](#)
 - [Год тысяча восемьсот восемьдесятый](#)
 - [«Народная воля» устанавливает](#)
 - [Лидия Антоновна Воинова](#)

- [ДЕЛО ПЕРВОГО МАРТА](#)
 - [Февраль месяц](#)
 - [Первое марта](#)
 - [Мартовские дни](#)
 - [На судебной трибуне](#)
- [Основные даты жизни и деятельности](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)



- [Краткая библиография](#)
- [INFO](#)
- [ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 15

348

МОСКВА

1962

Елена Сегал

СОФЬЯ ПЕРВОСКАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

М., «Молодая гвардия», 1962

*Вот кто-то вспыхнул папироской.
Средь прочих — женщина сидит:
Большой ребячий лоб не скрыт
Простой и скромною прической,
Широкий белый воротник
И платье черное — все просто,
Худая, маленького роста,
Голубоокий детский лик,
Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор
Горит отвагой и печалью...*

А. Блок, «Возмездие»



Когда хочешь, чтобы перед глазами вновь прошла давно оборвавшаяся жизнь, когда стремишься воссоздать образ человека, которого давно уже нет на свете, прежде всего обращаешься к его письмам, дневникам, воспоминаниям, ко всему тому, в чем, сколько бы ни прошло лет или столетий, нетленными сохраняются мысли, чувства, переживания.

Но переписки Софьи Перовской не существует. Она уничтожала письма своих корреспондентов, они уничтожали ее письма. Каждая неосторожная запись в те дни повальных обысков и арестов послужила бы лишней уликой.

Да и не до дневников ей было. Слишком напряженно она жила, слишком заполнено было ее время действием. Все ее помыслы были обращены в будущее, а до той поры, когда живут воспоминаниями, ей дожить не пришлось.

Словно смерч прошел по стране. Сподвижники Перовской, которые не погибли вместе с ней на эшафоте, все равно были выхвачены из жизни — приговорены к тюремному заключению, к каторжным работам.

Царскому правительству мало было уничтожить человека физически. Такие газеты, как «Новое время» и «Московские ведомости», сделали вслед за прокурором все, чтобы исказить самый образ Софьи Перовской. И никого не осталось в России, кто мог бы взять на себя ее защиту.

Но убить человека легче, чем уничтожить память о нем.

У Софьи Перовской были друзья и по ту сторону границы. Редакция листка «Народной воли» успела передать им брошюру о ней, собранную, как мозаика, из отдельных, отрывочных безыменных воспоминаний. Кропоткин поместил в журнале «Le Revolte» литературный портрет Перовской. Кравчинский сразу же взялся за ее биографию.

«...Я все-таки более других знаю этих людей, — написал он Вере Засулич и Плеханову, посылая им вышедшую в Милане на итальянском языке «Подпольную Россию» — книгу очерков о русских революционерах, — мне хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы их образы не совсем утонули в бурлящей пучине русской политической жизни...»

Суд не поспешил, назначая соратникам Перовской сроки наказания, но и самые длинные сроки приходят к концу. В тюрьмах, в ссылках, на каторге те из них, которым удалось выжить, жили воспоминаниями героического прошлого. И как только появилась возможность, стали этими воспоминаниями делиться.

Наступил 1917 год, и вышло на суд людской то, что казалось погребенным навеки — архивы Третьего отделения, судебные архивы.

Когда перелистываешь материалы предварительного следствия: протоколы допросов, очных ставок, воспоминания о Перовской брата, друзей, товарищей по работе; когда видишь единственное, сохранившееся до наших дней письмо, написанное рукой самой Софьи Львовны, постепенно заполняется канва героической жизни. Из пожелтевших страниц книг, из черных рядов строк вырисовывается черта за чертой необыкновенно мужественный и в то же время обаятельно-женственный образ, возникают глаза, пронзительные и серьезные, выпуклый, широкий, высокий лоб и совсем юная, совсем детская улыбка.

ПРЕДДВЕРИЕ ЖИЗНИ



*Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую.
Взвесь волю твердую —
Каким идти?*

Н. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»

Семейная хроника

Родилась Софья Перовская в Петербурге в сентябре 1853 года. Отец ее Лев Николаевич в это время служил в государственном банке. А работа его на Петербургской таможне, военная служба — он до того, как вышел в отставку, был адъютантом командира корпуса — и еще более давняя служба на Ладожском канале уже ушли в область воспоминаний.

Лев Николаевич был дворянином, происходил из семьи, занимавшей в обществе почетное место. Дед его граф Алексей Кириллович Разумовский приходился родным племянником морганатическому мужу^[1] императрицы Елизаветы — графу Алексею Григорьевичу Разумовскому.

То, что отец Льва Николаевича, Николай Иванович, был внебрачным сыном, не имело особого значения: Алексею Кирилловичу удалось и его и других своих детей от Марии Михайловны Соболевской приписать к дворянству. Незаконное происхождение Перовских — им дали фамилию по имени Перово, в котором происходило венчание императрицы, — было давно забыто, так же как забыто было простонародное происхождение самого Алексея Григорьевича Разумовского. Прежде чем сделать головокружительную карьеру и стать супругом императрицы, Алексей Григорьевич был всего-навсего певчим придворной церкви, а еще раньше пастухом.

Несмотря на знатное происхождение и хорошее образование — Лев Николаевич учился в Царскосельском пансионе, а после того как пансион был закрыт, кончил институт путей сообщения, — семейство Перовских вело сравнительно скромный образ жизни. Небольшое жалованье не давало Льву Николаевичу возможности устраивать у себя приемы, поэтому и сам он бывал только у своих знатных родственников, к которым возил с собой жену, а изредка и старших детей.

Соня, как самая младшая, оставалась дома с няней, а если Варваре Степановне удавалось под каким-нибудь предлогом отказаться от неприятных для нее визитов, то и с матерью.

Позже братья рассказали ей во всех подробностях и о поездках в Царскосельский дворец, где они бывали в гостях у дяди отца — воспитателя детей Александра II, и о посещении другого его дяди — бывшего оренбургского генерал-губернатора. Василий Алексеевич Перовский произвел на своих внучатых племянников мрачное, устрашающее впечатление, несмотря на то, что встретил их благосклонно и

даже подарил каждому из них по золотому червонцу.

Соня была еще так мала, что ничего из того, что было в те годы, не могло сохраниться у нее в памяти, и она знала об этом первом петербургском периоде своей жизни только понаслышке, из рассказов старших.

Когда же она сама вспоминала свое раннее детство, ей представлялся не Петербург с его многоэтажными каменными домами, булыжными мостовыми, гранитными набережными, а деревянный городок Псков: дощатые мостки на поросших травой улицах, покрытый тесом дом с мезонином и сад, главное — сад.

В этом саду, большом и запущенном, дети проводили целые дни. Зимой спускались на санках с ледяной горки и скользили на коньках по замерзшему пруду, летом лазили по деревьям, качались на качелях и, вооруженные деревянными мечами, воевали с крапивой за полуразвалившейся банькой. Соне оттого, что она была меньше всех ростом, доставалось от их многоголового врага особенно сильно. Крапива обжигала ей не только ноги и руки, но и шею и даже лицо. Варвару Степановну это приводило в ужас, а Соню несколько не смущало. После каждого нового ожога она с новым пылом бросалась в атаку.

Как-то раз, когда Маша, Вася и Соня втроем играли у дощатого забора, отделявшего сад псковского вице-губернатора Перовского от сада псковского губернатора Муравьева, их внимание привлек детский голос и стук копыт. Вася попробовал заглянуть в щель между досками, а когда убедился, что через нее никого и ничего разглядеть нельзя, взобрался на забор.

То, что он увидел в губернаторском саду, поразило его до глубины души. По выложенной камнями и посыпанной песком дорожке в крошечной, похожей на игрушечную, коляске ехал нарядный мальчик и сам правил запряженным в нее мулом. Вася не мог оторвать глаз от мула, а мальчик, не отрывая глаз, смотрел на Васю. У него было все то, о чем другие дети не смеют и мечтать, но не было товарища.

Знакомство состоялось в полминуты, а еще через полминуты и Маша и Соня очутились по ту сторону забора. Вслед за первым посещением последовало второе, а после того как губернатор Муравьев побывал у Варвары Степановны с визитом, дети стали навещать своего нового товарища уже не воровским способом, а с разрешения родителей, как полагалось благовоспитанным детям.

В губернаторском саду был большой пруд, а на пруду — паром. Вот на этом-то пароме и происходили теперь самые интересные игры. Колиной

бонне не очень-то улыбалось целый день качаться на воде, и она устраивалась со своим вышиванием на берегу. Зато дети без устали перебирались с одного конца пруда на другой, представляя себе при этом, что плывут на самом настоящем корабле. Каких только приключений не случалось с ними в их воображении: они то преследовали пиратов, то спасались от них, то сами становились пиратами.

Однажды, когда они по своему обыкновению переправлялись с берега на берег, Коля на середине пруда, в самом глубоком месте сделал какое-то неловкое движение, упал в воду и сразу же пошел ко дну. Бонна, вместо того чтобы броситься к своему питомцу на помощь, растерялась, стала плакать, кричать, рвать на себе волосы.

И плохо пришлось бы Коле, если-бы Вася, Маша и маленькая Соня не втащили его общими силами к себе на паром.

Воспоминания о проведенных в Пскове годах у Сони остались самые смутные. Бесчисленные переправы на пароме слились в ее памяти в одно нескончаемое путешествие. Но тот день, когда с ними произошло не воображаемое, а настоящее приключение, она запомнила ясно, четко, на всю жизнь.

Товарищ Сониных детских игр Коля Муравьев и был тот самый прокурор Николай Муравьев, который много лет спустя так настойчиво требовал для нее на суде смертной казни.

Годы шли размеренно и спокойно. Дети понемногу подрастали. Старшие — Коля и Маша уже начали учиться, а Вася и Соня по-прежнему большую часть дня проводили в играх. Варвара Степановна в Пскове была избавлена от ненавистных ей светских обязанностей и отдавала детям все свое время: читала им вслух, учила их говорить по-французски. Лев Николаевич возвращался из присутствия поздно, но зато дома бывал весел, играл со старшими детьми в городки. За обедом он забавлял всех, рассказывая маленькой Соне всякую смехотворную ерунду и задавая ей при этом самые глубокомысленные вопросы.

Сонины ответы бывали настолько неожиданными, что все, в том числе и сам Лев Николаевич, покатывались со смеху. Одна только Соня оставалась серьезной и с недоумением смотрела на окружающих.

Вечера, которые муж проводил дома и не играл в карты с кем-нибудь из сослуживцев, Варвара Степановна считала праздничными. Они тогда всей семьей усаживались вокруг стола, и Лев Николаевич принимался им читать вслух. Соня тоже забиралась на диван, за спину матери и внимательно слушала. Отдельные слова ей были понятны, но общий смысл

до нее, конечно, не доходил. Чтение обычно кончалось тем, что Сонины глаза закрывались сами собой, и она засыпала сладчайшим сном.

Жизнь установилась. Казалось, что надолго. Но случилось событие, которое ворвалось в нее и резко ее изменило. Умер Сонин дед Николай Иванович Перовский. Лев Николаевич сразу же поехал в Крым для оформления наследства и составления раздельного акта с братом Петром Николаевичем. На обратном пути он остановился в Петербурге и через своих влиятельных родственников выхлопотал себе перевод в Симферополь.

Лев Николаевич имел основания стремиться к переезду. Дело в том, что Николай Иванович был раньше таврическим губернатором, и в Крыму фамилия Перовских пользовалась большим уважением. Льву Николаевичу казалось, что там он сможет сделать карьеру скорее, чем в любом другом месте. Что касается Варвары Степановны, то она с радостью осталась бы в Пскове. Ей жалко было расставаться с тамошней приятельницей Екатериной Петровной Окуневой, не хотелось бросать удобный, обжитой дом. Началась предотъездная суэта: бесконечная укладка, продажа за бесценок тех самых вещей, покупке которых радовались еще совсем недавно.

В вагоне Соня сразу устроилась у запыленного окна. Поначалу путешествие очень нравилось ей. И не мудрено: ведь она впервые ехала в поезде не на руках у няни, а сама по себе, как равноправный член семьи. Зато после Москвы, когда пришлось тащиться на перекладных, дорога превратилась для нее в сплошное мучение.

Большую, четырехместную карету, в которой она поместилась вместе с матерью, Машей, Васей и няней, до того заполнили вещами — сундуками, сундучками, узелками и узелочками, что для людей в ней почти не осталось места. И особенно тесно становилось, когда Варвара Степановна впускала в карету Сониных четвероногих друзей — охотничьих собак Льва Николаевича. А делать это приходилось часто: при каждой встрече с овечьими стадами.

Впечатлений было много.

Путешественников вместе с каретами переправили через Днепр. Мимо них провезли пленного Шамиля с его женами и детьми. Им навстречу попадались груженные солью воловьы обозы, и пыль тогда поднималась таким густым облаком, что приходилось даже сворачивать с дороги.

С утра Соня с любопытством вглядывалась, в то, что делается за окном

кареты, а к вечеру настолько уставала от духоты, тесноты и пыли, что уже не в состоянии была чем бы то ни было заинтересоваться.

В конце концов она сама, перестала понимать, что ей больше надоело: тащиться ли целые дни чуть не ползком по береговому песку или ночевать на все новых и всегда одинаково грязных почтовых станциях.

Путешествие длилось, длилось, длилось — казалось, что оно будет длиться вечно. Но когда карета поехала по цветущей долине между двумя рядами пирамидальных тополей и Соня увидела горы, красота вокруг, воздух, полный чудесных ароматов, вознаградили ее за все перенесенные трудности.

В Кильбуруне детей привели в восторг и сад и дом, но больше всего им понравился вид, который открывался из всех окон дома: внизу, в долине, сверкала река Салгир, а на самом верху, над линией гор, резко вырисовывался Чатыр-Даг. Казалось, достаточно протянуть руку, чтобы коснуться его вершины. Прозрачный воздух приближал все, как стекла бинокля.

Дети нашли себе в Кильбуруне множество занятий. Они с большим интересом слушали рассказы дяди Петра Николаевича о жизни в Китае, с любопытством рассматривали привезенную им оттуда коллекцию; купались в реке, объедались фруктами, стреляли из медных отбитых у французов в 1812 году пушек. Если бы это зависело от Васи и Сони, они с удовольствием обосновались бы у бабушки Шарлотты Петровны, но у взрослых на все были свои планы, свои решения, и детям волей или неволей приходилось этим решениям подчиняться.

В Симферополе, на углу Соборной площади и Екатерининской улицы, где теперь поселились Перовские, началась для Сони невеселая жизнь. Раньше в гимназии учился только Коля, а теперь поступил туда в первый класс и Сонин постоянный товарищ Вася. Несмотря на возражения Варвары Степановны, Лев Николаевич отдал Машу в институт благородных девиц. Он боялся, что жена не сумеет дать дочери достаточно светское воспитание.

Но скучать Соне приходилось только зимой. Когда старших братьев и сестру отпускали на каникулы, наступали и для нее хорошие дни. Лев Николаевич на лето снимал дачу в Евпатории, у самого моря, и дети все свое время проводили на берегу, строили с увлечением крепости и с еще большим увлечением барахтались в теплой воде.

Варваре Степановне, которой не хотелось покидать Псков, понравилось в Крыму. А вот Льву Николаевичу, возлагавшему на свой

переезд столько честолюбивых надежд, пришлось испытать горькое разочарование.

Он с самого начала не сумел наладить хороших отношений с таврическим губернатором генералом Жуковским. Эти отношения становились все хуже, пока не дошло и до открытой борьбы.

И чем больше проходило времени, тем чаще происходили столкновения между вице-губернатором и губернатором, тем хуже делалось настроение Льва Николаевича, и тем тяжелее становилась жизнь в доме у Перовских.

Победителем в этой борьбе оказался губернатор; по его ходатайству Перовского отчислили в министерство.

Опять начались хлопоты, которые длились долго, но благодаря высокопоставленной родне и на этот раз увенчались успехом.

Опять пришлось Варваре Степановне собираться с детьми в дальний путь, но уже не с севера на юг, а с юга на север.

Казалось бы, исполнились самые смелые мечты Льва Николаевича. Он, вице-губернатор столичной губернии, принят в лучшем обществе. Может сам устраивать приемы и жить широко, по своему вкусу.

Но Лев Николаевич, вместо того чтобы радоваться, с каждым днем становился мрачнее и мрачнее. Он был доволен всем, но недоволен женой. Когда он встретил в глуши Могилевской губернии дочь скромных помещиков Варвару Степановну Веселовскую, она пленила его строгой красотой, искренностью, естественностью. Но жена, подходившая отставному офицеру, была, по мнению Льва Николаевича, совсем не под стать петербургскому вице-губернатору. Уже в Симферополе он с трудом мирился с тем, что он называл ее «провинциализмом», а здесь, в Петербурге, и слышать не хотел о том, чтобы с чем бы то ни было мириться.

Он сознавал, что Варвара Степановна прекрасная мать, жена, хозяйка, но не прощал ей того, что она не сумела занять в обществе место, принадлежащее ей по праву как его жене, не сумела поставить дом, как должен быть поставлен дом у человека его положения. Пусть она была и умнее и лучше, даже красивее женщин, с которыми он теперь встречался, ей не хватало того, что он больше всего сумел бы оценить, — не хватало светскости.

Предгрозье — мучительное ожидание чего-то, что вот-вот должно разразиться, чувствовалось в доме почти всегда, и самый напряженный час в течение дня бывал час обеда.

Сколько раз, вбежав в столовую, оживленная и покрасневшая Соня ловила на себе строгий взгляд гувернантки. Но она по каким-то неуловимым признакам и без предостерегающих взглядов чувствовала, когда в доме творилось неладное. Веселое настроение покидало ее тогда в одно мгновение, и она молча садилась на свое место.

С виду, казалось бы, все осталось по-старому. Тарелки на накрахмаленной скатерти стояли в обычном порядке, сияли блеском и отсвечивали ножи, соль в солонках походила на нетронутый снег, но Соне в такие дни и без того мрачная столовая с тяжелой мебелью из полированного дуба казалась еще мрачнее.

Да не одна Соня — все сидели молча, будто только что произошло несчастье.

Что же происходило в этом доме? Да ничего особенного. Просто Лев Николаевич, который и раньше был разборчив в пище, став петербургским вице-губернатором, сделался еще разборчивее. Если спаржа оказывалась недостаточно сочной, если какое-либо блюдо было приготовлено или подано иначе, чем, по его мнению, полагалось готовить и подавать, он на весь вечер терял хорошее расположение духа. Варваре Степановне, матери семейства, хозяйке дома, приходилось в таких случаях в присутствии гувернантки, детей и прислуги выслушивать пренеприятные вещи по поводу провинциального воспитания и мещанских привычек ее самой и всей ее родни.

Излив свой гнев, Лев Николаевич и сам чувствовал себя неловко. Он пробовал обращаться с вопросами к детям, но дети отвечали односложно. Было ясно, что они сочувствуют матери и не хотят с ним вступать в разговор. Варвара Степановна в подобных случаях отмалчивалась, и Лев Николаевич довольно быстро успокаивался, но потом из-за самого ничтожного повода все начиналось сначала.

Сцены между Львом Николаевичем и его женой еще чаще, чем за обеденным столом, происходили в карете на обратном пути из гостей. Варвара Степановна была от природы застенчива, а под неотступным взглядом мужа вовсе теряла присущую ей естественность и действительно вела себя в обществе не так, — как другие женщины ее круга. Она с тоской вспоминала свою жизнь в Пскове, где сама чувствовала себя на месте и муж не находил, что они не пара.

Обстановка в доме создалась настолько напряженная, что Варвара Степановна решила попросить Льва Николаевича отпустить ее на лето вместе с детьми под Псков, в имение Окуневых. Лев Николаевич не очень возражал против этого плана. Да и возражать-то не было особых причин.

Дачи под Петербургом, в каких подобало жить семейству вице-губернатора, стоили очень дорого, а Лев Николаевич не считал денег только тогда, когда тратил их на собственные прихоти.

Соня ждала переезда на дачу с большим нетерпением. Когда почтенного вида швейцар открыл настежь широкие двери особняка на Екатерингофском проспекте и два младших дворника стали выносить вещи, ей стало бесконечно весело. Ведь впереди было лето, праздник, который продлится целых три месяца.

Уже в день приезда Окуневка стала для нее и Васи знакомой местностью. За каких-нибудь три часа они успели погулять по берегу извилистой реки, осмотреть водяную мельницу, побывать в лесу и, главное, познакомиться с лесным сторожем Емельянычем, старым отставным солдатом. Емельяныч знал все грибные места, знал, где водятся тетерева и бекасы, умел предсказывать погоду. Дети скоро с ним подружились. Им нравилось его коричневое от загара лицо, его быстрые пальцы, которые всегда что-нибудь мастерили. Но больше всего им нравилась его рассудительная речь.

От Емельяныча они узнали много такого, чего дома им никогда не пришлось бы узнать. От него они узнали о нескончаемых притеснениях начальников, он объяснил им, что значит слово «шпицрутены» и страшное приказание «прогнать сквозь строй».

— Видите шрам, — закончил Емельяныч один из своих рассказов. — Это мне полковник Берг знак поставил хлыстом, чтобы не спутали.

— Так раньше было, — сказал Вася, — а сейчас лучше.

— Какое о там лучше! — возразил Емельяныч. — Вот вашего брата благородного пальцем тронуть нельзя, а нашему брату на роду написано битым быть. Чуть что, в морду — раз, в кровь.

Детям стало страшно: ведь их отец был когда-то офицером в Измайловском полку. Неужели он тоже бил солдат? Им захотелось спросить его об этом, но они тут же поняли: лучше не спрашивать.

Варвара Степановна предоставила детям в Окуневке полную свободу. Сама она проводила время с Екатериной Петровной Окуневой. Маша и дочь Екатерины Петровны гуляли, обнявшись, по саду, поверяя друг другу свои тайны. Коля, у которого уже было двуствольное ружье, ходил на охоту вместе со взрослыми мужчинами, а Соня и Вася забирались с утра пораньше в лес. Они возвращались домой, только чтобы пообедать или поужинать.

Им надоели чинные прогулки по Летнему или Екатерининскому саду, скучные надписи: «Не ходить по траве», «Не рвать цветов», «Не ломать кустов». Их раздражали скучные правила гувернантки Анны Карловны: не играть с чужими детьми, не отходить далеко, не говорить по-русски. И потому здесь, в Окуневке, где разрешалось ходить по траве, лазить на деревья и даже разводить костры, они наслаждались вольной жизнью.

По вечерам в доме Окуневых собирались гости. Издалека виднелись на веранде белые и розовые платья, слышались смех и пение. На зеленых картонных столах далеко за полночь мерцали свечи.

Соня и Вася были не здесь, а в лесу. Раскладывали костер и варили себе похлебку из грибов и картошки. Ели деревянными ложками прямо из котелка. Никогда еще еда не казалась им такой вкусной, хотя похлебка сильно отдавала дымом и в котелок попадали листья, сосновые иглы и даже ночные бабочки.

Но вот начались дожди. Просыпаясь ночью, Соня за деревянной стеной слышала однообразный шум и думала с грустью: «Скоро лету конец, скоро город». Целые дни приходилось теперь просиживать дома. По счастью, Вася отыскал в шкафу несколько потрепанных книжек. Одна из них носила страшное и заманчивое название: «Охота за черепами». На Васю произвело сильное впечатление, что эту книгу написал не простой писатель, а капитан — капитан Майн Рид. На картинках были нарисованы голые до пояса, горбоносые индейцы, мексиканцы в штанах с раструбами, серые в яблоках мустанги.

Соня и Вася уселись в детской на кровати и принялись за чтение. Они настолько увлеклись, что остались в комнате даже после того, как выглянуло солнце и небо стало голубым. Им, было не до прогулок.

Вокруг них грохотали выстрелы, проносились на бешеных конях отряды команчей, слышалось рычанье ягуаров. Они оторвались от книги, только дочитав до последней страницы.

В середине августа погода совсем испортилась, и Варвара Степановна стала собираться в Петербург.

В городе все опять пошло по-старому. Вася чуть свет уходил в гимназию, Соня с утра усаживалась за гаммы. В большой светлой зале было тоскливо, как в пустыне. На блестящем паркете не виднелось ни соринки. Стулья вдоль стен стояли в таком строгом порядке, будто их поставили на вечные времена. Лес в большой золоченой раме совсем не напоминал настоящий лес. Соня не отличалась музыкальностью, и два часа, которые ей приходилось проводить за роялем, тянулись для нее медленно, словно две недели.

Она с удовольствием отдавала бы их чему-нибудь другому, более интересному. Но очень хорошо знала, что Лев Николаевич не допустит, чтобы его дочь, барышня из порядочной семьи, не умела играть на рояле.

В час к Соне приходил учитель, студент Кондырев. Он был неплохой человек, но не сумел заинтересовать свою живую, непоседливую ученицу. Слушая его монотонный голос, Соня развлекалась чем могла. Воображала, например, что слова в учебнике — полярные льдины, а промежутки между ними — море, свободное для прохода судов. Задача состояла в том, чтобы провести корабль по странице, лавируя между льдинами.

После обеда Соня бралась за чтение. Она научилась читать поздно, когда ей исполнилось восемь лет, но теперь давно уже наверстала упущенное время. Пока Вася занимался, она сидела против него за тем же столом, но стоило ему отложить учебники, как и она тут же с радостью закрывала книгу.

Вася был теперь занятой человек: ходил в гимназию, делал уроки, но свои свободные часы по-прежнему проводил в играх с Соней. Он гордился сестрой: ему нравилось, что она не похожа на других девочек, не плачет по пустякам, не возится с куклами. Он любил рассказывать товарищам-гимназистам, как она, когда была еще совсем маленькой, не испугалась бешеной собаки, как по его команде зажигала в Кильбуруне фитили у пушек и совсем не пугалась, когда раздавался выстрел, и пушки отскакивали назад.

«Вообще сколько я ни припоминаю, но никогда не мог вспомнить, чтобы Соня когда-нибудь чего-либо испугалась или вообще трусила», — написал он более полувека спустя.

Самая интересная из всех игр была у них не в детской, куда каждую минуту кто-нибудь мог зайти, а на первом этаже, где помещались приемная, канцелярия и кабинет Льва Николаевича. Днем в коридоре толпились люди. В канцелярии скрипели перья. Зато по вечерам там было темно, пусто и даже страшно. Это-то и нравилось Соне и Васе.

Однажды, воспользовавшись тем, что родители уехали в гости и никого из старших не оказалось поблизости, дети, забрав с собой два одеяла, коробок спичек и охапку щепок, спустились вниз. Держа руки вытянутыми, чтобы не ушибиться, прошли они по узкому темному коридору в канцелярию. Там было гораздо светлей. Свет уличного фонаря падал на длинные столы и отражался в черной клеенке, как в воде канала.

Из щепок Вася сложил в коридоре костер, а для растопки Соня взяла из канцелярии выброшенную в корзину бумагу. Когда огонь разгорелся,

они, изображая индейцев, завернулись в одеяла и уселись около костра.

Горела сразу вся куча бумаги. Одна за другой загорались и исчезали красивые строчки с завитушками в буквах «б» и «в». «Канцелярия санкт-петербургского губернатора сим доводит...», «Обращая внимание вашего высокопревосходительства...», «Государь император всемилостивейше повелеть соизволил...»

Самые торжественные слова превращались в пепел, прежде чем Соня успевала их прочесть.

Она глядела с тревогой на поднимающееся кверху пламя. Вася успокоил ее, объяснил, что пожара быть не может, потому что он нарочно разложил костер не на полу, а на железном листе перед печкой.

Но Вася напрасно гордился своей предусмотрительностью. Ему не пришло в голову, что дверь в канцелярию не обита железом, а как раз по этой двери и поднялось пламя. Вася бросился в канцелярию, схватил со стола графин и выплеснул из него всю воду. Вода зашипела. В одном месте пламя удалось сбить, но оно нашло себе другую дорогу и вскарабкалось еще выше. Коридор наполнился едким дымом.

— Беги скорей к швейцару! — крикнул Вася.

Соня побежала, потом вдруг резко повернулась, еще быстрее побежала назад, подняла с пола одеяло и набросила его на пылающую дверь. Край одеяла загорелся. Она затоптала огонь ногами и снова прижала одеяло к двери. Вася схватил второе одеяло и набросил его поверх первого. Так они стояли несколько минут, стараясь потушить пожар и дрожа от волнения.

— Кажется, потушили, — сказал, наконец, Вася.

И правда, огня больше не было, только дверь почернела. Дети быстро затоптали догоравшие на полу щепки и побросали их в печку. Вытерли одеялом лужу на полу. Потом, грязные, закопченные, отправились тихонько наверх. Несколько дней они ждали грозы. Но все кончилось благополучно: никто не узнал о набеге «краснокожих» на канцелярию санкт-петербургского вице-губернатора.

Опять пришло долгожданное лето. На этот раз оно не принесло детям ничего, кроме разочарования. Лев Николаевич снял дачу под Петербургом. Дача стоила дорого, но не пришлась по вкусу ни Соне, ни Васе. Их не пленили металлические шары на пестрых клумбах; им не понравились подстриженные под гребенку деревья.

Не понравился им и лес. То, что здесь, под Петербургом, называлось лесом, оказалось просто большим парком. И этот парк был настолько исхожен, истоптан, исполосован аллеями, дорожками, тропинками, что для

ягод и грибов в нем совсем не оставалось места. Вася и Соня с радостью забрались бы куда-нибудь подальше, в более дикие места, но по желанию Льва Николаевича распорядок дня на даче был такой же чинный, размеренный по часам, как и в Петербурге: опаздывать к завтраку, не являться вовремя к обеду, чаю или ужину тут тоже не полагалось.

Соне, которая больше всего на свете любила с утра до вечера бродить по лесам, полям и болотам, приходилось теперь заботиться о том, чтобы сохранять вид благовоспитанной девочки — не запачкать, не помять, не разорвать светлое нарядное платье. Но хуже всего было другое: стоило ей только выйти за калитку сада и сделать несколько шагов по узкой улочке — между двумя рядами заборов, как она натыкалась на других дачников, которые, на беду, почти всегда оказывались знакомыми.

Ходить в гости и принимать гостей до того надоело Соне и Васе, что они даже обрадовались переезду в город, но обрадовались напрасно. Жизнь, наскучившая им на даче, — продолжалась и в Петербурге. Маше уже исполнилось семнадцать лет, и Лев Николаевич, решив, что пора приучать ее к свету, стал устраивать дома еженедельные приемы-журфиксы. Для Сони и Васи, которым, полагалось на этих журфиксах присутствовать, они были сплошным мучением.

Детству приходит конец

Дни шли как полагается. Занятия с Кондыревым сменялись уроками музыки, уроки музыки — уроками танцев. А там журфиксы. И только по воскресеньям Соня по-прежнему ходила с Васей на английский каток у Николаевского моста.

Вдруг самым неожиданным образом все оборвалось, и Соня с Варварой Степановной очутились в чужой стране, в чужом городе. Их вырвала из обычной жизни телеграмма, подписанная незнакомой фамилией Поджио. В телеграмме сообщалось о безнадежной болезни Петра Николаевича Перовского. Захватив с собой Соню, крестницу и любимую племянницу Петра Николаевича, Варвара Степановна немедленно выехала в Женеву.

Больной обрадовался их приезду, но у Варвары Степановны стало совсем нерадостно на душе. По всему его изменившемуся облику она сразу поняла, что жить ему осталось недолго.

Когда умерла бабушка Шарлотта Петровна, Соня, была настолько мала, что это грустное событие прошло как-то мимо нее. Сейчас же, когда смерть угрожала Петру Николаевичу, Сочи-показалось, что она впервые встретилась с нею лицом к лицу. Она любила дядю. Он был ей ближе отца хотя бы потому, что лучше, теплее, с большим уважением относился к ее матери.

Варвара Степановна сразу же взяла на себя обязанности сиделки. Соня помогала ей как умела, но Петр Николаевич сам отсылал племянницу поиграть и поболтать с дочерью его друга и соседа по квартире старого декабриста Поджио; зрелище страданий казалось ему слишком тяжелым для Сониных двенадцати лет.

Соня охотно шла к Варя, но не для игр и болтовни, а для того, чтобы поговорить по душам о самых серьезных и важных вещах. Варя была моложе Сони, но многое знала, о многом успела подумать. Поджио души не чаял в дочери и делился с ней своими мыслями, как с другом, как со взрослым человеком. От Вари Соня узнала об аракчеевщине, о николаевском времени и, главное, о декабристах — смелых людях, которые не побоялись вступить за права народа, не пожалели ради его блага своей жизни.

У Поджио нередко бывал Герцен, и оба они, не стесняясь присутствием одиннадцатилетней Вари, вели нескончаемые разговоры и

споры о России. Герцен давно уже отошел от того настроения, которое в день освобождения крестьян вырвало у него слова: «Ты победил, галилеянин», а Поджио после короткого пребывания на свободе в России потерял веру в добрую волю общества и все свои надежды возлагал на продолжение царских реформ.

В Женеве тогда же проводил свои дни Бакунин. В той же Женеве можно было встретить эмигрантов совсем новой формации. Все эти люди, жившие в одно и то же время, были людьми разных эпох, разных взглядов, но одно их роднило — критическое отношение к существующим в России порядкам.

Соне и раньше далеко не все казалось справедливым, но ей и в голову не приходило, что с этой несправедливостью можно бороться.

Не здесь ли, в Женеве, она впервые увидела свою страду со стороны, впервые по-настоящему поняла, что порядок, который в ней установлен, не есть нечто раз и навсегда данное.

Сонина дружба с Варей Поджио внезапно оборвалась.

Петру Николаевичу стало совсем плохо. Варвара Степановна вызвала мужа. Он приехал, но не застал уже брата в живых. Прошло еще несколько печальных дней, и семья Перовских выехала из Женевы. На прощание Соня и Варя сфотографировались вместе.

И вот опять Петербург. Занятия с Кондыревым. Уроки танцев. Журфиксы.

Музыканты на хорах играют менуэт. Воздух под высоким потолком залы колеблется в такт музыке, качая бесчисленные огоньки в люстрах и канделябрах. Внизу черные и светлые фигуры сходятся и расходятся, поворачиваются, меняются местами. Как будто чьи-то руки ловко переставляют по шахматной доске черные и белые шашки..

Вася и Соня стоят вдвоем у стены и неодобрительно смотрят на танцующих. Улыбки кажутся им жеманными, движения — неестественными, воодушевление, с которым музыканты начинают в сотый раз один и тот же мотив, напускным.

Васе уже шестнадцатый год. Он вырос, стал серьезен и задумчив. Соне — двенадцать. У нее высокий, выпуклый лоб, короткие волосы зачесаны за уши. Одеты она еще как девочка.

— Не могу понять, — заявляет Вася, пожимая плечами, — как это взрослые люди, словно дикари какие-то, могут часами заниматься глупостями. Смотри, как наш Коля разлетелся к этой кукле в розовом платье. Хотел бы я знать, кто придумал дурацкое правило при встрече

проводить ногой по полу.

Соня вполне согласна с Васей, но, по ее мнению, реверансы еще глупее. Вася не спорит. Одну ногу отставить, коленки подогнуть. Это и ему кажется достаточно глупым.

Соня зовет брата в буфет. Лакомиться пирожными маленькой нигилистке совсем не кажется глупым занятием.

Осторожно, чтобы не задеть танцующих, брат с сестрой вышли из залы. В гостиной Соню окликнула Варвара Степановна, которая сидела в углу на диване рядом с какой-то чернобровой пышной дамой.

— Здравствуй, душечка, — обратилась дама к Соне и поднесла к глазам лорнет, — что же ты не танцуешь?

— Я не люблю танцевать, — ответила Соня, делая реверанс, и при этом густо покраснела, вспомнив свой разговор с Васей.

— Не любишь? — дама удивилась. — Что ж ты тогда любишь?

Соня сжала губы и нахмурилась. Она терпеть не могла глупых вопросов, с которыми взрослые считают своим долгом обращаться к детям. Варвара Степановна поспешила ответить за нее:

— Она у нас по целым дням читает. Нельзя оторвать от книги.

— Серьезная девица, мрачная девица, — произнес басом жандармский полковник, который незаметно подошел к разговаривающим. — Не сердитесь, барышня, — обратился он к Соне, заметив ее негодующий взгляд. — Я не в обиду вам говорю. Послушайте моего совета: побольше танцуйте и поменьше читайте.

— Что ж плохого в чтении? — удивилась Варвара Степановна.

— Весьма много, — ответил полковник. — Вы не знаете молодежи, сударыня, а мне вот по долгу службы приходится беседовать с такими вот молодыми людьми. Начинается с чтения, а кончается, знаете, чем? — Полковник поднял брови и торжественно закончил: — Революционными идеями.

— Ну что вы, — вступилась за Соню Варвара Степановна, — ведь моей дочери всего двенадцать лет.

— Я не о вашей дочери говорю, Варвара Степановна, а вообще о молодых людях. Не нравится мне направление современной молодежи. По чести должен сказать — не нравится.

Соня воспользовалась тем, что взрослые перестали обращать на нее внимание, еще раз сделала реверанс и выбежала из гостиной. Она нашла Васю в его комнате. Он сидел за столом и читал. Соня уселась рядом и передала ему разговор, который только что произошел в гостиной.

— Типичный жандарм, — сказал Вася. — Знаешь, как они

допрашивают арестованных? Как средневековые инквизиторы. У них в Третьем отделении есть даже особая комната, где истязают людей.,

— Откуда ты это знаешь? — спросила Соня брата.

— Да об этом все знают, — ответил он коротко и снова углубился в чтение.

Соня тоже взяла с полки книгу, но никак не могла сосредоточиться. Васины слова не давали ей покоя, а тут еще сквозь ладони, которыми она зажала голову, в уши врывались хриплые звуки музыки, развязные восклицания распорядителя танцев и, словно аккомпанемент ко всем этим звукам, ни на минуту не прекращающийся глухой топот ног.

Давно ли Лев Николаевич был всего только псковским вице-губернатором, жил в скромном деревянном доме и с грустью вспоминал о столичной жизни и столичных развлечениях? И вот, наконец, его давнишнее желание исполнилось. Он губернатор Петербургской губернии, принят в высшем обществе, живет в роскошном особняке, не задумываясь, тратит деньги, успешно продвигается по лестнице чинов.

И, может быть, ему удалось бы добраться до верхних ступеней этой лестницы, если бы внезапно не произошло событие, разрушившее сразу все его честолюбивые планы.

Был солнечный апрельский день. На улицах уже совсем просохло. Только грязные кучи снега, сохранившиеся еще в темных закоулках дворов, напоминали о недавней зиме. Лев Николаевич ехал в коляске по Невскому. Лошади ровно и быстро несли его по мягкой торцовой мостовой, без труда обгоняя извозчицы пролетки. Он сидел, откинувшись на скрипящие кожаные подушки, и рассеянно смотрел по сторонам. Вдруг бег коляски замедлился.

— Берегись! — крикнул кучер. — Берегись! — Что стали?

Кучка людей рассыпалась в стороны перед самым дышлом. «Какое-нибудь уличное происшествие», — подумал Лев Николаевич. Но через минуту заметил еще несколько таких кучек. На улице явно творилось что-то странное. Мимо проскакал на дрожжах какой-то военный в парадном мундире с развевающимся белым султаном на каске. Так же быстро промчалась придворная карета, которую легко было узнать по красным ливреям выездного лакея и кучера.

«Что-то произошло», — подумал уже с тревогой Лев Николаевич.

Коляска въехала на горб Полицейского моста. Впереди, до Адмиралтейства, весь Невский был запружен народом; все спешили в одну сторону — к Зимнему дворцу.

— Поезжай ко дворцу! — крикнул Лев Николаевич кучеру.

Огромная Дворцовая площадь казалась пустынной, несмотря на толпы народа, которые вливались, в нее из прилегающих улиц! Длинная вереница экипажей у подножья дворца с каждой минутой становилась все длинней. Лев Николаевич велел кучеру остановиться у комендантского подъезда, спрыгнул с коляски и побежал к дверям.

— Что случилось? — спросил он, проталкиваясь сквозь толпу.

— Разве вы не знаете? — сказал, обернувшись к нему, молоденький офицерик, почти мальчик. — В государя стреляли.

— Убили? — вскрикнул Лев Николаевич срывающимся голосом.

— Нет, жив... Спасли... Сейчас молебен будет. Лев Николаевич хотел пройти во дворец, но вспомнил, что нужно съездить домой надеть мундир.

— Что такое? Что с тобой? — спросила Варвара Степановна, увидев его расстроенное лицо.

— В государя стреляли, — ответил он отрывисто.

— Убили?

— Нет, жив.

— Кто стрелял? Где?

— Не знаю, — ответил с раздражением Лев Николаевич. — То-то и есть, что я, петербургский губернатор, не знаю, что делается в Петербурге.

Лев Николаевич переоделся и поехал во дворец. За это время весть о неудавшемся покушении разнеслась по городу. Казалось, весь Петербург высыпал на улицы.

На углу Гороховой толпа, собравшаяся около какой-то чайной, распевала «Боже, царя храни». Хором управлял, стоя на столе, высокий мужчина в гороховом пальто и широкополой шляпе. Из-под его короткого пальто виднелись засунутые в голенища зеленые полицейские штаны.

«Дураки, — подумал Лев Николаевич, — даже переодеться не умеют».

Дворцовая площадь на этот раз была вся залита человеческим морем. Над толпой медленно плыли ко дворцу круглые спины кучеров и ливреи выездных лакеев.

Залы дворца были переполнены. Всюду сверкало золото: золотые галуны, эполеты, аксельбанты переливались, вспыхивали, мерцали на темном сукне мундиров. Среди всего этого золота резко выделялась группа именитых купцов в черных сюртуках и белых жилетах.

В одной из зал Лги Николаевич наткнулся на странное зрелище. Генерал-губернатор князь Суворов пробирался сквозь толпу, ведя за руку какого-то мастерового в засаленной чуйке.

Раздались голоса: «Спаситель государя, Комиссаров...»

У государева спасителя был такой вид, как будто его ведут в участок.

Пот градом катился у него по лицу. Он озирался кругом, словно хотел улизнуть. Но длинные холеные пальцы князя Суворова крепко держали его за потертый рукав.

— Какая простой и какое величие! — прошептала дама, стоявшая рядом с Льном Николаевичем. И когда Комиссаром поравнялся с ней, схватила его за руку и быстро проговорила заранее приготовленную фразу: — Вы спасли не только государя, вы спасли Россию.

— Скажите мне, ради бога, что случилось и кто этот Комиссаров? — спросил Лев Николаевич проходившего мимо адъютанта.

— Государь, — стал торопливо, видно уже не и первый раз, рассказывать адъютант, — в третьем часу вышел из ворот Летнего сада, направился к коляске, поставил ногу на подножку. Вдруг — выстрел. К счастью, пуля пролетела мимо. Преступника схватили... Еще совсем молодой человек, в крестьянском платье... Государь подошел к нему и спрашивает: «Зачем ты это сделал?» А он обернулся к толпе и крикнул: «Это я за вас, братцы, за то, что вас землей обидели».

— Назвал он себя? — спросил Лев Николаевич.

— Нет, на все вопросы отвечает молчанием.

— Но при чем же здесь Комиссаров?

— Ах, Комиссаров! — Адъютант улыбнулся. — Его привез сюда генерал Тотлебен. Когда преступник прицелился, Комиссаров толкнул его под локоть, почти бессознательно. Но как забавен этот мужичок! Государыня протянула ему руку, а он взял и пожал ее, да так крепко, что государыня даже вскрикнула. Теперь его пожалуют в дворяне.

В это время распахнулись золоченые двери, которые вели во внутренние покои дворца. Большой выход начался. Впереди выступал император под руку с императрицей. Дальше следовал наследник, великие князья и княгини. Два камер-пажа несли бесконечный шлейф императрицы, стараясь не зацепить его в дверях. За каждой великой княгиней, неся ее шлейф, шел камер-паж. Шествие замыкали придворные дамы.

Громкое «ура» прокатилось по залам. Все наперерыв спешили поздравить императора. Каждому хотелось поймать царский взгляд, услышать царское слово, поцеловать царскую руку или плечо. Князь Суворов ходил от одной великой княгини к другой и говорил, вытирая глаза надушенным платком:

— Все веселятся о спасении государя, все радуются. Я один плачу, я — генерал-губернатор! Я не сумел охранить моего государя.

Лев Николаевич не унижался, не проливал слез. Он знал: все равно его

карьера кончена.

После того как летом 1866 года в «Правительственном вестнике» появилось сообщение о том, что действительный статский советник Л. Н. Перовский отстраняется от должности петербургского губернатора и переводится в совет при министерстве внутренних дел, Лев Николаевич целыми часами молча шагал из одного конца кабинета в другой. Жена и дети боялись обратиться к нему с вопросом.

Кредит немедленно исчез, и со всех сторон стали приходить кредиторы: портные, каретчики, обойщики, поставщики гастрономических продуктов. Платить было нечем: имения в Крыму давно были заложены и не приносили ни копейки дохода.

Лев Николаевич по-прежнему не хотел себе ни в чем отказывать. Когда пришлось выбираться из казенного дома, он заново отделал большую квартиру на Фонтанке у Симеоновского моста и из-за этого еще больше запутался в долгах. Все заботы упали на Варвару Степановну. Соня не могла без боли смотреть на ее измученное, похудевшее лицо.

Перед ней были: мать — человек высокой души, самоотверженная, готовая все вытерпеть ради детей; и отец — самолюбивый, деспотичный, для которого его карьера важнее всего на свете.

Теперь, после того как Соня побывала в Женеве, она стала интересоваться и тем, что происходит в стране. Ей хотелось понять, что заставило дворянина выстрелить в царя — освободителя крестьян да еще сказать при этом толпе: «Это я за вас, братцы, за то что вас землей обидели».

Во время крестьянской реформы Соне еще не было и восьми лет. Она слышала, правда, возбужденные разговоры о «воле», о «царе-освободителе», но не задумывалась над тем, что именно эти слова значат.

У них в доме отмена крепостного права, как ей казалось, ни на чем не отразилась. Варвара Степановна и раньше хорошо относилась к прислуге, а Лев Николаевич, когда на него находили приступы гнева, не считал нужным сдерживаться и после 19 февраля.

Соня могла делиться своими мыслями только с Васей. Все, что у них в доме говорилось о Каракозове неизменно сводилось к одному и тому же: к разговору об их собственном бедственном положении. Однажды она нечаянно подслушала спор между отцом и матерью. Лев Николаевич на чем-то настаивал, Варвара Степановна возражала:

— Пойми, мы разорены, мы нищие.

Соне приходилось видеть на улице бледных, истощенных детей. Она

со страхом заглядывала в окна подвалов. Знала, что люди, живущие там, внизу, ниже мостовой, погибают от голода, холода, болезней. И ей смешно было, когда у них в доме заговорили о нищете.

В разговорах о том, что надо перестроить жизнь, прошло лето, а потом осень, настала зима. И ничего не изменилось, кроме того, что к Соне перестал ходить учитель. Соня не очень любила его уроки. Но ей было обидно, что мальчиков продолжали учить, а на нее махнули рукой, точно она была человеком второго сорта.

Дни шли, а все оставалось по-прежнему. Повар каждое утро принимался работать над горой провизии. Лев Николаевич по-прежнему капризничал за столом. По вечерам, как и раньше, приходили гости, раскладывались карточные столы. А когда гости уходили, на зеленом сукне оставались написанные мелом столбики цифр.

Были зимние сумерки. Соня стояла у окна и смотрела на улицу. Шел снег. Снежные хлопья, похожие на куски бумаги, падали сверху без конца, без числа и счета на выступ под окнами, на набережную Фонтанки, на крыши домов по ту сторону реки. По чугунным перилам протянулись далеко-далеко мягкие снежные пуховички. Проедал извозчик, волоча по снегу незастегнутую рваную полость, свернул на мост, исчез за углом. Зимняя тишина, зимняя скука.

В доме так же скучно и тихо, как на улице. Вася в гимназии. Он уже в последнем классе, скоро будет студентом. Коли нет дома. Маша лежит на диване, завернувшись в теплый платок. В руках у нее книга.

— Маша, — обращается Соня к сестре, — что ты читаешь?

— «О-о-обыкновенную историю», — отвечает Маша, зевая.

Маша повернулась к стенке, подоткнула свалившийся платок за спину и погрузилась в чтение. А Соня снова подошла к окну. Снег продолжал падать. Становилось темно. Приближался вечер.

«Обыкновенная история»? Нет! Соня не хотела, чтобы ее жизнь была скучной обыкновенной

Весной у Перовских, наконец, действительно произошли перемены. Решено было отказаться от квартиры на Фонтанке и продать почти всю мебель. Лев Николаевич снял две комнаты у знакомых. Варвара Степановна с детьми уехала в Кильбурун, Коля и Вася к началу занятий вернулись в Петербург, а Соня и Маша остались в Крыму.

Зимой чтение было Сониным единственным развлечением. В одной из комнат старого барского дома находилась библиотека, принадлежавшая

когда-то Сониному деду. Вдоль стен на простых деревянных полках стояли рядами книги в запыленных переплетах, с горбатыми кожаными корешками. Кроме французских романов, среди них попадались мемуары, философские сочинения, исторические труды. От переплетов пахло кожей, по страницам бегали какие-то красные букашки, многолетняя пыль забивалась в горло и ела глаза, но Соню это не отпугивало. И когда ей удавалось найти что-нибудь интересное, она радовалась, словно откопала клад.

Вася должен был вернуться в Кильбурун летом, и вдруг Соня еще ранней весной увидела его в окно, смешного, странного, в пледе и широкополой шляпе.

— Маша! Вася приехал! — крикнула она и бросилась по лестнице в сени.

Варвара Степановна уже была там. Она целовала сына, смеялась и плакала от радости.

— Здравствуй, господин студент! — сказала Соня, обнимая брата.

— Каким образом ты вырвался во время учебного года и почему не написал, что приедешь? — с тревогой спросила Варвара Степановна.

— Если бы я предупредил о своем приезде, — уклончиво ответил Вася, — г-вы бы мне меньше обрадовались.

Васин неожиданный приезд объяснялся тем, что его за участие в студенческих беспорядках на два месяца исключили из университета.

Все пошли в столовую. На домотканой скатерти появились закуски, варенья, соленья. Вася ел и не переставал говорить. Столько нового произошло за этот год: университет, лекции Менделеева, товарищи, сходки.

— А у тебя что нового? — спросил он Соню.

Соня, силилась вспомнить хоть что-нибудь интересное, но не могла. Прошло семь или восемь месяцев, а вспомнить было нечего.

— Знаешь, Соня, — поспешил Вася переменить разговор, — я привез интересные книги.

Он побежал в сени, открыл чемодан и вытащил оттуда книги Молешотта и Дрепера на русском языке. И главное — сочинения Писарева. Увидев все это богатство, Соня засмеялась от радости. Ей показалось, что с приездом брата все в доме изменилось, ожило.

И правда, жизнь в Кильбуруне стала другой. Вася теперь с вечера до глубокой ночи читал вслух привезенные им книги. Не только Соня и Маша, но и Варвара Степановна слушала их с жадностью.

А по утрам Соня садилась за учебники и не бросала их даже ради верховой езды. Она, отчасти под влиянием Писарева, решила продолжать

свое образование. Память у нее была хорошая. Задачи она решала удивительно легко. А вот одну никак не могла решить. Этой неразрешимой задачей было для нее ее будущее. Соня не представляла себе, что сможет делать, оставаясь в Кильбуруне. Давно ли она радовалась отъезду из Петербурга? Теперь она дорого бы дала, чтобы туда вернуться.

Сонино желание исполнилось скорее, чем она предполагала. Летом 1869 года в Крым приехал Лев Николаевич. Он казался постаревшим и утомленным. Варвара Степановна принялась было ему рассказывать о хозяйстве, которое она сумела наладить. Но Лев Николаевич слушал рассеянно. Чувствовалось, что его давит какая-то забота.

— Видишь ли, Варя, — сказал он наконец, — придется продать Кильбурун. Я для этого и приехал. У нас больше пятидесяти тысяч долгу. Надо этот долг покрыть, иначе его взыщут по суду, и все пойдет с молотка.

Что было делать? Опять пришлось Варваре Степановне разорять собственными руками с трудом устроенное гнездо.

Для Сони отъезд из Кильбуруна был горем и радостью. Еще недавно она думала о Петербурге как о чем-то недостижимом. И вдруг все переменялось: в доме идут уже разговоры о дне отъезда.

Вместо того чтобы на прощанье обойти все окрестности, Соня с новым рвением взялась за книги. Она хотела по приезде в Петербург поступить на только что открывшиеся там вечерние женские курсы при 5-й гимназии у Аларчина моста. К удивлению домашних, Маша, не проявлявшая раньше особого интереса к наукам, тоже решила стать курсисткой.

Железной дороги между Харьковом и Симферополем еще не существовало. Поэтому Перовские отправились морем в Одессу, а оттуда поездом по только что открытой линии Одесса — Харьков. В том же вагоне ехали три молоденькие девушки: две сестры Кузнецовы — знакомые Коли — и Анна Карловна Вильберг.

Во время первого же разговора выяснилось, что Вильберг едет в Петербург учиться и тоже думает поступить на Аларчинские курсы. Вильберг была на восемь лет старше Сони. Синие очки и стриженные волосы придавали ей вид ученой женщины. Но Соня сразу же поняла, что Анна Карловна знает ненамного больше, чем она сама.

Усевшись на новенькую, еще пахнущую краской скамью, девушки часами говорили о своих планах, о прочитанных книгах и любимых писателях. В соседнем купе Коля рассказывал что-то такое, отчего Вася, Маша и сестры Кузнецовы время от времени покатывались со смеху.

Гремя, катился по рельсам только что выкрашенный вагон. Кондуктор в новеньком мундире приходил проверять билеты. По новой дороге новый поезд уносил Соню Перовскую в новую жизнь.

Приехав в Петербург, Вася и Соня отправились на поиски квартиры. Им удалось найти в Коломне, совсем недалеко от Аларчина моста, славный деревянный домик. По внутренней лестнице они поднялись в мезонин.

— Вот как раз для меня и Маши, — обрадовалась Соня, увидев маленькие светлые комнаты. — Здесь удобно будет заниматься. Боюсь только, что эта квартира не придется папе по вкусу.

И действительно, Льву Николаевичу, который вернулся из Крыма позже, квартира не понравилась, показалась «мещанской», как он выразился. Он поселился отдельно и домой приходил только обедать.

Через несколько дней после Сониного приезда на курсах начались занятия. Соня вошла в здание 5-й гимназии с таким же волнением, какое уже испытала, когда впервые попала в театр.

Она пришла слишком рано. Просторный коридор гимназии был еще пуст. Двери по обеим сторонам коридора вели в классы с аккуратно расставленными партами. От натертого пола пахло мастикой. Только что вымытые классные доски блестели, словно мокрые черные зеркала.

Понемногу коридор стал наполняться слушательницами. Одни держались обособленно. Другие же — те, которые раньше знали друг друга, — оживленно говорили, прогуливаясь по коридору или стоя у окон. Соня с интересом всматривалась в своих будущих сокурсниц. Ее поразило, что среди них были и пожилые женщины.

«Всего только несколько лет назад, — подумала она, — на них посмотрели бы, как на сумасшедших. Да и сейчас многие так смотрят». К Соне подошла Вильберг.

— Я вас с трудом нашла, — сказала она. — Давайте посмотрим расписание.

На двери одного из классов висел большой разграфленный лист. Соня достала из кармана карандаш и принялась переписывать:

Понедельник

От 6 до 7 — химия. Гердт.

От 7 до 8 — физика. Краевич.

От 8 до 9 — математика. Страннолюбский.

Она не успела кончить. Раздался звонок. Все устремились в классы.

— Посмотрите, — обратилась Вильберг к Соне, — наша соседка приехала на лекцию с мамашей., Мне говорила одна курсистка, Саша

Корнилова, что этой барышне долго не разрешали поступить на курсы. Наконец она добилась своего, но с условием, что мать будет ее сопровождать.

На краешке соседней скамьи, боком — втиснуться в промежуток между столом и скамьей ей, видно, не удалось — сидела полная дама и своим кринолином заслоняла сидевшую рядом с ней девушку. Дама неодобрительно оглядывала в лорнет будущих подруг своей дочери.

— Никогда бы не подумала, — шепнула Соня, с трудом сдерживая улыбку, — что у этой маленькой девочки такая большая воля.

Наступила тишина. В класс вошел профессор. Это был высокий старик. Его живые карие глаза смотрели из-под нависших бровей дружелюбно и внимательно. Он оперся на стол обеими руками и заговорил. С первых же его слов Соня почувствовала волнение. Просто и ясно говорил профессор о природе, о законах, которые ею управляют. То, что недавно казалось совсем непонятным, теперь становилось близким и доступным. Одна мысль неизбежно вела к другой, и из всех неизбежных выводов и следствий вырастал, как из линий, четкий и ясный чертеж науки.

В Сонином сердце возникла горячая благодарность к этому старику, который делился с ними своим опытом, своей мудростью.

Дни пошли за днями, лекции за лекциями. Соня с жаром взялась за книги. Маша училась на тех же курсах, но дома они занимались отдельно и у каждой из них была своя компания. Соня увлекалась не только занятиями, но и новыми знакомствами.

Новые веяния

Соня и Вася вышли из дому. Несмотря на то, что февраль уже кончался, на улице было двадцать градусов мороза. В лавках на подоконниках, отогревая стекла, горели керосиновые лампочки. Каждый раз, когда открывались двери чайной, на улицу вырывались облака теплого пара с особенным крепким запахом нищенского уюта. Но двери сейчас же плотно закрывались. Люди берегли тепло.

Соня и Вася подошли к облупившемуся, окрашенному в желтый цвет дому. По каменной лестнице, более грязной, чем плиты тротуара в осенний день, они поднялись на верхний этаж. Лестница была узкая, крутая, с чересчур длинными площадками и темными закоулками.

Дверь открыла Анна Карловна. Ее синие очки, казалось, сияли от удовольствия. По узкому длинному коридору она ввела гостей в свою комнату. Там было очень мало мебели: маленький столик, шаткая этажерка, заваленная книгами, железная кровать с покосившимися средними ножками и три стула. Над кроватью висел портрет Добролюбова. От печки пахло каленым железом, и этот запах смешивался с запахом сырости, который шел от стен.

— Я принес Шпильгагена, — сказал Вася, — «Один в поле не воин».

В передней опять задребезжал звонок. Анна Карловна выбежала из комнаты. Вася подошел к этажерке и стал рассматривать книги,

— Сеченов, Бюхнер, А это что? «Дело», последняя книжка.

В комнату вошли Корнилова, высокая, красивая, с серьезным, даже строгим лицом, и Лешерн, застенчивая, немолодая.

— Я вам могу сообщить новость, — сказала Корнилова. — Профессор Энгельгардт предлагает четырем аларчинкам работать в его лаборатории по химии. Но имейте в виду, что лаборатория очень далеко, в Лесном институте.

— Часа два езды, не меньше, — подтвердил Вася.

— А что, если найти комнату в Лесном и поселиться там всем вместе на лето? — предложила Корнилова. — Я уже говорила об этом с отцом. Он ничего не имеет против.

Соня сжала губы, как всегда, когда думала о чем-нибудь неприятном.

— Боюсь, — призналась она, — что мой отец не согласится. Но нельзя упускать такой случай.

— Разумеется, — согласился Вася. — Ведь легче верблюду пройти в

игольное ушко, чем женщине проникнуть в лабораторию.

Все засмеялись.

— Это скорее грустно, чем смешно, — заметила Анна Карловна.

— Посмотрите, — сказал Вася, который перелистывал «Дело», — здесь сообщается из Цюриха, что окончившая тамошний университет русская студентка Сулова получила диплом доктора медицины. Вот вытянутся лица у противников женского образования!

Все склонились над книжкой. Соня покраснела от волнения.

— Как хорошо! — воскликнула она. — Это у нас, кажется, первая женщина-врач.

Вася сел к окну и стал читать. За окном, над покрытой снегом крышей, клубился белый дым. Соня бессознательно следила за тем, как он выходил из закопченной трубы и поднимался вверх. Она не могла сосредоточить внимание на книге, потому что была слишком взволнована. Она думала о том, что рабство женщины кончается и через каких-нибудь двадцать-тридцать лет женщин-врачей будут считать уже не единицами, а сотнями, и тогда все поймут, наконец, что женщина способна на любую работу, на подвиг, на героизм.

Весной Лев Николаевич в сопровождении Варвары Степановны и Маши уехал за границу лечиться. Теперь уже никто не мог запретить Соне провести лето в Лесном вместе с Корниловой, Вильберг и Лешерн.

Они сняли две комнаты недалеко от Лесного института. Рядом, в той же даче, поселилась знакомая семья. Аларчинки могли быть спокойны: все обойдется без лишних сплетен и пересудов. А для сплетен материала хватило бы. Мало того, что девушки жили без старших, — вид они имели самый странный. Все четыре были стриженные. Вильберг носила синие очки. Корнилова щеголяла в мужских сапогах.

По утрам они всей компанией отправлялись в лабораторию качественного анализа. Химии Соня отдавала много времени, но не все. Ей хотелось за лето успеть побольше и по другим предметам. Она не могла простить себе, что, живя в Кильбуруне, недостаточно много работала, и старалась сейчас усиленными занятиями наверстать упущенное.

Но Соня напрасно упрекала себя в том, что приобрела в Кильбуруне мало знаний. Она приобрела там нечто более ценное — умение самостоятельно работать. Считая, что математику на курсах проходят слишком медленно, она предложила Саше Корниловой заниматься алгеброй вдвоем, без посторонней помощи. Саша только диву давалась, как легко Соня разбиралась в трудном учебнике, да еще на французском языке,

как хорошо она умела объяснять — делать и для других ясным то, что несколько минут назад казалось совсем непонятным.

Соня и Саша с самого начала понравились друг другу, а теперь, живя в одной комнате, работая за одним лабораторным столом, читая одни и те же книги, сблизилась еще больше.

В книгах они искали примеры для подражания, искали ответа на вопрос, как надо и как не надо жить. Новые люди — Рахметов из «Что делать?», Елена из тургеневского «Накануне». Русская женщина, не сломленная, не согнувшаяся, а выпрямившаяся во весь свой рост. Русский крестьянин, не поддавшийся злой жизни, а вступивший с ней в борьбу, — вот герои, судьба которых их больше всего интересовала.

С огромным интересом прочли они вместе первый том Лассаля, «Пролетариат» и «Ассоциации» Михайлова. Но самое сильное и в то же время самое тяжелое впечатление произвела на них книга Флеровского «О положении рабочего класса в России».

Прочтя эту книгу, они впервые представили себе, что дало России, русскому народу то, что полагалось называть «великой крестьянской реформой», впервые увидели воочию страшную картину бесправия, разорения, обнищания крестьянства.

По вечерам девушки отправлялись в парк и, гуляя по пустынным аллеям, вели долгие разговоры о том, что их волновало и занимало. Их сблизжали одни и те же пока еще смутные стремления. Они не знали еще, к чему стремиться, но уже хорошо знали, от чего отталкиваться. Жить замкнуто в узком семейном кругу, быть порабощенными родительской или супружеской властью не хотели ни Соня, ни Саша. Жизнь эгоистическая, жизнь для себя, для собственного удовольствия тоже не нравилась ни той, ни другой.

Возвращались они домой поздно вечером. Солдаты, жившие в казармах совсем близко от парка, заговаривали с ними, нередко преследовали их грубыми шутками. Чтобы избавиться от этих шуток, они обзавелись мужскими костюмами. Соня выпросила у Васи рубашку, шаровары и высокие сапоги. Саша облеклась в пиджак и брюки своего двоюродного брата. В таком виде они сходили за подростков.

В конце лета аларчинки запечатлели свою жизнь в Лесном на фотографическом снимке.

Осенью вся семья поселилась вместе в тесной квартире на Малой Мещанской. Соне и Маше досталась проходная комната. Соня с грустью вспоминала о своей отдельной и, главное, отдаленной от остальных

комнатке в мезонине. Здесь она постоянно боялась, как бы громкие голоса подруг не долетели до слуха отца.

Лев Николаевич вернулся больной и еще более раздражительный, чем всегда. Соне, привыкшей за лето к полной свободе, его замечания казались невыносимыми. И дело было не только в мелких придирках. Все, к чему стремилась Соня, шло вразрез со взглядами ее отца. Лев Николаевич ничего не имел против того, чтобы его дочь была образованной девушкой — веяния шестидесятых годов коснулись и его, — но Сонины мечты о самостоятельном заработке, Сонино желание распоряжаться своей судьбой выводили его из себя.

Она старалась поменьше бывать дома. Вечера проводила на курсах, кроме того, работала в математическом кружке, который собирался у одной из слушательниц — Анны Павловны Корба.

Соня обратила на нее внимание в первые же дни своего пребывания на курсах. Ее поразила не столько красота Анны Павловны, сколько то, что сама Анна Павловна не придавала никакого значения своей красоте. Она внимательно слушала лекции, усердно готовилась к ним дома. Познакомившись ближе, девушки стали вдвоем заниматься химией. Они с увлечением делали опыты в Сониной комнате, которую она на время превратила в лабораторию.

Математическим кружком руководил Страннолюбский — бывший учитель Софьи Ковалевской. В занятиях участвовали главным образом великовозрастные женщины. Соня среди них производила впечатление девочки-гимназистки. Но очень скоро, к их удивлению, оказалось, что девочка-гимназистка легко и быстро решает задачи, которые им, старшим участницам кружка, не под силу.

Страннолюбский, который уже раньше, на курсах, обратил внимание на молоденькую слушательницу с большим выпуклым лбом и пытливым взглядом серо-голубых глаз, сказал кому-то из своих знакомых, что у маленькой Перовской поразительные способности к математике. Соне передали лестный отзыв, и он не мог ее не порадовать.

Когда Вася во время урока — он руководил Сониными и Сашиними занятиями черчением — сообщил, что директор технологического института предполагает открыть доступ в институт женщинам, Соне очень захотелось поступить туда на механическое отделение. Но из планов директора ничего не вышло, и Соня Перовская осталась слушательницей Аларчинских курсов.

Интересы Сони были очень разносторонние: ее привлекали далекие друг от друга специальности. Одно время под влиянием лекции Сеченова

она подумывала о том, чтобы стать психиатром.

Чаще, чем у других сокурсниц, Соня бывала у Саши. Там, в большом доме напротив Владимирской церкви, она чувствовала себя больше на месте, чем в родительском доме.: У Корниловых всегда бывало много молодежи. Все четыре сестры Корниловы (Саша была младшая) учились на курсах. Их отец — один из братьев Корниловых, владельцев фарфоровой фабрики, — не мешал девушкам жить, как они хотят: учиться на курсах, ходить по вечерам без провожатых.

— Не могу же я нанять им четырех гувернанток, — говорил он, смеясь, Сашиной тетушке, которая беспокоилась о том, что скажут люди.

У Саши незадолго до того, как Соня с ней познакомилась, умер брат. Саша любила о нем рассказывать, а Соня — слушать ее рассказы.

«Александр Корнилов был естественником и рьяным математиком. Учительствовал в воскресных школах и, как истый шестидесятник, везде, где только мог, вел борьбу с авторитетами, традициями, предрассудками. Он умер, но то новое, что он внес в дом, продолжало жить. Его сестры не думали о женихах, балах, нарядах, не ходили по гостям, но зато их можно было встретить везде, где до поздней ночи в переполненных молодежью комнатах, в облаках табачного дыма, за бесконечным чаепитием с неизменными бутербродами велись жаркие дебаты по всёвозможным вопросам из области психологии, философии, политической экономии...» — вспоминала позднее Александра Ивановна Корнилова.

В просторной столовой корниловского дома, за огромным столом, который предназначен был для торжественных званых обедов, шумной гурьбой рассаживались студенты в косоворотках и стриженные студентки. Хозяйничали Люба и Саша. Людям, которые по целым неделям питались только чаем и котлетами из конины, сытные корниловские обеды казались верхом роскоши.

В этой дружной студенческой семье говорили о женском образовании, о положении рабочих, о социализме, о том, как исправить и сделать разумной тяжелую, нелепую, несправедливую жизнь.

Соня и Саша, как самые младшие, больше слушали, чем говорили. Особенно интересные споры — споры до хрипоты, до одури — велись, когда приходили студенты-медики Александров и Натансон.

Александров в студенческой среде слыл блестящим оратором. Но Соне и Саше Натансон нравился гораздо больше. Этот человек заражал всех своею неустанной стремительностью и целеустремленностью, Сразу чувствовалось, что он много читал, много думал и ясно видит, куда идти,

чего добиваться.

Натансон участвовал во всех студенческих беспорядках, но когда появившийся в Петербурге Нечаев стал уверять, что народ готов к бунту, и призывать взбудораженную молодежь выйти на улицу, тот же Натансон сделал все что мог, чтобы не допустить бессмысленной гибели людей.

Натансон и Александров жили в знаменитой Вульфовской коммуне, родоначальнице всех студенческих коммун. Жили медики дружно. На всю квартиру имелась одна пара хороших сапог, которая по мере надобности переходила от одного к другому.

Когда подруга одной из сестер Корниловых, Ольга Шлейснер, поручила Саше передать Натансону записку, Соня обрадовалась случаю побывать в Вульфовской коммуне и отправилась туда вместе с ней.

Усталые, запыхавшиеся, добрались они до огромного дома, поднялись на площадку первого этажа и позвонили. Дверь приоткрылась. Соня увидела черную фуражку с белой бляхой, а под ней маленькие глазки и черные усы торчком.

— Мы не туда попали, — сказала Соня, увидев городского.

— Нет, нет, барышни, — возразил городской. — Куда надо, туда и попали!

Пришлось войти. Городовой запер дверь и положил ключ в карман. Соня и Саша очутились в маленькой кухне. На полу шумел давно нечищенный самовар. У стола сидел другой городской и пил из блюдечка чай. Шашку он поставил между колен. Жесткая, застегнутая на все пуговицы шинель мешала ему двигать руками, но городской, по-видимому, наслаждался. Он раскраснелся, волосы слиплись на лбу.

— Еще две, — произнес он с удовлетворением.

— И вы тут! — воскликнул Натансон, который, услышав звонок, вышел на кухню. — Какими судьбами? Ну что ж, идемте сюда. У нас весело.

Они прошли через большую комнату, в которой не было ничего, кроме длинного деревянного стола и двух скамеек, в следующую, откуда доносились смех и голоса.

— Новые жертвы, — сказал Натансон, открывая двери.

Соня растерялась. В густых облаках табачного дыма двигались, сидели, стояли, звенели стаканами, смеялись и спорили десятка два взъерошенных молодых людей в косоворотках, блузах, смазных сапогах.

— Садитесь сюда, — позвал их один из студентов, необыкновенно высокий, с большой бородой. — Мы вас угостим бифштексом, лучше которого вы никогда не едали: из чистокровного арабского скакуна,

— Обязательно попробуйте, — подхватил, смеясь, другой, сутулый, с рыжей шевелюрой. — Мы только кониной и питаемся. Во-первых, дешево, во-вторых, исполняем долг — боремся с предрассудками.

Соня с интересом всматривалась в окружающую ее обстановку. Она знала от брата, что здесь, в этой самой квартире на Вульфовской улице, происходили дебаты между Натансоном и Нечаевым.

— Зачем здесь засада? Кого ищут? — спросила Саша.

— Александрова, — ответил высокий студент вполголоса и тут же рассказал обо всем с полной откровенностью, пренебрегая правилами конспирации. — Да он уже далеко. Есть у нас студент Сердюков. Я самый высокий, недаром меня называют Василий Великий, а он самый маленький и худенький. Ну вот, мы его высадили ночью через эту самую форточку во двор, и он, конечно, давно уже успел предупредить Александрова.

Соня пришла в восхищение от смелости и находчивости этих людей. Она хотела о чем-то спросить, но в другом конце комнаты кто-то затянул вполголоса студенческую песню:

За здоровье того,
Кто «Что делать?» писал
И кто жизнью своей
Воплотил идеал.

Все подхватили припев:

Проведемте, друзья,
Эту ночь веселей,
Пусть студентов семья
Соберется тесней!

Соне пришлось по вкусу ее новые знакомые. Ей по сердцу было, что эти чужие по крови люди жили одной тесной семьей, и так дружно, как редко живут вместе родные братья. Ей нравилось, что все они были веселы, несмотря на опасность, которая многим из них угрожала.

Больше всех Соню интересовал Натансон. Он был прирожденным общественным деятелем. Организованную им при Медико-Хирургической академии студенческую библиотеку недаром прозвали «Якобинским клубом». В ней происходили сходы не только медиков, но и студентов

других учебных заведений.

И сам Натансон и другие члены Вульфовской коммуны много сделали для пробуждения общественного сознания у студенческой молодежи, а у таких, как Соня, как Саша Корнилова, его и будить не пришлось.

Все чаще собирались студенты. Все многочисленнее делались сходки. В иные дни сходок бывало по три и даже по четыре. Чтобы не опоздать с одной на другую, молодежь усаживалась в запряженные четверкой лошадей общественные многоместные сани и ехала в назначенное место.

Соня и Саша предпочитали идти пешком. Им всегда казалось, что сани тащатся слишком медленно. На ходу они могли по крайней мере продолжать начатый разговор или спор. А поговорить и поспорить было о чем. Столько налетело мыслей, нахлынуло (впечатлений!

На собраниях женской молодежи затрагивались и социальные и политические вопросы, но чаще всего и горячее всего на них говорилось о женском равноправии, женском труде, женском образовании.

К тому времени, когда Соня поступила на курсы, борьба русских женщин за равноправие уже имела свою славную историю. И за всеми перипетиями этой борьбы следили с волнением не только русские женщины, но и все передовые люди России.

На одной стороне было правительство, на другой — те, которых издавна принято было считать слабым полом. Но слабый пол в этой борьбе проявил не слабость, а силу, с которой правительству волей-неволей пришлось посчитаться.

Женщин под всякими предлогами не допускали в университеты. Они стали добиваться создания высших женских курсов. Им отказали на том основании, что их подготовка недостаточна; они и тут не успокоились: принялись хлопотать об организации подготовительных курсов.

Аларчинские курсы и открыли как подготовительные. Но преподаватели, видя, с какой энергией курсистки взялись за изучение наук, вкладывали в свои лекции намного больше того, что полагалось по программе.

И другие ученые тоже не захотели остаться в стороне от дела, которое принято было называть благородным начинанием. Несмотря на то, что это им грозило серьезными неприятностями, они по вечерам и по воскресеньям занимались с желающими в своих лабораториях, научных кабинетах, анатомических театрах. Многие читали для женщин не только публичные лекции, но и целые курсы наук в частных домах.

И все это совершенно бесплатно, просто из любви к делу.

Соня пользовалась всеми возможностями, чтобы расширить и углубить свои знания. Она копила их с жадностью, чтобы отдать потом тем, кто знал еще меньше.

Иногда лекции устраивались и у сестер Корниловых. Тогда в зале раскладывались ломберные столы. На них еще недавно играли в вист и преферанс именитые купцы, а теперь на зеленом сукне вместо карт раскладывали тетрадки, и тридцать карандашей принимались бегать по бумаге, записывая слова профессора.

Когда профессор Энгельгардт, которому запретили публичные лекции, согласился прочесть на квартире у Корниловых курс органической химии, слушательниц собралось столько, что они едва поместились в просторной зале корниловского дома.

Лекция. Энгельгардта поразила Соню совершенно неожиданными сопоставлениями и обобщениями. Ей показалось, что границы ее понимания вдруг раздвинулись.

Слух о блестящей лекции быстро обошел Петербург. На следующую пришло еще больше народу, но, к общему разочарованию, она не состоялась. Профессора ждали час, ждали два часа, но так и не дождались. Соня в этот вечер вернулась домой позднее, чем всегда, огорченная и встревоженная. Через несколько дней она узнала, что волновалась даром: профессор Энгельгардт не пришел потому, что не мог прийти — он был арестован.

Разрыв

Лев Николаевич сердился, что Соня мало бывает дома, и ему не нравилось, когда к ней приходили подруги. Варвара Степановна умоляла Соню не перечить отцу, не спорить с ним, помнить, что он больной человек. Соня сдерживалась и до поры до времени молчала.

Но однажды разразилась буря. Лев Николаевич был особенно не в духе. Как на беду, Варвара Степановна удержала Корнилову и Вильберг обедать. Молодежь болтала громко и непринужденно. Соня все время боялась, как бы отец не сказал чего-нибудь резкого. Но обед прошел благополучно. После обеда, разговаривая с подругами у себя в комнате, она все время прислушивалась к доносившимся из столовой взволнованным голосам.

Саша и Анна Карловна, заметив, что в доме что-то неладно, поспешили уйти.

Как только за ними захлопнулась дверь, Лев Николаевич вышел в переднюю.

— Передай этим девицам, — сказал он, задыхаясь, — что я не желаю их видеть. Если ты им этого не передашь, я сам с ними поговорю.

Соня вспыхнула и хотела возразить, но Лев Николаевич резко повернулся и ушел к себе. Постояв немного в раздумье, Соня на несколько минут зашла к матери, потом решительным шагом направилась в кабинет.

Лев Николаевич сидел за столом и нервно перелистывал книгу. В небольшой комнате, загроможденной старинной мебелью, было неуютно. На стенах висели потемневшие от времени портреты Сониных предков.

— Папа, я хочу с тобой поговорить, — сказала Соня насколько могла спокойно. — Тебе не нравятся мои друзья, а я не могу и не считаю нужным отказываться от их общества. Я решила поселиться отдельно.

— Ты решила? Что ж, если так, нам говорить не о чем. — Лев Николаевич встал с кресла и вдруг закричал не своим голосом: — Этому не бывать, понимаешь, не бывать! Вот чему вы на курсах научились! Дерзости, послушанию... Слышать я больше не хочу о твоих курсах! Если ты хоть раз отправишься к своим стриженным дурам, я запру тебя на ключ.

Не отвечая ни слова, Соня прямо из кабинета прошла в переднюю, наскоро оделась и вышла на улицу.

Мокрый ноябрьский снег падал на тротуары, чугунные тумбы, на покрытые клеенкой лотки с яблоками и сейчас же таял. Соня с

наслаждением вдыхала свежий, сырой воздух. Хоть на улице было мрачно и холодно, она чувствовала себя там лучше, привольнее, чем дома.

Для нее этот разрыв не был неожиданностью. Если бы не боязнь огорчить мать, она раньше ушла бы из дому. Соня и сейчас сознавала, что ее отец по натуре незлой человек, что в своей среде он не исключение, а правило. Но она сама была исключением из правила и не могла жить по домострою.

Лица людей в желтом свете керосиновых фонарей казались обострившимися, болезненными. Извозчики в мокрых плащах с капюшонами высились на козлах, как чугунные статуи. Лошади подергивали мокрой шерстью на боках и на спинах, стряхивая падающие хлопья снега.

Соне нужно было попасть на Галерную, прежде чем товарищи разойдутся с математического кружка. Она шла торопливым шагом, никого и ничего не замечая. Кто-то задел ее плечом. Кого-то она сама толкнула.

Усталая, запыхавшаяся, вошла Соня в ярко освещенную комнату, в которой Страннолюбский заканчивал доказательство теоремы. Анна Карловна и Саша посмотрели на нее с удивлением. Соня никогда не опаздывала, да и вид у нее был взволнованный.

— Что случилось? — спросила Саша, как только кончились занятия.

Соня вкратце передала подругам разговор с отцом.

— Я домой не вернусь, — закончила она. — Не знаю только, куда спрятаться. Ведь меня, наверно, будут искать.

— Вот что, — сказала Саша после минутного раздумья, — пойдем к Вере. Я уверена, что тебя там охотно примут.

Вера Корнилова жила не дома, а с подругами на студенческой квартире. Саша оказалась права. Соню там приняли очень радушно.

Вечером, лежа на узком диванчике и прислушиваясь, к мерному тиканью столовых часов, она с благодарностью думала о друзьях, которые нашли для нее убежище в этом холодном суровом городе.

После ухода Сони Лев Николаевич позвал Васю и, плотно закрыв за ним дверь, заговорил сердито и отрывисто:

— Ну что, добился своего? Доволен? Девчонка семнадцати лет грозит уйти из дому. Я, мол, решила. Да какие в вашем возрасте могут быть решения? Прочли несколько книжек и думаете, что умнее вас нет никого.

На худых бритых щеках Льва Николаевича проступили красные пятна. Руки, которыми он запахивал халат, дрожали.

— Я не враг науки, — продолжал он, — учиться надо. Но зачем стричь

волосы и напяливать синие очки? Женщина создана, чтобы прежде всего быть матерью и хозяйкой. Кажется, ясно, спорить не о чем! А ведь вот же приходится. В мое время не доказывали, а приказывали. И правильно делали. Не было такой распущенности, как сейчас.

— Ты сам знаешь, папа, — сказал Вася, — что на Соню нельзя действовать принуждением. Она не вынесет насилия.

— Принуждение, насилие, какие громкие слова! Что же мне делать? Не могу же я, отец, допустить, чтобы моя дочь губила себя. Я не позволю ей знаться с этими нигилистками. Пусть посидит дома.

— Соня скорей покончит с собой. В минуту отчаяния такие люди, как она, способны на все. Спроси хоть доктора Оккеля. Он тебе скажет, что возможен самый ужасный исход.

Ночевать Соня не вернулась. Весь вечер Лев Николаевич ходил взад и вперед по кабинету. Весь вечер Варвара Степановна прислушивалась к тому, что делалось на лестнице. Несколько раз она бесшумно подходила к двери кабинета, но не решалась туда зайти, хоть видела свет в промежутке между полом и дверью и слышала скрип шагов.

Время шло. Город затихал. Реже и реже слышались цоканье копыт и стук колес. Вдруг пьяный у самого дома затянул песню, кто-то громко закричал, раздался пронзительный свисток, и всё окончательно стихло.

Как только приехал доктор Оккель, Лев Николаевич обратился к сыну:

— Ты просил посоветоваться с доктором. Изложи свои доводы.

Но не успел Вася заговорить, как доктор прервал его:

— Вздор! Какие могут быть убеждения в семнадцать лет? Советую вам, Лев Николаевич, прибегнуть к помощи полиции.

Сразу после этого разговора Вася отправился к Саше и с ней вместе туда, где скрывалась Соня. По Сониному виду ему стало ясно, что и она не спала в эту ночь.

Услышав, что отец собирается прибегнуть к помощи полиции, Соня возмутилась.

— Не может быть! — сказала она. — Папа этого не сделает. Он только грозит. Но что бы ни было, если даже он возьмет все свои слова обратно, я домой не вернусь. Мы разные люди. Я не могу жить, как он хочет, значит должна жить отдельно.

Соня ошиблась. Лев Николаевич исполнил свою угрозу и отправился к градоначальнику. Вернулся он успокоенный, в полной уверенности, что Соню сразу же разыщут и приведут.

Прошло несколько дней, а Соню все еще не приводили. Как-то поздно

вечером Варвара Степановна не выдержала и сама поехала к Корниловым. Саша уже спала, но Варвара Степановна настояла на том, чтобы ее разбудили.

— Ради бога, — обратилась она к Саше, — скажите мне, где Соня, у кого? Я с ума схожу от беспокойства. Отведите меня к ней.

— Этого я не могу сделать. Но вы напрасно беспокоитесь, Варвара Степановна. Уверю вас, что с Соней ничего дурного не случилось.

— Пойдите хоть вы к ней, убедите ее вернуться. Поймите, нельзя же детей отрывать от родителей!

— Мне вас ужасно жаль, Варвара Степановна, но, по-моему, Соня поступила правильно. Она имеет право не подчиняться отцу, раз он хочет прибегнуть к насилию.

— Но ведь он больной человек и сам завтра опомнится. Это долг детей — жалеть родителей. Вы же не убегаете от своего отца?

Не добившись ничего от Саши, Варвара Степановна поехала к Анне Карловне. Но и там ее просьбы и мольбы ни к чему не привели.

Как-то под вечер Лев Николаевич опять позвал к себе Васю. В кабинете сидел в кресле полицейский офицер с глянцевым румянцем на щеках и черными нафабранными усами. Офицер слегка поклонился, стукнув каблуком о каблук.

— Вы, молодой человек, — заговорил он тоном приказания, — знаете, конечно, где скрывается ваша сестра. Господин градоначальник требует, чтобы вы не — мед-лен-но указали ее местопребывание.

Слово «немедленно» он произнес отдельно, упирая на два «н» и делая ударение на последнем слоге.

— Господин градоначальник ошибается, — спокойно ответил Вася, — я не знаю, где находится сестра.

— В таком случае, — заявил офицер, поднимая черные брови, — извольте явиться завтра в десять часов утра в сыскное отделение.

Узнав, что сына вызывают в полицию, Варвара Степановна бросилась к мужу. Вышла она из его кабинета дрожащая, вся в слезах. Вася усадил ее в кресло, Маша побежала за водой. Стуча зубами о край стакана, Варвара Степановна сказала:

— Я пойду с тобой. Я предупредила папу, что, если тебя арестуют, я не уйду, а потребую, чтобы и меня арестовали.

Но Лев Николаевич счел за лучшее сам поехать с сыном. Пока они молча ждали начальника сыскной полиции Габерзанга, Вася занялся наблюдениями. Сквозь открытую дверь приемной видна была канцелярия.

«Какие мерзкие лица! — думал он, глядя на чиновников, которые

входили, и выходили с папками в руках или писали что-то, сидя за длинными столами. — И от таких тварей зависит жизнь человека. Сколько, должно быть, яду и клеветы в этих шкафах, которые ломаются под тяжестью бумаг! Сжечь бы все это, вот бы веселый вышел пожар».

Лев Николаевич первый прошел к Габерзангу. До Васи долетели отрывки французских фраз, потом русские слова:

— Не беспокойтесь. Все будет улажено быстро и без огласки.

Васю Габерзанг встретил чрезвычайно любезно,

— Очень приятно познакомиться, — сказал он, пожимая его руку своей мягкой рукой. — Присаживайтесь, молодой человек. Мне жаль вашего уважаемого отца! Я сам отец и вполне его понимаю. Ваша сестра — неопытная девушка. Она, конечно, не приняла бы такого крайнего решения, если бы не дурное влияние. В ее возрасте легко увлечься модными идеями и попасть в сети разных беспринципных господ. Беспокойство вашего отца и особенно вашей бедной матушки вполне естественно.

— Я очень боюсь за мать. Эта история дороже всего обойдется именно ей, — подтвердил Вася.

— О, — воскликнул Габерзанг, поднимая к потолку голубые глаза, — материнская любовь — это великое чувство! Поэтому я хочу помочь вам уладить все мирно и неофициально. Недавно у меня был похожий случай. Обращается ко мне некий Палицын, честнейший и благороднейший старик. Он в отчаянии, жена в отчаянии. Дочь ушла из дому. И что же? Я очень быстро отыскал ее, уговорил вернуться и своими глазами видел трогательную сцену примирения.

— В данном случае, — возразил Вася, — это невозможно. Если вмешается полиция, сестра скорее покончит самоубийством, чем позволит себя привести домой. А этого мать не переживет.

— Постарайтесь найти сестру и уговорите ее повидаться с матерью.

— Я сам бы этого хотел, — сказал Вася, — но это возможно лишь в том случае, если полиция не будет вмешиваться.

— Поверьте, перебил его Габерзанг, — я хочу помочь вашему семейству как друг. Забудьте, что я ношу мундир. Мне самому желательно, чтобы все кончилось семейным образом.

«Полицейскому верить, конечно, нельзя, — думал Вася, возвращаясь домой. — Но ведь Габерзангу сейчас нет расчета нас обманывать. Да и встречу можно устроить тайно. Пусть мама сама увидит, что не Соню надо убеждать уступить, а папу... Может быть, нам с ней вдвоем и удастся повлиять на него, чтобы он отпустил Соню на волю».

«Да, пожалуй, это самое лучшее», — решил Вася, открывая железную

калитку палисадника, который отделял дом от улицы.

В тот осенний вечер, когда Соня ушла из дому, ей казалось, что порвать с прежним и начать жить по-новому легко и просто. Но как всегда бывает, скоро обнаружились затруднения, о которых она сгоряча и не подумала. Хуже-всего было то, что она не имела отдельного вида на жительство, и ее в любую минуту могли арестовать и посадить в тюрьму, как бродягу. Получить паспорт без согласия отца было невозможно, а на его согласие Соня не надеялась.

Потянулись томительные дни. Боясь встретить на курсах Машу или на улице кого-либо из знакомых отца, Соня целыми днями оставалась одна в маленькой квартирке на шестом этаже.

Студентки, у которых она жила, уходили рано утром и возвращались поздно вечером. Они приходили возбужденные, веселые и принимались рассказывать о кружках и сходках.

Где-то совсем близко шла живая, настоящая жизнь, в которой Соня не могла принимать участия. Ради этой деятельной и свободной жизни она бросила дом, ради нее готова была на всякие лишения. Поэтому ей, особенно тяжело было проводить день за днем, бесцельно бродя из комнаты в комнату или сидя на потертом диванчике с книгой в руках.

Правда, друзья не забывали ее, но Соня сама не хотела отнимать у них слишком много времени.

Однажды в неурочный час к ней забежала Саша Корнилова, раскрасневшаяся от мороза и волнения. — Только что произошла такая история, — сказала она, усаживаясь. — Мы были в гостинной. Вдруг входит полицейский офицер и обращается к папе: «Известно ли вам, где находится Софья Львовна Перовская, которую мы разыскиваем по заявлению ее отца Льва Николаевича Перовского?» Папа ответил: «Право, не могу вам сказать». Офицер повернулся ко мне. «Может быть, вам, барышня, известно?»

А я, знаешь, сделала наивное лицо и говорю: «Перовской уже несколько дней не было на курсах. Уж не больна ли она?» Офицер вежливо поклонился и ушел. Мне кажется, тебе надо уехать, — сказала Саша, закончив свой рассказ, — Я сегодня же посоветуюсь с нашими, куда тебя отправить.

В тот день, когда Вася пытался устроить Варваре Степановне встречу с дочерью, Соня уже сидела в поезде, который увозил ее в Киев к доктору Эммэ, хорошему знакомому Ольги Шлейснер.

Лев Николаевич, который сначала был уверен, что полиция вот-вот

приведет беглянку домой, снова начал волноваться. Здоровье его резко ухудшилось, и он целые дни проводил в постели.

— Послушайте меня, — сказал ему доктор Оккель во время одного из очередных визитов, — махните на все рукой. Выдайте дочери паспорт. Пока вы не успокоитесь, никакие лекарства не помогут.

В тот же вечер Лев Николаевич написал Соне отдельное удостоверение и послал Колю в министерство заверить подпись.

Приехав весной 1870 года в Петербург, Соня сразу же пошла к Варваре Степановне. Странно ей было входить в родной дом украдкой, через черный ход... Но она знала, что отец не хочет ее видеть, и сама считала, что им лучше не встречаться.

Соня боялась, что мать будет уговаривать ее вернуться, но ошиблась. Варвара Степановна не омрачила радости встречи ни слезами, ни горькими словами. За последние месяцы она обо многом успела подумать, поняла, что у ее Сони свой путь, и не захотела стать для нее на этом пути преградой.

Все пошло по-старому. Лекции, собрания, споры. Теперь уже никто не мешал Соне учиться на курсах, жить, как она считала нужным, но в том-то и дело, что она сама не знала, как нужно жить, а из наук ее больше всего интересовала как раз та, которую на курсах не проходили, — наука о людях, о жизни.

«Куда ни посмотришь, думала она, — всюду тупые лица, тусклые глаза. Одних превращает в животных вечная праздность, другие — и их гораздо больше — становятся чуть ли не рабочим скотом из-за непосильной работы. Где тут почитать, поучиться чему-нибудь, когда работаешь по семнадцать-восемнадцать часов в сутки».

Зима, которую Соня без денег, без паспорта провела в чужом городе, среди чужих людей, не прошла для нее даром. То, что жизнь вокруг несправедлива, жестока, она знала и раньше, но теперь, после того как сама она столкнулась с суровой действительностью, это стало ей ясно до боли.

Но каким образом вмешаться в эту злую жизнь? Что сделать, чтобы люди жили иначе — разумно, справедливо, осмысленно?

В поисках ответа на этот вопрос Соня углубилась в изучение политической экономии, пыталась даже одолеть «Капитал» Маркса на немецком языке. Товарищи студенты хотели помочь ей разобраться в трудных книгах, но от их помощи она отказалась наотрез. Боялась, что мужчины, как более развитые, будут своим авторитетом подавлять в ней самостоятельность. А для нее главное было — научиться во всем

разбираться самой, научиться критически мыслить.

Вопросы, которые волновали Соню, волновали не ее одну. Все чаще устраивались собрания у Корниловых, все больше бывало на них народу. Знакомые приводили с собой незнакомых, и те тоже становились в этом гостеприимном доме завсегдатаями.

Приходили сразу и по тридцать и по сорок женщин, но места хватало всем. Как-то само собой получалось, что рассаживались по уголкам, разбивались на отдельные группы, внутри которых шли оживленные беседы, а то и споры. Когда же кто-нибудь выступал с речью, все голоса сразу замолкали.

Посетительницы чувствовали себя у Корниловых удивительно просто. Никто никого ни с кем не знакомил. Никто никому ничего не навязывал. Вновь пришедшим предоставлялось самим разбираться в новой обстановке.

А обстановка была действительно необычная. На столах и подоконниках стояли тарелки с бутербродами. И на тех же столах, подоконниках и просто на полу грудями лежали книги.

Все они, поборницы равноправия женщин, не признавали моды, но, бессознательно подчиняясь ими же созданной своего рода моде, курили, стригли волосы, носили узкие темные юбки и косоворотки, подпоясанные широкими ремнями. В комнате бывало так накурено, что из-за дыма трудно было что-либо рассмотреть.

Соня в своем походе на гимназическую форму коричневого платья с белым воротничком, в черном переднике с нагрудником и заколотыми сзади косичками выделялась среди других посетительниц собраний не меньше, чем выделялась бы среди светских разряженных барышень.

К Корниловым стремились не только жительницы Петербурга, но и передовые женщины, приехавшие из провинции. Их всех объединяла не общность мнений (споры бывали очень горячими), а общее желание найти правильный путь и идти по этому пути, не сворачивая в сторону. Их спланивало страстное желание найти то единственное и драгоценное, чему стоит отдать свою жизнь, всю себя целиком.

Чувство огромного нравственного обязательства по отношению к народу, окрепшее в молодежи под влиянием Добролюбова, Чернышевского, Писарева, Флеровского, возросло в ней до крайних пределов, превратилось в своего рода навязчивую идею после того, как «Неделя» опубликовала «Исторические письма» Лаврова-Миртова.

Только теперь молодежь до конца прочувствовала и со всей

непреодолимой ясностью осознала, что все блага жизни, которыми пользуются культурные люди, созданы благодаря обездоленному, неграмотному, невежественному народу. Это он веками трудится в поте лица, чтобы они могли заниматься искусством и наукой.

Весной 1871 года вся молодежь была взбудоражена. Разговоры о Парижской коммуне, о первом в мире рабочем правительстве, о предательстве буржуазии создавали напряженную атмосферу.

Соня как-то с безапелляционностью молодости заявила Саше, что французы народ легкомысленный, потому что слишком много думают об амурах. Теперь она резко переменяла о них мнение и с всевозрастающим волнением следила за развивающейся в Париже трагедией.

На одно из собраний знакомый студент привёл Ковальскую, с которой Соне давно уже хотелось познакомиться. Ей нравилось, что Елизавета Ивановна не только думала о том, что можно сделать для народа, но уже успела для него основательно поработать: устроила в Харькове у себя в доме высшие женские курсы и, что было еще лучше, вечернюю школу для работниц.

Узнав, что курсы и школа по повелению свыше уже прекратили свое существование, а сама Елизавета Ивановна во избежание неприятностей переехала в Петербург, Соня предложила ей взяться вместе с нею, Ольгой Шлейснер, Ободовской, Вильберг и Сашей Корниловой за изучение политической экономии.

Елизавета Ивановна охотно согласилась. Ее удивила только малочисленность кружка.

«— Видите ли, — сказала ей Соня очень серьезно, — мы принимаем в наш кружок людей с особенным разбором, потому что позже он возьмет на себя и другие задачи.

«Исправными посетителями этих занятий, — вспоминала потом Ковальская, — были только мы двое. Остальные или вовсе не приходили, или приходили, когда мы уже заканчивали назначенную на этот день порцию Милля. Перовская в таких случаях резко пробирала опоздавших, особенно доставалось Ольге Шлейснер, всегда куда-то стремившейся, всегда торопившейся. Перовская относилась к занятиям очень серьезно. Вдумчиво останавливаясь на каждой мысли, она развивала ее, возражая то Миллю, то Чернышевскому. Видно было, что умственная работа сама по себе, не, только как средство для дальнейшего обогащения знаниями, захватывала ее и доставляла наслаждение».

Вскоре Ковальская заболела, и Соня стала заниматься одна. Правда, и ей не удавалось отдавать книгам достаточного количества часов. Встречи,

собрания, сходки отнимали у нее все больше времени.

Как-то Соня, которой нужно было серьезно поговорить с Ковальской, зашла к ней домой. Но не успели они поздороваться и обменяться несколькими незначительными словами, как у Елизаветы Ивановны вдруг ни с того ни с сего хлынула из горла кровь. Соня знала о ее болезни, но того, что случилось, никак не ожидала. Она провела у постели больной бессонную ночь, а утром, прощаясь, сказала:

— Поправляйтесь как можно скорее. Я должна вам рассказать что-то очень, очень важное.

ЧАЙКОВЦЫ



Беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу, не пропадает даже тогда когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы...

В. И. Ленин

Боевое крещение

Вверх по Неве, в трех километрах от Литейного моста, расположен дачный поселок Кушелевка. Маленькие дачки с палисадниками сделаны как будто по одному образцу: на верандах холщовые занавески с красными каемками. У ворот зеленые скамейки.

В плохую погоду неуютно и тоскливо в Кушелевке. Слышнее, чем в городе, шумит ветер, раскачивая березы За бревенчатыми стенами дач, в низких комнатках, тесно и шумно. Кричат дети. Взрослые от нечего делать сплетничают и ссорятся. Чиновники с испитыми лицами играют в карты, передвигая медяки по грязной, залитой вином скатерти.

Но не все дачники заняты сплетнями, картами и ссорами. На краю поселка есть две дачки, в которых поселились очень молодые люди. Живут они дружной семьей, хотя между ними нет никакого родства. В этот дождливый день они не теряют времени даром. Студентка читает что-то по тетрадке. Остальные слушают, разместившись на скамьях вдоль длинного стола. Кроме стола и скамеек, в комнате нет никакой мебели.

Студентка, которая читает, — Саша. Рядом с ней Соня. Кто бы поверил какой-нибудь месяц назад, что Перовская и Корнилова, всегда возражавшие против того, чтобы принимать в женские кружки мужчин, первые вступят в кружок, в котором до них не было ни одной женщины.

Сколько их «измена» вызвала шуму, сколько разговоров! Самые ярые феминистки даже созвали специально по этому поводу собрание. Соня и Саша отмалчивались, пока на них нападали в одиночку с мест. Когда же юристка Берлин произнесла речь, достойную самого заправского прокурора, да еще потребовала от них объяснений, Соня взяла Сашу за руку, и они вместе вышли из комнаты.

Да и что им было делать? Не могли же они сказать тем, кому не полагалось об этом знать, что кружок самообразования, в который они вступили, на самом деле не только кружок самообразования.

Соню и Сашу пригласил в Кушелевку член Вульфовской коммуны Марк Натансон. К речам его Соня прислушивалась с особенным волнением и вниманием, еще когда жила в родительском доме. Она знала, что и сам Натансон и его товарищи ведут в студенческой среде пропагандистскую и организационную работу, знала о направлении этой работы и понимала, что Натансон предложил поселиться коммуной именно тем людям, которые, казалось ему, захотят и смогут стать их помощниками.

Лучшего, считала Соня, и не придумаешь! Одно дело — узнавать людей по их выступлениям и совсем другое — живя с ними бок о бок.

Новые интересы настолько захватили Соню и Сашу, что женский вопрос сразу же показался им обоим совсем не таким уж значительным.

Занятиями Кушелевской коммуны руководил Натансон. В спорах его трудно было победить. Это удавалось иногда только Куприянову, несмотря на то, что он был одним из младших в кружке и даже не кончил гимназию. Приземистый, коренастый, с лохматой головой и медлительными движениями, он напоминал медвежонка. Товарищи прозвали его Михрюткой.

Саша чувствовала себя, как на экзамене, когда начала читать реферат одной из глав «Политической экономии» Милля с примечаниями Чернышевского. За окном шел дождь, и ей сначала казалось, что чтение действует на слушателей еще более усыпительно, чем шум дождя, но по тому, как Натансон одобрительно кивнул головой, она поняла, что реферат составлен удачно.

После того как она кончила, началось обсуждение прочитанного. Михрютка сразу пошел в бой. У него была коварная манера спорить. Он задавал вопросы с самым наивным видом, и спор кончался тем, что противник незаметно для себя сдавал позиции.

Между тем дождь прошел. Клочок лазури, появившийся где-то на краю горизонта, стал расти все быстрее и быстрее и, наконец, охватил полнеба. Солнечный свет проник сквозь листву в окно и запрыгал на стене круглыми зайчиками.

— Надо и честь знать, — сказал Николай Лопатин, стройный и ловкий юноша, товарищ Натансона и Сердюкова по Вульфовской коммуне и Медико-Хирургической академии. — Кто хочет поразмяться?

— Я, — отозвалась Соня. Она среди женщин считалась лучшей гимнасткой.

Как любила потом Соня в невеселые минуты вспоминать Кушелевку: маленький лесок, из которого они умудрялись приносить полные корзины грибов, и две большие березы у самого дома. В их густой тени хорошо было и заниматься, и читать, и просто разговаривать.

Все в Кушелевке нравилось Соне, хоть это была обыкновенная дачная местность, каких много под Петербургом. Скорее даже пригород. И больше всего ей нравилось, что она сама, наконец, живет полной жизнью, ни от кого не зависит, никому не должна давать отчет в своих поступках.

Что хорошего ждало ее, если бы она не решилась уйти из дому? Такой же, как отец, а может быть и еще больший деспот муж.

Сколько раз, когда они ставили на стол незатейливую, разнокалиберную посуду и принимались со смехом и шутками за свой спартанский обед, Соне вспоминались другие обеды — торжественные и чинные. Ей казалось, что она снова видит перед собой ослепительно белую скатерть, уставленную фарфором, хрусталем, фамильным серебром, снова следит за бесконечной сменой блюд и слышит в голосе отца нарастающее раздражение.

Но Соня не позволяла себе долго предаваться тяжелым воспоминаниям. Ей, как самой младшей, приходилось работать особенно много, чтобы идти вровень с товарищами. Какое-то время отнимало и хозяйство. Для Сони и Саша Корниловой оно было совсем непривычным занятием.

«Когда пришла моя очередь ставить самовар, — рассказывала Корнилова, — несколько человек явились на кухню, заинтересованные тем, сумею ли я в первый раз в жизни приняться за эту работу; но я не ударила лицом в грязь и воду в трубу не налила, как, по-видимому, ожидал Михрютка, лукаво на меня посматривавший».

Соня, когда пришло ее время дежурить, тоже, конечно, «лицом в грязь не ударила». Не «ударил она лицом в грязь» и во время занятий. Занимались они и психологией, и физиологией, и политической экономией. Общими силами сами для себя переводили первый том «Капитала» Маркса. Соня хорошо владела немецким языком, и ей перевод давался легче, чем другим.

С того дня, как Соня ушла из дому, она ни разу не встречала отца, а теперь ей пришлось расстаться и с матерью. Варвара Степановна отдала мужу полученное от родителей наследство, взамен добилась того, что он перевел на ее имя свое последнее крымское имение — Приморское, и уехала туда налаживать хозяйство.

Соня скучала по матери, но одинокой себя не чувствовала. Люди, которые ее теперь окружали, за несколько месяцев стали для нее ближе, чем родные по крови Коля и Маша. Вот Вася, тот всегда оставался Сониным любимым братом и другом, но по нему скучать ей не приходилось. Он был частым гостем в Кушелевке и приезжал туда не только к сестре. У него установились дружеские отношения со всеми членами коммуны.

Много толков вызвал в это лето процесс нечаевцев. Соня и ее друзья с нетерпением ждали выхода газет. А когда газеты, наконец, попадали в их руки, прочитывали вслух весь отчет от первой строки до последней. Отношение к нечаевцам у Сони создалось двойственное. Она не могла не

сочувствовать людям, которые боролись за благо народа, но ее отталкивало от них то, что они шли за Нечаевым, как слепые за поводырем. Он командовал, генеральствовал от имени несуществующей «Народной расправы», а они выполняли его приказы, не осмеливаясь даже спросить, зачем, для чего.

Сила воли Нечаева, его убежденность и преданность идее произвели на Соню большое впечатление, но она не прощала ему обмана, мистификации, насилия. Не так, казалось ей, не такими средствами можно создать крепкую революционную организацию.

Речь подсудимого Петра Успенского нашла в Сониной душе самый живой отклик. Он сказал:

— Я знаю только один страх — не быть самим собой, боюсь только одного — своей неискренности, и то чувство нравственного унижения, которое я испытываю, когда мне приходится поступать наперекор своему сознанию, для меня гораздо тяжелее, чем всякое другое чувство.

Дружба, братское доверие друг к другу, полную искренность в отношениях — вот что решили жители Кушелевской коммуны противопоставить «нечаевщине». Поговорка «Цель оправдывает средства», макиавеллизм, самозванщина не пришлись им по душе. Чистое дело, считали они, надо делать чистыми руками. А самое слово «нечаевщина» наряду со словом «генеральство» стало в их кружке бранным словом.

Если раньше Соня смутно представляла себе цель, которую поставил себе кружок, то теперь знала ясно: его целью было организовать передовую учащуюся молодежь, создать кадры истинно народной партии.

Однажды ночью послышались глухие удары в дверь, потом произнесенное басом слово «телеграмма» и бряцание шпор. «Обыск», — сообразила Соня. Она уже знала от товарищей, что жандармы на вопрос «Кто там?» большей частью отвечают: «Телеграмма».

Едва только Соня и Саша успели зажечь свечу и наскоро одеться, как к ним вошли жандармский офицер, три жандарма в касках и господин в штатском — очевидно прокурор. Огромные, перегнувшиеся пополам тени заходили по потолку и стенам. В комнате сразу стало неуютно, как на улице. Жандармский офицер сел к столу и стал перелистывать тетради с конспектами.

— «Современное учение о нравственности по Лаврову», — прочел он заглавие одного из конспектов и добавил торжествующим тоном: — Сочинение Лаврова, известного революционера и эмигранта.

— Гм, да, — сказал прокурор, просматривая тетрадку при свете свечи,

— по всей видимости, революционная программа.

— Вы ошибаетесь, — вмешался Николай Лопатин, входя в комнату. — Этот конспект составлен мной по статье, напечатанной с разрешения цензуры в «Отечественных записках».

Офицер взял тетрадку у прокурора и передал ее одному из жандармов. Лопатин усмехнулся и пожал плечами. Офицер нахмурился.

— Обыскать постели! — скомандовал он грозно.

«Надо переменить простыни», — подумала Соня, глядя на огромные коричневые руки жандарма, которые рылись в ее постели.

Двинулись в другие комнаты. Пришел из второй дачи Чайковский. Красивый, хорошо одетый, с изящно подстриженной бородкой, он казался молодым человеком из высшего общества. Соня с удовольствием наблюдала, как он спокойно, даже небрежно разговаривал с жандармами.

Обыск продолжался четыре часа. Стало светать.

— Потрудитесь расписаться, — сказал, наконец, офицер, — в том, что вы явитесь в назначенный срок в Третье отделение канцелярии его величества для дачи показаний.

Только Соня успела вздохнуть свободно — все в порядке, ничего не найдено, как офицер обратился к Чайковскому:

— Вы арестованы. Извольте следовать за нами.

Соня видела в окно, как Чайковский вышел вместе с жандармами из палисадника и сел в одну из ожидавших у калитки карет. Поместившийся с ним рядом жандармский офицер задернул шторы. Лошади тронулись, увозя из Кушелевской коммуны одного из ее основателей. Сразу стало грустно. Возбуждение, вызванное обыском, прошло. Вокруг все было раскидано, разбросано, — как перед переездом на другую квартиру.

У царя у нашего
Все так политично;
Вот хоть у Тимашева —
Выпорют отлично.
Влепят в наказание
Так ударов со сто.
Будешь помнить здание
У Цепного моста!

Эти строки не могли не вспомниться. Соне и Саше, когда они в назначенный день подошли, к зданию Третьего отделения у Цепного моста.

Жандарм, стоявший у железных решетчатых ворот, указал им дорогу. Они прошли по узкому проезду во двор и вошли в подъезд длинного трехэтажного здания. Про Третье отделение говорили, что там не только допрашивают пристрасно, но и пыдают. Поэтому, когда Соня подходила к столу, за которым заседала комиссия, она приготовилась ко всему.

— Подойдите поближе, — подзвал ее толстый полковник, который сидел посредине; — Ваш батюшка не был ли петербургским губернатором?

— Да, был.

— Почтенный человек, — сказал полковник с сокрушением и покачал головой, словно хотел выразить Сониному отцу сочувствие.

Из дальнейших вопросов Соня поняла, что последние события в Кушелевке связаны с арестом Николая Гончарова, обвинявшегося в составлении и распространении периодического листка под страшным названием «Виселица».

Листки эти Соня видела сейчас не впервые и Гончарова знала. Скрываясь от ареста, он как-то ночевал в Кушелевке. Некоторые строки в его сумбурных, но необыкновенно искренних воззваниях задели ее за живое. Коммунист — так они были подписаны — призывал здоровых умственно и физически, сильных волей и страстью молодых людей помогать тому, «чтобы революция прорвалась сквозь парижские стены и лавой огненной заструилась по царствам». Последний листок призывал всех честных людей откликнуться «погибающему Парижу, чтобы, умирая, он знал, что дело его возобновят». Он заканчивался словами: «К оружию! К оружию!»

Кушелевцев вызвали на допрос потому, что искали членов преступного сообщества. В Третьем отделении не могли поверить, что один человек мог быть и автором, и издателем, и распространителем революционного воззвания.

Ни Соня, ни Саша не признались в своем знакомстве с Гончаровым. Улик против них не существовало, и допрос на этот раз сошел благополучно.

Девушки пошли по Пантелеймоновской, радуясь тому, что снова видят белый свет. Но поручиться в том, что они навсегда расстались со знаменитым зданием у Цепного моста, не мог бы никто. Слишком живо было в них обеих представление, что Гончаров взялся за благородную задачу и решить ее нужно, только иначе, разумнее: не в одиночку, а действительно сообща.

В справке Третьего отделения было сказано, что Софья Перовская освобождена от ответственности, так как дознанием установлено, что

кружок, в котором она участвовала, преследовал благотворительные цели.

И все-таки, когда в следующем, 1872 году Соня выдержала экзамен на народную учительницу, диплом ей не выдали.

Соня на минуту оторвалась от работы. Перед ней на столике лежал листок бумаги, весь испещренный цифрами, буквами и знаками. В комнате пахло керосином. Огонек лампы тускло отражался в окне, как будто висел над темной пустотой улицы.

Было два часа ночи. Соня прикрутила лампу, очинила карандаш и снова принялась писать. Спать не хотелось, да если бы и хотелось, она все равно не бросила бы работы, не закончив ее.

Вот уже три месяца Соня живет в городе. С утра до поздней ночи она занята непривычной для нее работой: шифрует письма, ведет переписку с людьми, живущими на австрийской границе, подбирает библиотечки, составляет списки, упаковывает и распаковывает огромные кипы только что отпечатанных книг. Заниматься приходится мало, урывками. На курсах Соня не бывает. Целые дни она проводит на Кабинетской, в штаб-квартире кружка. Кушелевцы взяли на себя трудную задачу — снабжать молодежь книгами. Мысль эта принадлежала Натансону.

— Кружки молодежи, — сказал он. на собрании коммуны, — возникают один за другим. Гимназисты пятого класса и те запоем читают Чернышевского и Лассаля. Книжки зачитывают до дыр. И в то же время то здесь, то там происходят обыски, и полиция отбирает даже то немногое, что имеется. Необходимо организовать кружок, который взял бы на себя задачу распространять лучшие книги. Кое-кто из нас уже занимался этим. У нас есть знакомства среди издателей. Нужно решить: берем мы это на себя или не берем?

Завязался спор. Многие колебались, понимая, что придется отодвинуть на второй план занятия в учебных заведениях.

— Наука — великая вещь, — с жаром напал на колеблющихся Куприянов, — но нельзя забывать свой долг перед народом. Нельзя думать только о себе, когда вокруг нищета и темнота, когда лучшие люди в тюрьме и ссылке.

— Михрютка не прав, — возразил Натансон, — никто не должен бросать занятий, если не считает этого нужным. Пусть каждый свободно выберет путь, который ему кажется правильным. Соня не стала раздумывать. Ей было ясно. Курсы, зачеты — это только подготовка. Теперь, наконец, начинается настоящее дело. Оно связано с опасностью, но тем лучше. Пусть впереди тюрьма. Это не страшно. Распространять

идейные книги, сделать так, чтобы Чернышевского, который томится в ссылке, услышала вся Россия, для этого стоит жить.

Вслед за Соней еще десять человек заявили о своем желании принять участие в новой работе.

На этом же собрании решено было привлечь в кружок Чарушина Сашину сестру Веру Корнилову и членов Вульфовской коммуны Клеменца, Лермонтова, Александра.

Осенью кушелевцы сняли на Кабинетской квартиру. В ней поселился штаб кружка. Вера Корнилова числилась хозяйкой. Натансон, Николай Лопатин, Ольга Шлейснер и Чайковский, которого уже освободили, — квартирантами. Михрютка снял комнату напротив, в мансарде. Соня устроилась поблизости, но все свое время проводила на Кабинетской.

Штаб-квартира постороннему человеку показалась бы обыкновенной студенческой квартирой. Никто бы не сказал, что здесь ведутся дела по комплектованию библиотек, закупке, рассылке и даже изданию книг. Это было учреждение, ничем не похожее на учреждение. Тысячи книг хранились не на складах, а под кроватями или в сундуках у знакомых по мере сил и делились друг с другом всем, что у них было. Они мечтали о том времени, когда Россия станет социалистической страной, а пока что стремились проводить принципы социализма в своей жизни. Их социализм был утопическим, не наукой, а мечтой о всеобщем счастье и благоденствии.

Они называли себя революционерами и, по словам одного из авторов изданной в 1882 году анонимной биографии Перовской, «были действительно революционеры в том смысле, что желали радикального, социального и политического переворота на началах социализма, но в то же время в своих средствах это были мирнейшие из мирных людей. Они слишком ненавидели насилие, чтобы не отворачиваться от него даже для достижения своих целей. Они слишком верили в силу истины для того, чтобы считать нужным насилие...»

Члены кружка познакомились с первым томом «Капитала» задолго до его издания в России. «Широко распространялось чисто экономическое учение Маркса... — свидетельствует Ковалик. — Семидесятники ощутили в своих сердцах ненависть к эксплуатации труда капиталистами и без колебаний признали освобождение труда одной из первых задач». Но указанный Марксом путь они считали верным только для Запада. Там капитализм уже существует. Там другого пути нет. России, полагали они вслед за Герценом и Чернышевским, удастся прийти к социализму, минуя ужасы капитализма.

Русские крестьяне с их обычаем все делать сообща, миром казались им прирожденными социалистами, русская община не пережитком прошлого, а залогом счастливого будущего.

Вековой мечту крестьянина — равный передел земли — они принимали за социализм, не понимая, что на деле это был путь к быстрейшему развитию освобожденного от крепостнических уз капитализма и что единственная дорога к социализму шла через капитализм, через классовую борьбу — борьбу пролетариата с буржуазией. Их соединяла не программа (программы еще не было), а ненависть к существующему порядку и готовность отдать все свои силы служению народу.

За организацию революционных сил пришлось взяться самым молодым из молодых. Все, что оставалось в России от революционных организаций прежних лет, погибло во время польского восстания 1863 года, каракозовского и нечаевского процессов. Примкнуть было не к кому, опереться не на кого. Не только отцы, но и старшие братья, напуганные возрастающим разгулом реакции, старались держаться подальше от молодежи, которая вся целиком признавалась неблагонадежной.

Попасть в кружок считалось большой честью. Было признано согласно Лаврову, что нравственно стойкая, «критически мыслящая личность» должна стать основой организации, какие бы эта организация ни взяла на себя задачи.

Прежде чем ввести в кружок нового члена, его моральный облик, его склонности и привычки всесторонне обсуждались. Принимали только тех людей, против которых никто не высказал ни одного возражения. Малейшее проявление неискренности, недостаточной отзывчивости, даже просто любви к нарядам, — и человек оказывался за бортом.

«Никогда впоследствии, — писал Кропоткин, — я не встречал такой группы идеально чистых и нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать, которых я встретил на первом заседании кружка Чайковского. До сих пор я горжусь тем, что был принят в такую семью».

Переговоры с посторонними лицами вел Чайковский. Поэтому членов кружка стали называть чайковцами. Но Чайковский не был главой кружка. Собrania велись без председателя, никто не командовал и не распоряжался, и, несмотря на это, среди семнадцати чайковцев не происходило никаких недоразумений — так велика была их дружба.

Однажды, придя на Кабинетскую, Соня увидела там полный разгром. Шкаф и комоды были выдвинуты на середину комнаты. Вынутые из них

ящики стояли на полу. Тут же рядом с выброшенной из печки золой валялись книги, платья, белье. Она сразу догадалась, что был обыск. Ольга Шлейснер, которая открыла ей дверь, сказала, держась за голову:

— Соня, Марк арестован.

Серые, всегда яркие глаза Ольги казались потухшими. Соня знала, что Ольга невеста Марка. Но сейчас не только Соне, но и Ольге это казалось не самым важным. Арест Натансона был ударом в сердце кружка.

Узнав через некоторое время, что Натансон выслан в административном порядке, товарищи решили вызволить его. Соня отправилась к нему в Шенкурск в дорожном костюме, с сумкой, полной денег, но очень скоро вернулась оттуда одна.

Натансон не захотел бежать. Он считал, что годы ссылки можно провести с пользой, употребив их на тщательное изучение теории, а слишком ранний переход на нелегальное положение принесет только вред. Он написал Ободовской, что хочет привести свои идеи в систему, в стройное целое, в нечто такое, что дало бы партии ответ на все важнейшие вопросы. Он писал, что «хочет учиться, изучать законы природы и общества, понятно, для того только, чтобы составить себе определенный, целый и непременно истинный взгляд на все».

Натансон не понимал, что составить себе «истинный взгляд» на все в России начала 70-х годов при незрелости русского общества, слабости и малочисленности пролетариата было неразрешимой задачей.

Несмотря на обыски и аресты, работа росла и ширилась. В Москве, Киеве, Вятке, Орле возникали кружки — отделения петербургского. Состав петербургского кружка пополнился в конце 1871 и в начале 1872 года высокоодаренными и образованными людьми. В него вступили имеющий уже двухлетний тюремный «стаж» юрист Феликс Волховской, секретарь Географического общества, известный ученый Петр Кропоткин и бывший артиллерийский офицер Сергей Кравчинский.

Несмотря на свой молодой возраст, Кравчинский успел проштудировать уйму книг. Он сам со смехом рассказал своим новым товарищам, что держал у себя в Комнатке всего-навсего одну табуретку для того, чтобы посетители не имели возможности отнимать у него драгоценное время — засиживаться в буквальном смысле этого слова.

Кравчинский был настроен революционно, но несколько на романтический лад. Он придавал непомерное даже по тому времени значение роли личности в истории.

Кропоткин вернулся из-за границы, уже увлеченный анархическими идеями. Предлагая ему вступить в кружок, Клеменц сказал: «Члены нашего

кружка покуда большей частью конституционалисты, но все они прекрасные люди. Они готовы принять всякую честную идею. У них много друзей повсюду в России. Вы сами увидите впоследствии, что можно сделать».

Разница во взглядах не мешала людям дружно работать сообща. То, что их соединяло, — ненависть к самодержавию, к остаткам крепостничества — имело для них в те годы большее значение, чем то, что их разделяло.

Чайковцы начали с того, что распространяли легальную, специально подобранную литературу, потом присоединили к ней запрещенные, изъятые из продажи издания. Когда же им удалось завести в Швейцарии свою типографию, они стали печатать революционные книги. У них была организована секция переводчиков, и многие из этих книг они переводили сами.

Литературу перевозили контрабандисты. Целые ночи просиживала Соня, зашифровывая их имена и пароли, с которыми следовало к ним обращаться. Ее записная книжка была испещрена таинственными знаками и цифрами. В ней попадались странные записи: «Семенов Андрей Топор получай на водку. Шехтер Соломон купец. Здравствуй купец Петров Николай петух петухи поют». Мужчинам шифровку писем не доверяли, считали, что они для такой работы недостаточно аккуратны.

Когда груз прибывал, кто-нибудь из членов кружка получал его на вокзале и вез в условленное место. Человека два под видом случайных прохожих следили в это время, все ли идет благополучно. В условленном месте книги быстро распаковывали и разносили по квартирам.

Стремясь воспитать поколение революционных деятелей, кружок заботился не только о распространении книг, но и о принятии всеми кружками одинаковой программы для занятий.

Обыски у студентов производились так часто, что Клеменц как-то не выдержал и со свойственным ему юмором сказал жандармскому офицеру:

— И зачем это вам перебирать все книги каждый раз, как вы у нас производите обыск? Завели бы себе список их, а потом приходили бы каждый месяц и проверяли, все ли на месте и не прибавилось ли новых.

Обыски и аресты не могли остановить распространение литературы. Опасные книги расходились по всей России.

Во дворах полицейских участков, как в средние века, горели костры из книг. Но и это не помогало.

Реакция свирепствовала. Земство постепенно теряло все свои права.

Делать что-нибудь легально для народа становилось все труднее и труднее. Циркуляры и разного рода правила урезывали, сводили на нет уже проведенные реформы. О новых реформах и речи быть не могло. В среде интеллигенции росли оппозиционные настроения.

Однажды в квартире адвоката Таганцева состоялось собрание. На него были приглашены общественные деятели: молодые профессора, адвокаты, педагоги, врачи и кружок чайковцев в полном составе.

Разговор шел о конституции в русских условиях.

Чайковцы были тогда совсем не против конституции, которая дала бы им возможность проповедовать свои идеи легально. Мысль о том, что политическая свобода в условиях, когда крестьянство не обеспечено экономически, принесет только вред, тогда только зарождалась.

Обменявшись мнениями, собравшиеся согласились на том, что дворянство и буржуазия предпочтут отстаивать свои интересы «с заднего крыльца», а интеллигенция слишком слаба, чтобы добиться чего-нибудь самой. Общий вывод, по словам Чарушина, был таков: «Без сознательного участия народных масс выхода из тупика нет и быть не может».

Соня и ее товарищи вели социалистическую пропаганду среди учащейся молодежи, готовили пропагандистов для деревни.

Они смотрели на рабочих не как на растущий класс пролетариата, а как на крестьян, которых голод и непомерные подати пригнали на время из деревень в города. Слова Маркса: «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих», — в России звучали: «Дело освобождения народа должно быть делом рук самого народа». Произошла подмена понятий. Этот вольный перевод объяснялся не плохим знанием немецкого языка, а незрелостью теоретических воззрений в связи с экономической неразвитостью страны.

Народ! С каким благоговением произносили это слово на собраниях молодежи и как мало понимали, что именно под этим словом кроется.

И вот, чтобы увидеть народ собственными глазами, чтобы узнать о нем, о его жизни не только из книг, Соня весной 1872 года отправилась в Самарскую губернию. Выучилась в Ставрополе прививать оспу, получила необходимые инструменты и отправилась бродить по деревням.

Было еще полутемно, когда где-то на окраине села сонным голосом прокричал петух. Ему ответил другой — громче и ближе третий — еще ближе и, наконец, за самой стеной загорланил и захлопал крыльями четвертый. Казалось, будто кто-то передает через все село спешный приказ по петушиной армии. В хлеву замычала корова. Старуха хозяйка, бормоча

что-то, слезла с лежанки и, стуча подойником, пошла доить корову. Потом вернулась, стала будить сына и невестку.

Соня слышала, как они встали и вышли из избы. Сквозь оставленную открытой дверь потянуло в избу туманом и холодом, дневными заботами. Проснулся и заплакал в люльке ребенок. Соня вскочила с лавки, на которой спала, и огляделась. В избе было мрачно и душно. Из угла, где спали дети постарше, доносилось похрапывание.

Вот уже третью неделю Соня ходит пешком по селам и деревням. Петербург, книги, разговоры, споры — все это далеко, и не потому, что от Петербурга до Самарской губернии несколько тысяч верст, а потому, что деревня сразу стала Соне близкой.

Прививать оспу было гораздо легче, чем добиться разрешения на эту несложную операцию. С ребятишками Соня кое-как справлялась при помощи леденцов и пряников, а вот с их матерями приходилось тратить много времени и терпения. Существовало поверье, будто человек, у которого привита оспа, носит на себе печать дьявола.

Соня, конечно, пропагандировала не одно только оспопрививание. Она старалась разорвать опутавшую крестьян паутину предрассудков и суеверий, пыталась заставить их призадуматься над своей участью, захотеть лучшей жизни.

Тяжелое положение крестьян не было для Сони новостью, и все-таки то, что она увидела вокруг, поразило ее до глубины души.

Во всех деревнях ей говорили одно и то же: земли мало. Помещик отпустил на волю с нищенским наделом. Подати разорили. Все берут взятки, начиная от волостного писаря, кончая губернскими чиновниками. Жаловаться некому. Ходоков с жалобами возвращают по этапу ни с чем, да еще пугают: «Второй раз пожалуетесь, хуже будет».

Крестьяне сознавали, что «воля» не принесла им свободы, и это радовало Соню. Но их бесконечная покорность, их фатализм, их уверенность в том, что жалобы не помогают потому только, что дворяне не допускают ходоков до царя-батюшки, приводили ее в отчаяние. Сетования крестьян большей частью кончались рассуждениями: «Не нами началось, не нами кончится»; или: «До бога высоко, до царя далеко»; «Христос терпел и нам велел».

«Как взглянешь вокруг себя, — писала она Ободовской, — так и пахнет отовсюду мертвым, глубоким сном, нигде не видишь мыслительной деятельной работы и жизни и в деревнях и в городах, — всюду одинаково. И крестьяне точно так же перебиваются изо дня в день, ни о чем более не думая, точно мертвая машина, которую завели раз навсегда, и она так уже и

двигается по заведенному... К чему ни подойдешь, то все из рук валится. Это правда, что и умение и знания можно приобрести, но ведь настоящее положение все-таки подло. Хочется расшевелить эту мертвечину, а приходится только смотреть на нее».

Чувствуя, что для того, чтобы найти исход из «подлого положения», у нее не хватает ни знаний, ни умения, Соня опять взялась за книги, наметила ряд вопросов, которые должна была разрешить, прежде чем прийти к окончательному и обязательно практическому выводу.

Ей, так же как и Марку Натансону, хотелось «составить себе определенный цельный и непременно истинный взгляд на все».

В середине мая по приглашению одной знакомой, устроившей курсы для сельских учительниц, Соня переехала в Ставрополь и с жаром взялась за преподавание. На ее долю достались уроки русского языка и литературы.

На курсах она не занималась прямой пропагандой, но, разбирая литературные произведения, в полной мере пользовалась возможностью критиковать изображенную в них действительность.

Лето только начиналось. Погода стояла чудная, и Соня, взяв с собой книгу Бокля, сразу после уроков уходила в лес. Иногда она уплывала на лодке в Жигули и оставалась там одна до позднего вечера, а то и до утра, чем наводила на местных жителей суеверный ужас.

Но не успела она порадоваться успехам своих учениц и тому, что ее собственные занятия идут хорошо, как все оборвалось. По требованию начальства курсы были закрыты, учебники конфискованы.

Соня теперь уже вместе с одной из своих учениц снова принялась за оспопрививание. Первое время, пока они бродили по деревням, не останавливаясь нигде больше, чем на три дня, она чувствовала себя настолько бодрой, что вечерами умудрялась заниматься в самой неподходящей обстановке. Но когда почти во всех окрестных деревнях оспа была уже привита, Соня, по ее собственному выражению, оказалась в «мерзком положении»: осталась совсем без денег.

Она просила Ободовскую найти ей место конторщика или бухгалтера на самое маленькое жалованье, чтобы только было чем жить. Заработок ей был необходим, но, судя по письмам, бездействие мучило ее не меньше, чем безденежье.

«Одной теорией и книгами, — писала она, — я решительно не могу довольствоваться; является у меня сильное желание какой-нибудь работы, хоть даже физической, лишь бы она была разумная. А то бездействие, целый день одна, в четырех стенах, да с книгами, вперемежку с

разговорами то с тем, то с другим, приводит меня, наконец, в такое состояние апатии и умственной тупости, что не можешь взяться ни за какую книгу, и все, начиная с себя и кончая всеми людьми и всем окружающим, становится мне противным. Иной раз до такой степени хочется что-нибудь делать, за исключением чтения книг и разговоров, что доходит просто до какого-то ненормального состояния, — бегаешь из угла в угол или рыскаешь по лесу, но после этого впадаешь в еще сильнейшую апатию. Мне необходимо часов пять-шесть в день работать, отчасти даже физически, тогда и теория моя пойдет на лад».

На зиму Соня перебралась к Ободовской в село Едимново Тверской губернии. И сделала это вовремя. Сразу после ее отъезда в тех местах, где она бродила, появились жандармы и принялись разыскивать нити пропаганды. Ободовская была учительницей в народной школе. Соня взялась ей помогать. Получить самостоятельное место она не могла из-за того, что у нее не было диплома.

Каждое утро маленькие комнатки школы наполнялись шумной толпой озябших ребятишек. Родители сначала неохотно пускали их учиться, говорили: «Только сапоги стопчете». Но потом, увидев, что дети делают быстрые успехи, изменили свое мнение.

Однажды после уроков Соня услышала в сенях топот: кто-то старался отряхнуть с валенок снег. Она отворила дверь и увидела Ивана Трофимовича, отца одного из своих учеников.

— К вам я, барышня, — сказал он, снимая шапку, — мальчишку моего Василия вы читать обучили, а я-то, старая голова, как был дураком, так и остался. Вот и хочу вас просить, научите меня грамоте.

Соня с радостью согласилась. Иван Трофимович стал приходить заниматься, но грамота ему давалась трудно. Нередко он с сердцем ударял по книжке своим большим кулаком и говорил:

— Э-эх, Львовна, не учили меня в малолетстве. Вот оно что!

Пример Ивана Трофимовича оказался заразительным. Скоро занятия в школе пошли и по вечерам. Утром занимались дети, а вечером — их отцы. После уроков Соня и Александра Яковлевна Ободовская читали крестьянам книжки — Некрасова, Гоголя, рассказывали им об Иване Грозном, о Новгородском вече, о Степане Разине и Емельяне Пугачеве.

Деревенские власти косились на петербургских барышень. Волостной писарь не раз зазывал к себе детей и спрашивал:

— Не говорят ли вам учительницы, что царя не надо?

Но дети отвечали:

— Не говорят.

Поздно вечером, после того как расходились по своим избам их бородатые великовозрастные ученики, Соня бралась за учебники. Она считала, что здесь, в провинции, скорее сможет получить диплом народной учительницы, и опять готовилась к экзаменам.

В комнате при свете маленькой лампочки было уютно. За окном, накрывшись снегом, спала деревня. Где-то далеко лаяли собаки, ведя безнадежную борьбу с глубокой зимней тишиной.

Соня была тогда, как про нее говорили товарищи, в периоде «рахметовщины». Ей нравились в деревне и нерасчищенный снег по колено, и бревенчатые избы, и простая утварь, и неприхотливая еда, и больше всего ей нравилось, что она сама жила такой же жизнью, как и окружающие ее люди. Умывалась студеной ледящей водой из колодца. Нароботавшись, найдившись, с аппетитом ела то, что ели они. Спала на соломе, а то и на голом полу, крепче и слаще, чем когда-то на мягкой постели в губернаторском доме. Она окрепла, поздоровела, щеки ее округлились.

— У тебя, матушка, словно два горшочка на лице, — сказала ей как-то одна крестьянка.

И Соне пришлось по душе сравнение, которое другой городской барышне показалось бы обидным. Она не чувствовала себя в деревне лишней. Крестьяне учились грамоте с не меньшим усердием, чем пахали землю, рубили избы. Иногда Соне казалось, что она готова всю жизнь провести здесь, в этих снегах. Но приходили письма из Петербурга от товарищей, и ее сердце начинало биться тревожно.

С того времени, как она уехала, в кружке на первый, план выдвинулись занятия с рабочими. На Выборгской стороне коммуна чайковцев сняла большой дом. Каждый вечер сюда приходили десятки рабочих с окрестных фабрик. Сначала в отдельных комнатах шли занятия по школьным предметам, а потом все собирались в большом зале для беседы или общего чтения. Здесь Клеменц говорил рабочим о народных восстаниях, о Степане Разине и Пугачеве. Кравчинский читал лекции по политической экономии, излагал в популярной форме «Капитал» Маркса. Только что вернувшийся из-за границы Кропоткин рассказывал о Международном Товариществе Рабочих, о борьбе, которую ведут рабочие на Западе.

Такие же занятия начались на Васильевском острове, на Лиговке, за Невской и за Нарвской заставами. Рабочие жадно ловили каждое слово, приводили на собрания все новых и новых товарищей. Полиция до поры до времени ничего не замечала, и число рабочих, охваченных пропагандой,

быстро росло. Перечитывая письма товарищей, Соня думала: «Надо бросить все и ехать в Петербург».

Сент-Антуанское предместье

Летом 1873 года, сдав в Твери экзамены и на этот раз получив диплом народной учительницы, Соня вернулась к товарищам. Странными и непривычными показались ей после долгого отсутствия петербургские улицы, желтые с зеленым вывески трактиров, грязные плиты тротуаров.

Сейчас же по приезде она пошла в штаб-квартиру. Дверь ей открыл Михрютка. На столе еще стоял самовар. Михрютка налил Соне чаю, вытащил из буфета краюху хлеба и кусок чайной колбасы. Все, казалось, было по-старому. Но с первых же слов Соня узнала, что многое изменилось. Умерла хозяйка квартиры Вера Корнилова. Она уже давно начала прихварывать, но никто не ожидал такого конца.

— Из Петербурга все разъехались, — сказал Михрютка, чтобы отвлечь Соню от грустных мыслей. — Коммуна на Выборгской разбрелась: кто уехал в деревню учительствовать, кто готовится к экзаменам.

— А занятия с рабочими? — спросила Соня.

— Конечно, продолжают, только в другой квартире, на Саратовской улице. Но работников мало. Чайковский собирается объехать провинциальные отделения. Чарушин едет на юг, Кропоткин уезжает продавать имение — нужны деньги для типографии. А я с его заграничным паспортом скоро укачу за границу.

Куприянову поручили купить в Вене на технической выставке и переправить в Россию усовершенствованный типографский станок. Устроить тайную типографию в Петербурге было давнишней мечтой чайковцев.

Заграничные издания не могли быстро откликаться на события дня, потому что приходили с большим опозданием.

Куприянов имел еще одно очень серьезное задание: товарищи поручили ему договориться насчет программы предпринятого Лавровым издания «Вперед». Первая земско-конституционная программа пришла в Петербург еще осенью, но никого не удовлетворила.

Те, которых два года назад представляли как конституционалистов, теперь считали, «что конституция принесет пользу только одной буржуазии, послужит еще большему закабалению масс».

Убедившись на примере Запада, что там, где буржуазия берет власть в свои руки, прекрасные слова «свобода, равенство и братство» остаются пустыми звуками; не видя прогрессивной роли капитализма, чайковцы

поставили себе невыполнимую задачу: поднять общинные инстинкты крестьян до социалистических идей и совершить экономический переворот, прежде чем окрепнет русская буржуазия.

На другой же день Соня отправилась на Саратовскую улицу, чтобы присмотреться к работе. Путь лежал мимо фабричных зданий. Она с ужасом смотрела на огромные кирпичные дома, из которых на улицу несся неумолкающий гул.

Один из Сониных товарищей, Синегуб, побывал как-то на ткацкой фабрике и рассказывал о том, что там видел.

— Это ад! — говорил он. — Шум невозможный. Кричат тебе, а ты не слышишь, будто оглох. Жара, духота, вонь от пота и от машинного масла. В воздухе белая мгла от хлопковой пыли. Я пробыл на фабрике всего два часа и вышел оттуда очумелый и с головной болью.

Соню этот рассказ ошеломил. Ее поразило больше всего то, что после тяжелого и бесконечно длинного рабочего дня ткачи все-таки приходили на собрания да еще просиживали два-три часа за книгами.

Хозяева квартиры — Чарушин и Кувшинская — встретили Соню радостно. Они уже слышали о ее возвращении. Чарушина Соня знала и раньше — он приезжал в Кушелевку, часто бывал на Кабинетской, хотя и не состоял еще тогда членом кружка. Соне нравились его огненно-красные волосы над большим лбом, его голубые глаза, которые смотрели застенчиво и серьезно поверх синих очков. Не успела Соня обменяться с ним несколькими словами, как начали собираться рабочие.

Ждали только Кропоткина. Соня познакомилась с ним еще до своего отъезда в деревню. Кропоткин принадлежал к старинному княжескому роду, более древнему, чем род Романовых. Отец отдал его в Пажеский корпус. Способный мальчик скоро обратил на себя внимание. Его назначили камер-пажом императора. Ему предстояла блестящая карьера, но он не захотел остаться при дворе и уехал служить в Сибирь.

А потом случилось то, чего не могли понять светские знакомые Кропоткина: он бросил военную службу, стал заниматься науками и свел знакомство с плохо одетыми молодыми людьми. Нередко после обеда в аристократическом доме он брал извозчика и спешил на студенческую квартиру. Там он снимал свой изящный фрак, накрахмаленное жабо, облекался в полушубок и ситцевую рубаху и превращался из князя Кропоткина в крестьянина Бородина. Наружность у него была самая мужицкая: русая борода чуть ли не по пояс, коренастая широкоплечая фигура. В этом бородатом дяде, который шел по улице, весело

перешучиваясь с мужиками, трудно было узнать бывшего камер-пажа.

Собрание началось. Клеменц рассказал присутствующим о Пугачеве, Саша Корнилова, которая только что вернулась из Вены, — о рабочем движении, Кропоткин — о брожении, которое всюду идет на Западе.

— В самых глухих швейцарских деревушках, — сказал он, — у подножия гор собираются по вечерам рабочие — гравировщики, часовщики — и говорят о социализме, о рабочем движении. Помню одно из таких собраний. Бушевала жестокая метель. Снег слепил нас, а холод замораживал кровь в жилах, покуда мы плелись до ближайшей деревни. Но, несмотря на метель, собралось около пятидесяти часовщиков — люди большей частью пожилые. Некоторым из них пришлось пройти до десятка километров, и все-таки они не захотели пропустить маленькое внеочередное собрание.

Слушая Кропоткина и глядя на серьезные лица слушателей, Соня не могла не сознавать, что то, чем занимаются они в своем углу, только часть того огромного и важного, что совершается во всем мире. И это сознание придавало ей новые силы.

Приближалась осень. Ветер торопливо обрывал желтые, как охра, листья и гнал их по пустырям. Соня шла домой в Казарменный переулок, где вместе с новым членом кружка Леонидом Шишко содержала квартиру. Она много ходила в этот день и устала. Утром за Невской заставой занималась с ткачами с фабрики Торнтон. Оттуда пошла к Саше Корниловой, вместе составляли шифрованное письмо Куприянову за границу, потом забежала к брату за книгами. И только в шесть часов вечера добралась, наконец, до Выборгской стороны.

Соня любила думать на ходу. И теперь, глядя на порыжелую зелень пустырей, она месяц за месяцем проверяла прошедший год. Ставрополь. Занятия с учительницами. Зима в Эдминове, школа — все это было, конечно, нужно. Пожив в деревне, она научилась говорить с крестьянами. Эти недоверчивые люди с хитрецей в глазах делались простыми и понятными, стоило только их задеть за живое.

Ткачи, с которыми Соня теперь занималась, мало чем отличались от крестьян, которых она недавно учила грамоте. Это были такие же серьезные люди с большими руками и ногами, в серых поддевках. И запах от них шел тот же — запах крепкой махорки.

Заводские рабочие были грамотнее, начитаннее, развитее и, главное, легче поддавались пропаганде, но чайковцы, смотревшие на рабочих главным образом как на промежуточное звено между ними и крестьянами,

предпочитали иметь дело с фабричными, которые не порывали связи с деревней и на свою работу в городе смотрели как на отхожий промысел. Чайковцы надеялись, что, уходя весной на полевые работы эти люди унесут в своих котомках революционные книги, а в глубине сознания — социалистические идеи.

Соня уже подходила к дому, как вдруг в тот миг, когда она свернула за угол, ей бросился в глаза крошечный человечек в непомерно длинном пальто, в кожаной фуражке, нахлобученной на глаза, и, несмотря на сухую погоду, в огромных кожаных калошах.

Он остановился на перекрестке, потом тоже свернул. Кроме Сони и крошечного человечка, никого не было видно по всей длине дощатого тротуара. Соня перешла через дорогу. Он тоже перешел через дорогу. Соня ускорила шаг. Человечек тоже ускорил шаг.

Соня прошла мимо своей двери, не замедляя шага. Человечек на минуту остановился, потом решительно двинулся дальше. Вокруг были пустыри.

И только шагах в пятидесяти начинались дома. На перекрестке бродил городской, сонный, как осенняя муха. Соня запыхалась, сердце билось часто-часто. Человечек мчался за ней на всех парах. И вдруг совсем близко от угла он, на Сонино счастье, потерял калошу.

Соня резко завернула за угол, вошла в первый попавшийся двор и сделала вид, что зашнуровывает ботинок. Сквозь щель между забором и калиткой она видела, что человечек выбежал из-за угла, постоял немного, подумал и пошел налево. Когда он отошел достаточно далеко, Соня зашнуровала свои-ботинки, вышла на улицу, не торопясь прошла мимо городского, завернула в Казарменный переулок, дошла до своего дома и тогда только обернулась. Городской на нее не смотрел. «Кажется, обошлось», — подумала она и со вздохом облегчения вошла в дом.

Шишко сидел за столом и читал книгу. Соня в изнеможении опустилась на стул и рассказала ему о своем приключении.

— К-какой шпион, м-маленький в к-кожаной фуражке? — спросил Шишко, слегка заикаясь. — Он тут в-весь день торчал под окном.

— Это не к добру, — сказала Соня. — Надо спешно выбираться.

Через два часа их имущество уже было запаковано. Оно состояло главным образом из книг для народа — десятков и сотен брошюр в серых, зеленых, желтых обложках. Среди них были «Чтой-то братцы» самого Шишко, «Сказка о четырех братьях» Тихомирова, «История одного крестьянина» и другие.

— Пусть теперь п-пожалуют синие мундиры. Птички-то улетели, —

сказал Соне Шишко, когда подвода, нагруженная вещами, двинулась в путь.

Жандармы пожаловали в ту же ночь, но, к их разочарованию, домик в Казарменном переулке оказался так же пуст, как и пустыри вокруг него.

Конец октября. Соня в полушубке, в высоких сапогах шагает по непролазной грязи к Неве. В руках у нее ведра. Высокий лоб спрятан под ситцевым платочком. По шатким деревянным, мосткам она подходит к воде. Впереди по Неве идет, вспенивая воду, черный, грязный буксир.

На берегу — беспорядочное скопище деревянных домиков и кирпичных заводских зданий. Железные трубы, прилепившиеся к стенам завода, попыхиывают паром. Через улицу из одних ворот завода в другие ползет паровоз с пустыми платформами. Кричат ломовики, осаживая лошадей, отупевших от крика и шума. Соня опустила ведро в воду. Оно легло набок, потом нехотя зачерпнуло воду и стало погружаться. Соня подхватила его и, расплескивая воду на носки своих мужских сапог, поставила рядом с собой. Потом она набрала воды в другое ведро и пошла к дому,

Соня переселилась теперь за Невскую заставу. Живет в одном доме с Синегубом и его женой Ларисой. Для полиции — она жена рабочего. Никто не догадывается, что Соня — дочь бывшего губернатора, а Рогачев, который числится ее мужем, — отставной артиллерийский поручик.

И это не маскарад. Живут они не лучше соседей-рабочих. Соня стряпает и стирает белье на всю артель. Рогачев работает на Путиловском заводе у плавильных печей. Говорят, он без труда ворочает тяжелой кочергой расплавленный чугун, но даже этот силач приходит с работы измученный. Сидя за столом, он молча слушает то, что говорят товарищи, и нередко тут же засыпает, склонив голову на широкую грудь.

Каждый вечер к Соне приходят заниматься ткачи. На первом же уроке они заявили, что хотели бы научиться «еографии» и «еометрии». «Жаждут чистой науки», — как сказал о них Синегуб. Почему именно «еографии» и «еометрии» — они не могли объяснить. Соня исполнила их просьбу и после уроков говорила с ними о народной нужде, о правительстве, о социализме. Один из ткачей, Петр Алексеев, умный, резкий и горячий, чуть ли не на третий день поставил вопрос ребром:

— Что нам, рабочим, делать, чтобы добиться правды?

На этот вопрос у чайковцев еще не было готового ответа. Не имея армии, трудно было строить стратегические планы.

— Толкуйте среди своих, а летом, когда разойдетесь по деревням, подбирайте там лучших людей, — отвечала Соня. — Нужно, чтобы нас

было больше, а тогда увидим, что можно сделать. Но только не забывайте вот чего: нас, вероятно, сошлют в Сибирь, да и вас тоже не помилуют.

— Ну что ж, — сказал, тряхнув головой, рабочий Смирнов, — и в Сибири не одни медведи живут. А где люди есть, там и мы не пропадем.

Давно ли Соня боялась, что не сумеет увлечь слушателей, а теперь ей уже приходилось сдерживать их пыл, чтобы не дать им погибнуть зря.

Конечно, таких, как Алексеев и его товарищ Смирнов, встречалось мало, но то, что такие все-таки были, наполняло Соню радостью.

Она жила теперь в мрачном, неказистом доме. Узкий, темный коридор делил его на две половины. Направо находилась квартира Синегуба. Налево занимали две комнаты и кухню Соня и Рогачев.

Войдя в кухню, Соня тщательно вытерла ноги о половичок. Из-за этого правила — вытирать ноги при входе — у нее часто бывали стычки с товарищами. К ее приходу ученики — человек тридцать, а то и сорок — уже собрались в большой комнате. Среди знакомых лиц она увидела и незнакомые — рабочих, стремившихся учиться у студентов, с каждым днем становилось все больше.

Член московского кружка Тихомиров, которого товарищи перетащили в Петербург, чтобы он помог им в их работе, увидев размах этой работы, воскликнул:

— Да это же настоящее Сент-Антуанское предместье!

— Мы затеяли большое дело, — сказала как-то Соня Кропоткину, — может быть, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо.

«Она была общей любимицей, — вспоминая потом эти дорогие для него годы, писал Кропоткин. — Каждый из нас, входя в дом, который она пыталась содержать в чистоте, улыбался ей особенно дружески. Мы улыбались ей даже тогда, когда она донимала нас за грязь, которую мы натаскивали нашими мужицкими сапогами и полушубками: мы долго месили грязь предместий, покуда добирались до домика. Перовская пыталась тогда придать своему невинному, очень умненькому личику самое ворчливое выражение, какое только могла, за что мы и прозвали ее Захаром. По нравственным воззрениям она была ригористкой, но отнюдь не проповедницей. Когда она бывала недовольна кем-нибудь, то бросала на него строгий взгляд исподлобья, но в нем виделась открытая великодушная натура, которой все человеческое было доступно. Только по одному пункту она была непреклонна. «Бабник», — выпалила она однажды, говоря о ком-то, и выражение, с которым она произнесла это слово, не отрываясь от работы, навек врезалось в моей памяти».

Однажды утром в дверь Сониной комнаты постучали. Вошел Синегуб в поддевке и шапке. Сутулый, худой, с волосами, подстриженными под горшок, с едва пробивающейся бородкой и наивными серыми глазами, он казался мягким и простодушным. Но Соня знала, что Синегуб умеет настоять на своем, когда это нужно. Рабочие его боготворили и готовы были пойти за ним в огонь и воду.

— Соня, — сказал Синегуб, — я только что от брата. Туда ночью пришли с обыском. Искали меня. Сейчас, наверно, к нам пожалуют. Надо поскорее очистить квартиру. Давай все мне, а я отнесу к одному парню.

Соня нахмурилась. Давно ли он здесь, и снова жандармы.

— Днем не придут, — возразила она, — они больше любят ночь.

И тут же принялась разбирать книги и тетради.

Кое-что пришлось сжечь. Она с сожалением смотрела, как огонь в несколько мгновений истреблял то, над чем ей пришлось работать много вечеров подряд. Связав все в узел, Соня пошла к Синегубам. Лариса сидела на полу и занималась той же работой. Она была близорука и каждую бумажку подносила близко к своим красивым глазам с расширенными зрачками. Вдвоем они быстро пересмотрели все, что еще оставалось в сундуке.

— А здесь что? — спросила Соня, указывая на стоявший в углу ящик.

— Мусор, — ответила Лариса.

В дверь постучали условным стуком. Из коридора потянуло осенним холодом и сыростью. Вошли Синегуб и молодой парень, рабочий Семянниковского завода. Взяв узлы, они вышли на улицу.

Жандармы явились в дом № 33 по Смоленской слободе в тот вечер, когда Соня, которой пришлось временно прекратить занятия с ткачами, перебралась в город.

Было поздно. За перегородкой мирно спала Лариса. Синегуб, Тихомиров и еще два товарища сидели за столом и беседовали. Вдруг на улице послышались голоса, стук подъезжающих экипажей, фыркание лошадей, какая-то странная возня. Синегуб подошел к окну. Из освещенной комнаты трудно было разглядеть, что делается во дворе. Но он все-таки заметил темные фигуры, перебежавшие от ворот к дому.

В дверь забарабанили. Лариса вскочила с постели и вбежала в комнату, бледная, дрожащая. Синегуб подошел к двери и спросил:

— Кто там?

Раздался внушительный бас:

— Откройте! По предписанию начальника Третьего отделения.

Как только Синегуб открыл дверь, в комнату ворвался отряд

жандармов. Все они были при шашках и револьверах. Предводительствовал ими майор — немец, судя по произношению. Он приказал приступить к обыску. Искали два часа подряд. Все как будто было осмотрено. Хозяева спокойно ждали ухода непрошенных гостей. Вдруг взгляд майора упал на ящик в углу комнаты. Лариса невольно улыбнулась, видя, с каким усердием жандармы принялись рыться в куче мусора.

Вдруг один из них извлек с самого дна ящика листок, исписанный красными чернилами. Майор взял листок двумя пальцами и прочел, произнося слова слишком ясно, как все обрусевшие немцы:

Гей, работники, несите
Топоры, ножи с собой!
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой!

— Очень хорошо, — произнес он с удовлетворением.

У Ларисы на глазах проступили слезы.

На другое утро Синегуб и Тихомиров, явившиеся на допрос, были арестованы и рассажены по одиночным камерам.

Третье отделение, занятое борьбой с книжным наводнением, заметило пропаганду в рабочей среде, когда она захватила уже многие фабрики и заводы. Заметило и приняло меры, чтобы «пресечь», «искоренить». Обыски пошли за обысками. Аресты за арестами. Вместе с Синегубом «провалился» и весь рабочий кружок за Невской заставой. Всюду шныряли шпионы. Студенту появиться у Семянниковского завода стало так же опасно, как солдату пробраться в неприятельскую крепость. Объединение представителей всех рабочих кружков в одну организацию, о котором уже давно поговаривали, создание для этой новой организации общей библиотеки и кассы пришлось отложить на неопределенный срок.

Невская застава была для кружка потеряна, но в других районах работа продолжалась. Мало того, именно сейчас она приняла особенно интенсивный характер. Чувствуя, что долго работать не придется, люди стали вести пропаганду чуть не открыто. Шли прямо в артели, фабричные казармы, где на расположенных тремя ярусами нарах спали рабочие. Правда, перед этим из предосторожности переодевались у Кувшинской в крестьянскую одежду и на всякий случай называли себя вымышленными именами.

Рабочие слушали пропагандистов с энтузиазмом, а те с трудом

сдерживались, чтобы не заговорить уж слишком откровенно. Сдерживаться было необходимо, ведь в артелях приходилось иметь дело со случайными людьми, а не с подготовленными, особо выделенными рабочими.

Вместо любимых крестьянами поговорок: «Лбом стены не прошибешь», «Против рожна не попрешь», «Никто, как бог» — чайковцам приходилось слышать от рабочих другие, гораздо более оптимистические: «Капля камень точит», «Не так страшен черт, как его малюют».

Восприимчивость аудитории поражала чайковцев. Они все больше вовлекались в «рабочее дело», несмотря на то, что по-прежнему смотрели на своих учеников только как на городских представителей крестьян.

За границей был Лавров, который призывал развить общину, «сделать из мирской сходки основной политической элемент русского общественного строя, поглотив в общинной собственности частную, дать крестьянству образование и то понимание его общественных потребностей, без которого оно никогда не сумеет воспользоваться легальными своими правами». За границей был Бакунин, который писал: «Русский народ только тогда признает нашу образованную молодежь своей молодежью, когда он встретится с нею в своей жизни, в своей беде, в своем деле, в своем отчаянном бунте. Надо, чтобы она присутствовала отныне не как свидетельница, но как деятельная и передовая, себя на гибель обрекшая соучастница».

Лавров призывал молодежь вырабатывать из себя «критически мыслящую личность» и тогда уже идти «в народ» проповедовать социалистические идеи. Он верил, что число пропагандистов будет расти в геометрической прогрессии. Один пропагандист передаст свои знания и охоту пропагандировать хотя бы десяти, а каждый из этих десяти, в свою очередь, еще десяти.

Бакунин тоже звал молодежь «в народ», но не когда-нибудь потом, а сейчас, сразу. Звал не пропагандировать, а агитировать «действием» — вызывать бунты, организовывать всенародное восстание. Он считал, что народ готов к революции.

«Мы, — писал о чайковцах Чарушин, — не были ни лавристами, ни бакунистами... и не считали возможным европейский революционный опыт целиком переносить на русскую почву».

Революционная молодежь в большинстве своем стремилась в деревню и на занятия с рабочими смотрела только, как на переходный этап. Отдавая себе отчет, насколько велика в России пропасть между интеллигенцией и народом, она принимала, как аксиому, что к народу надо являться в его обличье.

Молодые люди не только переодевались в одежду рабочих, но и сами становились рабочими. По всему Петербургу открывались многочисленные столярные, слесарные, сапожные мастерские. Революционеры изучали ремесла, чтобы быть в деревне, куда они все стремились, не лишними, не чужими, не барами, а своими и, главное, полезными людьми.

На сходках теперь не спорили, не решали теоретические вопросы, а говорили о самых практических вещах: о том, куда и в каком виде ехать, какие брать документы, как одеться.

Одни шли «в народ», чтобы узнать, чем он сам живет, другие — чтобы поднять, взбунтовать его, третьи — чтобы распропагандировать его, объяснить ему, на что он имеет право и чего должен добиваться.

Кравчинский и Рогачев, преобразившись в самых заправских пильщиков, одними из первых отправились в деревню пропагандировать, но кружок в целом предостерегал своих членов от чрезмерного увлечения «хождением в народ». В самом Петербурге работы было по горло, а людей становилось все меньше и меньше.

Для Сони ноябрь и особенно декабрь были тревожным и трудным временем. Своим быстрым шагом неутомимого скорохода, наклонив голову вперед и заложив руки в муфту, она обходила за день пол Петербурга: с Выборгской стороны — на Васильевский остров, с Васильевского острова — на Лиговку, с Лиговки — за Московскую заставу. А потом далеко за полночь просиживала за составлением писем в провинциальные отделения и за границу.

Бывали ночи, когда она с усилием стаскивала со своих маленьких израненных ног забрызганные грязью смазные сапоги и валилась на постель одетая. Соне, как члену конспиративной комиссии, поручено было поддерживать связь с арестованными. Для этого она два раза в неделю отправлялась к знакомой молочнице на свидание с жандармом Голоненко. Через Голоненко Соне удалось передать Синегубу письмецо от Ларисы и кусочек графита. Но переписка продолжалась недолго. В начале декабря Синегуба перевели в Петропавловскую крепость, и всякая связь с ним прекратилась.

5 января вечером Соня зашла к Саше Корниловой, чтобы вместе написать Куприянову шифрованное письмо. Он только что перевез за границу литератора Ткачева. В комнате было тепло и тихо. Сонино тело, уставшее и промерзшее за день, согрелось, словно от крепкого вина. Из столовой доносились веселый говор и смех.

Внезапно наступила полная тишина, потом послышались чьи-то незнакомые голоса. Саша выглянула в дверь и сейчас же отбежала.

— Обыск! — сказала она и поспешно схватила зашифрованное письмо. Но было уже поздно: в ту же секунду в комнату вошли жандармы.

Как всегда, обыск тянулся томительно долго. Кроме зашифрованного письма, у Корниловых нашли несколько революционных книг и французский словарь с надписью: «С. Синегуб».

У самой Сони отобрали тетрадку с перечнем революционных песен: «Барка», «Доля», «Свобода», «Дума». Этого оказалось достаточно. Офицер объявил Соне, Саше и Любе, что они арестованы.

Через несколько минут Соня была уже в карете. Рядом с ней сидел, вытянувшись, щеголеватый жандармский офицер. Напротив покачивались двое жандармов. Она с трудом различала их лица. Шторы в карете были опущены. Соня не видела, куда едет, и почему-то не очень этим интересовалась. Оцепенение, охватившее ее еще до прихода жандармов, так и не прошло.

Карета поднялась на какой-то мост, качнулась, как лодка, лошади замедлили бег, потом остановились. Заскрипели на петлях железные ворота. Карета въехала под своды, которые гулко повторили стук копыт и колес.

Лошади опять остановились. Офицер открыл дверцу и предложил Соне следовать за ним. Двое жандармов с обнаженными саблями стали один впереди, другой — сзади. Свет фонарей сверкнул на клинках и касках. Соня сразу узнала двор Третьего отделения. Процессия прошла мимо каретных сараев во второй двор и свернула направо, к трехэтажному зданию с решетками на окнах. Вдоль здания ходил часовой.

По полутемной лестнице они поднялись на третий этаж. Там тоже стоял часовой. Он отпер дверь, или, вернее, решетку из железных прутьев, и впустил пришедших в коридор. По одну сторону коридора находилась глухая стена, по другую — застекленные двери камер. Соню ввели в камеру. Дежурный жандарм взял ее вещи и сделал какие-то записи в книге. Потом все вышли. Замок щелкнул.

Она очутилась одна в довольно большой камере. Мертвенный свет газового рожка освещал желтые, выкрашенные охрой стены. У стены стояла железная кровать, накрытая байковым одеялом. У окна — столик и перед ним табурет.

Мимо двери прошел часовой, отдернул зеленую штору и заглянул в камеру. Соня еще раньше заметила, что верхняя часть двери стеклянная. Но только в эту минуту, встретившись глазами с часовым, поняла, что в этой одиночной камере никогда не будет совсем одна. Быть оторванной от людей и в то же время быть всегда на виду — вот что ей теперь предстояло.

Потянулись томительные дни тюремной жизни. Один отличался от другого только названием и числом. Каждое утро служитель вносил в камеру умывальник, подметал пол, топил печку. Потом приносил два стакана чаю, два куска сахара и пятикопеечную булку. Между чаем и обедом (еду приносили, вероятно, из соседнего трактира) оставался ничем не заполненный промежуток времени. После обеда опять пустой промежуток. И день кончался тем же, чем начинался: двумя стаканами чаю, двумя кусками сахара и пятикопеечной булкой. Никаких прогулок, никаких свиданий.

Соня со дня на день ждала допроса. Ее смущало, что придется предстать перед комиссией в самом неподходящем виде. На ней все еще были смазные сапоги, а подол ее платья совсем истрепался во время путешествия по окраинам.

Однажды Соня увидела в тюрьме жандарма Голоненко — того самого, через которого вела переписку с заключенными. Соня обрадовалась ему, как другу. И не напрасно: в булке, которую он ей передал, оказался клочок бумаги и кусочек графита. Оставшись одна, она немедленно написала записочку Наде Корниловой, младшей сестре Саши и Любы. Попросила прислать ей белье, платье, обувь и, главное, сообщить брату Василию Львовичу, что она арестована.

На другой день Соне принесли все, что она просила, и книги. Она почувствовала себя счастливой. Теперь у нее, наконец, появилось занятие. И, кроме того, сам факт передачи книг значил, что обвинение не очень серьезно.

Дней через шесть Соню вызвали в комиссию на допрос. За зеленым столом сидел жандармский полковник, рядом с ним черненький, желчного вида прокурор и секретарь. Соне предложили сесть напротив.

Начался допрос. Недовольный полученными ответами, прокурор нервно постукивал карандашом по столу. Наконец он вытащил синюю папку и, порывшись, извлек из нее скомканный клочок бумаги.

— Не можете ли вы объяснить нам, что это значит? — спросил он, передавая через стол клочок бумаги, исписанный карандашом.

Соня принялась читать, пропуская неразборчивые слова.

«Меня смертельно мучит провал... Когда мне объявили, что повезут в Торжок, я был в сильном волнении, опасаясь Я-ва... эта ошибка лежит на моей совести... Я-в рассказал все до мельчайших подробностей. Он указал на Ш-ко, Б-ву, Вр-ву, Т-ва и, без сомнения, прочих. Он насолил и мне, и Тигру, и С-гу. Показал он на Об-у... Взяли у меня адресную книжку. От

адреса Н. Ив. Кр-ой не мог отказаться... Моя песенка спета, остается вам решить, хорошо ли. Если откажетесь от меня, то дайте Gift'y^[2]. Страшно тяжело... Занимаюсь математикой, но все-таки невыносимо. Прощайте, дорогие мои... Я отказался от всего. Ради бога, *sauve qui peut*^[3].

— Ничего не понимаю, — сказала Соня, возвращая бумагу.

— Я вам помогу припомнить. Эту записку писал Леонид Попов, студент технологического института. А предназначалась она Корниловой, Александре Ивановне, но, как видите, попала не к ней, а к нам. Может быть, теперь смысл записки стал для вас яснее?

— Нет. Я ничего не могу прибавить.

Пошептавшись с жандармским полковником, прокурор предложил Соне подписать протокол.

Вернувшись в камеру, Соня постаралась разобраться в значении записки. Попов был хороший и способный юноша. Его не приняли в кружок из-за того, что в житейских делах он был настоящий ребенок. Товарищи называли его не иначе, как Ленечка Попов.

Незадолго до Сониного ареста он уехал в Торжок учительствовать в земской школе. Помещика Ярцева Соня тоже знала. Он не раз говорил, что хочет продать свое имение крестьянам и заняться революционной работой,

И вот теперь выяснилось, что этот человек оказался предателем, выдает всех, кого знает. А Ленечка Попов написал такое неконспиративное письмо, да и наговорил, наверно, лишнего, раз сам просит яду.

«Какая это была неосторожность, — думала Соня, — связываться с Ярцевым. Правда, он знает немного». Соня стала припоминать упомянутые в записке фамилии: «Ш-ко — это, конечно, Шишко; Кр-ва — Корнилова; С-г, должно быть, Синегуб; Об-а — Ободовская. Неужели и вправду *sauve qui peut*? Неужели возведенное за несколько лет здание дало трещину и грозит обвалом?»

Потянулись месяц за месяцем. Соня похудела и побледнела. Единственной радостью для нее были записки с воли. Любу освободили, и она регулярно сообщала через Голоненко обо всем, что делается.

Раз ночью Соню разбудил топот многочисленных ног и звон шпор. Надеясь сквозь щелку между шторой и рамой разглядеть, что происходит в коридоре, она вскочила с постели и подошла к двери. Но ничего не увидела, кроме обнаженных шашек и синего сукна мундиров. Кого-то привели, но кого?

Только Соня успела лечь, повторилась та же история. Всю ночь приводили арестованных. Всю ночь Соня не сомкнула глаз.

Через несколько дней она узнала из Любиной записки, что арестованы вернувшийся из-за границы Куприянов, Кувшинская и весь кружок заводских рабочих вместе со студентом Низовкиным. Низовкин всегда казался Соне неискренним и чересчур самолюбивым. Она не удивилась, когда ей сообщили, что он выдает. Потом арестовали Кропоткина и Сердюкова. Чарушина арестовали почти одновременно с Соней. Разгром был полный.

Тюрьма оживилась. По целым дням слышался теперь таинственный стук — это переговаривались заключенные. Соня быстро овладела азбукой перестукивания. Во время дежурства Голоненко ей удавалось обменяться с товарищами записками и даже на одну-две минуты сойтись в коридоре.

Иногда, пользуясь тем, что часовой в другом конце коридора, Соня становилась на табурет, открывала форточку и жадно ловила свежий весенний воздух. Сквозь матовые стекла окна она не могла видеть голубого неба, и если бы не форточка, так и не узнала бы, что снег стаял и на улице уже тепло.

В июне Соню вдруг вызвали на свидание. От теплого летнего воздуха у нее закружилась голова, как у человека, который в первый раз вышел на улицу после тяжелой болезни. Среди булыжников во дворе пробивалась трава. Соне казалось, что еще вчера была зима, лежал снег и вдруг каким-то чудом — трава, тепло, лето.

Ее ввели в большую комнату. Там, отвернувшись к окну, сидел какой-то господин в штатском. Что-то в его фигуре, в его опущенной голове заставило сжаться Сонино сердце. Господин повернулся и встал. Это был Лев Николаевич Перовский, тот самый Лев Николаевич, который уже много лет не разрешал в своем присутствии упоминать имя дочери. Он сделал шаг по направлению к Соне и остановился.

Соня подошла к отцу и взяла его за руку. Его такая знакомая, теплая рука вдруг задрожала. Он наклонился и поцеловал Соню, потом резко отвернулся и всхлипнул. Было в этом подавленном сдержанном рыдании старого человека нечто до такой степени трогательное, что она не выдержала и заплакала.

Несколько секунд ни Соня, ни Лев Николаевич не могли ничего сказать. Сониная голова лежала на плече Льва Николаевича. Слезы неудержимо лились у нее из глаз.

— Граф Шувалов, шеф жандармов, — сказал, успокоившись немного, Лев Николаевич, — мой товарищ по полку. Он обещает отпустить тебя па поруки. Потерпи день-два. Мы с Васей за тобой приедем.

Лев Николаевич знал, какие Соне предъявлены обвинения, но, к Сониной радости и удивлению, не требовал от нее ни объяснений, ни обещаний, ни в чем ее не обвинял и ни о чем не расспрашивал. Он уступил ей свой кабинет. Отец, сын, дочь... Казалось бы, чем не семья! Но семьи не получилось. Отец жил своей жизнью, дети — своей. Виделись они редко и почти всегда мельком. Лев Николаевич проводил вечера на островах, в ресторанах и разных увеселительных заведениях. Возвращался домой поздно ночью или ранним утром, незадолго до того, как у Сони и Василия Львовича начинался день. Зато потом спал до часу, а то и до двух.

В то время, что Соня сидела в тюрьме, Василия Львовича и его товарища Эндоурова приняли в кружок. Брат с сестрой и раньше были близки, а теперь после этого стали еще ближе. Каких только книг они не прочли вдвоем, о чем только не переговорили, сидя, поджав ноги, на турецком диване! Они говорили и о делах кружка и о своих личных делах. Вернее, о личных делах говорил Василий Львович, а Соня его только слушала. Для нее понятия «личное» и «общественное» совпадали.

Однажды во время особенно откровенного разговора Василий Львович признался Соне, что решил жениться на курсистке Владыкиной. Соне Александра Ивановна нравилась, и она одобрила его выбор.

— Ваш брак, — сказала она, — может быть даже полезен, когда вы поселитесь в деревне. — И, помолчав немного, возразила сама себе: — А все-таки для дела революции это будет изрядным тормозом.

Дело революции. Что можно было, что нужно было для него предпринять сейчас? Вот вопрос, который Соня задавала и себе и брату непрестанно, с той самой минуты, как вышла из тюрьмы.

Хоть Лев Николаевич не ставил Соне никаких условий, она, живя у него в доме, все-таки чувствовала себя стесненной и товарищей к себе не приглашала, Брат устраивал ей свидания с ними на безопасных квартирах. Возвращалась она с этих свиданий все более грустная и молчаливая. Вести из тюрем приходили тяжелые, и на свободе тоже было невесело. Аресты продолжались, людей становилось все меньше.

Убедившись в том, что работать в такой напряженной обстановке, да еще находясь на поруках, ей не удастся, Соня решила поехать вместе с братом в Приморское. Лев Николаевич выхлопотал для нее разрешение жить в Крыму. Хоть он не признавался в этом, может быть, и самому себе, присутствие в доме взрослой дочери его несколько тяготило.

Соня и Василий Львович хотели по дороге повидаться с московскими чайковцами, но жандармы свирепствовали в Москве не меньше, чем в Петербурге, и, разыскивая друзей, брат с сестрой чуть сами не попали в

засаду. Вот в Одессе, перед тем как сесть на пароход, идущий на Севастополь, им удалось встретиться с Феликсом Волховским.

Феликс Волховской вступил в петербургский кружок чайковцев сразу, как только его выпустили из тюрьмы, где он два года ни за что ни про что просидел по нечаевскому делу. Теперь он перебрался в Одессу и основал там отделение кружка. И ему и особенно его жене Марии Осиповне, которая в тюрьме заболела ревматизмом, был вреден петербургский климат.

Путешествие по морю Соне запомнилось надолго. Ночь была прекрасная, спать совсем не хотелось. Брат с сестрой почти до утра пробродили по палубе, изредка обмениваясь отдельными фразами.

Соня не раз говорила, что чувствует природу всем существом. А тут просторы неба и моря после четырех стен тюрьмы ее буквально опьянили. Никогда еще не дышалось ей так хорошо и вольно. Она чувствовала бы себя в эту ночь совсем счастливой, если бы не мысль о товарищах. Ведь им по-прежнему приходилось довольствоваться крошечным клочком неба, которое удавалось разглядеть сквозь тюремную форточку.

Ночь прошла быстро, а вот утро показалось Соне нескончаемым: издали ей казалось, что стоит только добраться до Севастополя, а там до Приморского два шага. Приморское и правда было недалеко от Севастополя, но, чтобы попасть в него, надо было сначала переправиться на другую сторону бухты, а потом еще тащиться в гору на наемных дрогах.

Увидев, наконец, на середине горы одиноко стоящий домик, Соня по-настоящему поняла, как сильно ей недоставало матери. Она боялась, что мать из-за всего пережитого постарела, изменилась, но Варвара Степановна так радостно встретила их, что показалась Соне, правда только в первые минуты, не постаревшей, а скорее даже помолодевшей.

«Весело было свидание, — вспоминал потом много лет спустя Василий Львович, — в особенности весела и оживленна была Соня, увидевшая мать после долгой разлуки».

Началась мирная жизнь, такая, от какой Соня давно уже успела отвыкнуть. Она вместе с поденщицами собирала виноград, запоем читала книги, с наслаждением каталась верхом, но больше всего времени проводила на берегу.

Соня радовалась и не могла нарадоваться тому, что живет с морем одной жизнью, чувствует себя в нем буквально «как рыба в воде». Она и раньше хорошо плавала, а теперь стала заплывать так далеко, что никто не решался за ней следовать.

Варвара Степановна счастлива была, что ее дочь живет, наконец, как

полагается в молодые годы, не только живет, но и радуется жизни. Она приготавливала для Сони самые любимые ее блюда, заботилась о ней, как о маленьком ребенке. Не в Петербурге у отца, а в Приморском у матери — в Приморском, где она до тех пор никогда не бывала, — Соня почувствовала себя, наконец, по-настоящему дома.

Недолго длилось счастье Варвары Степановны. Стоило только Соне восстановить силы, как ее стала мучить мысль, что она даром растрчивает время. Радость, которую она не могла разделить с друзьями, очень быстро перестала для нее быть радостью. Но не успела она ничего предпринять, не успела даже решить, что делать дальше, как эта беспечная жизнь прервалась сама собой. И здесь, в Крыму, не обошлось без нашествия жандармов. Правда, сейчас они пришли не из-за самой Сони.

Началось все не как обычно — не с обыска, а с ареста. Василия Львовича задержали, когда они вдвоем с Соней возвращались из Севастополя. На Сонину долю досталось подготовить дом к обыску и, что оказалось гораздо труднее, Варвару Степановну и, главное, Александру Ивановну к его аресту. Успокаивая невестку, Соня уже не впервые подумала: «Семья, брак не для таких, как мы».

Когда выяснилось, что Василия Львовича повезли в Москву, Соня с матерью и Александрой Ивановной поехала вслед за ним. Там она повидалась с Наташей Армфельд и другими членами кружка. А вот в Петербурге, куда Соня отправилась одна, она, к своему разочарованию, почти никого не застала. Там оставались только спрятанные «за семью замками». Получить с кем-либо из них свидание, пока шло следствие, было невозможно.

Прощаясь с Варварой Степановной в Москве на вокзале, Соня обещала ей через короткое время вернуться в Приморское, но обстоятельства сложились иначе.

Пока суд да дело

Эпидемия арестов, начавшаяся в Петербурге за Невской заставой, скоро охватила всю Россию. Высочайшим повелением следствие по делу о противозаконном сообществе было поручено начальнику Московского жандармского управления генерал-лейтенанту Слезкину под наблюдением прокурора Саратовской судебной палаты действительного статского советника Жихарева.

Слезкин и Жихарев взялись за работу ретиво. Во все стороны полетели депеши: там-то произвести обыск, такого-то препроводить, такого-то арестовать. Депеши полетели, а о том, чтобы вслед за депешами, как полагалось по закону, посылались мотивированные постановления об арестах, никто не позаботился. Получилась полная неразбериха: во многих губерниях под стражей не числилось ни одного человека, в то время как не только тюрьмы, но и полицейские управления были переполнены заключенными.

Помощник Слезкина полковник Новицкий выбивался из сил, составляя задним числом тысячи «мотивированных постановлений», чтобы хотя бы сейчас, перед сдачей министерству юстиции, придать делу сколько-нибудь законный вид. Во всех концах России, во всех жандармских управлениях работа велась с утра до ночи. Шли допросы, составлялись протоколы. Вещественные доказательства прибыли в Петербург в двух вагонах. Число томов дознаний превысило тридцать, а следственный материал все еще продолжал расти.

Ежедневно в девять часов утра полковник Новицкий вручал шефу жандармов Потапову объемистую папку с докладными записками. Ежедневно в одиннадцать часов утра шеф жандармов отправлялся в Зимний дворец с докладом. К тем же одиннадцати часам Александр II уже заканчивал работу, которую брал на себя лично. Первый дворянин России не считал постыдным читать чужие письма.

«Государь император, — по свидетельству полковника Новицкого, — очень интересовался перлюстрацией писем, которые каждодневно препровождались министром внутренних дел Тимашевым в особом портфеле, на секретный замок запираемом...некоторые тотчас же сжигал в камине, на других собственноручно излагал заметки и резолюции и вручал их шефу для соответствующих сведений и распоряжений по ним секретного свойства».

Все шло буквально по часам, а следствие между тем двигалось черепашьими шагами, и подсудимые все сидели и сидели в тюрьмах. Одиноким камеры, бездеятельность, отсутствие свежего воздуха и движения привели к печальным результатам. Почти все заболели: кто цингой, кто чахоткой; многие сошли с ума, многие поумирали.

Когда в ходе дознаний выяснилось, что не хватает улики для предания суду большинства заключенных, жандармское управление на всякий случай отправило этих подозрительных, но ни в чем не уличенных людей в административную ссылку.

После того как следствие, наконец, закончилось, Новицкий занес в свой дневник следующие глубокомысленные строки:

«Труд, возложенный на меня, поистине был гигантский, но я превозмог его благодаря физическому сложению, молодости и настойчивости... Насколько было обширно это делопроизводство, доказывается тем, что мне пришлось скрепить 148 тысяч листов перед сдачей, передать министерству юстиции 240 лиц, содержащихся под стражей, из 4 тысяч человек и даже более».

Следствие было закончено весной 1875 года, а обвинительный акт вручен подсудимым еще через два года — осенью 1877 года.

Ночь. Больничная палата. Соня при свете ночника переходит от койки к койке, от больного к больному. Одному кладет на голову холодный компресс, другому дает лекарство или просто глоток воды, третьему говорит несколько успокоительных слов. Соня уже не в Петербурге и не в Приморском, а в дальней от Петербурга и Приморского Симбирской губернии. Она устроилась здесь у знакомого врача в качестве докторской ученицы. Борьба с людскими страданиями ей всегда было по душе, и где-где, а в больнице страданий хватало. Стоны, вздохи, бред доносились со всех сторон.

Работала Соня, не щадя себя, старательно выполняла все предписания доктора, пыталась сама разобраться в трудных медицинских книгах. Ей не хватало знаний, не хватало опыта. У нее за душой не было ничего, кроме страстного желания помочь. И все-таки сознание, что она делает все, что может, помогало ей быть бодрой и даже веселой.

Как-то проездом заехала к Соне Кутузова, муж которой Кафиери — друг Бакунина — пожертвовал свое состояние на итальянскую революцию. Так как час был поздний, Соня накормила свою гостью и уложила спать, а самые интересные разговоры отложила на следующее утро.

Соню радовало, что она живет самостоятельно и может быть

гостеприимной, никого ни о чем не прося. Ей казалось, что она устроилась очень хорошо. Но на Кутузову условия Сониной жизни произвели невеселое впечатление, хотя и она была не избалованной барыней, а такой же, как сама Соня, докторской ученицей.

Вспоминая потом через много лет этот вечер и рассказав, что Соня была весела, оживленна и довольна своей деятельностью, Кутузова тут же добавила: «Помещалась она в крохотной каморке, чем питалась — не знаю, знаю только, что она спала на голых досках, и когда она предложила мне прилечь с ней на этом жестком ложе, то я не смогла заснуть, и на другой день, чем свет, тихонько встала, и, не разбудив ее, наняла возницу, и отправилась дальше».

Легко себе представить, как разочарована была Соня, истосковавшаяся по людям, с которыми могла говорить откровенно, когда, проснувшись утром, убедилась, что ее гостя исчезла.

Узнав из письма, что в Петербург ждут Марка Натансона, Соня очень обрадовалась. Она верила, что с его возвращением революционная работа оживет и примет, наконец, планомерный характер. И в то же время ей стало особенно больно, что чайковцы, о которых он писал Оболенской: «всеми силами старайся, чтобы друзья не разбрелись», разбрелись — правда, не по своей воле — по российским тюрьмам.

Вести от товарищей Соня получала редко. Плохих среди них было, конечно, гораздо больше, чем хороших. С большим огорчением узнала она об аресте Волховского и о том, что его попытка бежать окончилась неудачей. Зато сообщения о побеге Кропоткина и письмо от брата, написанное уже на свободе, доставили ей много радости.

Соня Даже не позволяла себе мечтать о поездке в Приморское. Она твердо решила воспользоваться оставшимся до суда временем, чтобы получше изучить свою новую специальность.

И вдруг все ее планы перевернулись. Из газет она узнала, что с осени в Симферополе при земской больнице откроются женские фельдшерские курсы. Набираться знаний и в то же время жить недалеко от своих — лучшего, казалось Соне, нельзя придумать.

Она сразу же собралась в путь. Ей хотелось воспользоваться остатком лета, чтобы хоть немного пожить с матерью.

В Приморском она застала полный дом людей, и притом самых «нелегальных». Среди прочих там были Эндоуров, который только что сбежал от жандармов на вокзале, и Мария Осиповна Волховская, участвовавшая в неудачном побеге мужа.

Соня гордилась тем, что ее мать — человек другого времени, другого

воспитания, — ничего и никого не боясь, по мере сил участвовала в том, чему сама она давно уже отдала свою жизнь. Устраивать у себя в доме убежище для неблагонадежных, скрывать людей, которых по всей стране разыскивала полиция, было само по себе немалым преступлением.

Соня сначала отделила себе угол в амбаре, но уже через несколько дней перебралась в комнату Волховской, здоровье которой за последние месяцы резко ухудшилось. Она была настолько больна физически и потрясена нравственно, что Соня сочла своим долгом взять на себя обязанности сиделки. Опять и опять в долгие бессонные ночи Мария Осиповна рассказывала Соне обо всем пережитом.

— Подумайте, — говорила она, — ведь Феликс уже раньше провел в одиночке два года. Он болен, он не выдержит каторги. И, главное, я, одна я во всем виновата. Лопатин просил меня уступить ему место в санях. Если бы я согласилась, Феликс был бы спасен.

Он уже перепрыгнул в наши сани, но лошадь дернула, я не смогла его удержать своими больными руками, и он упал. Если бы вы только видели, с каким остервенением жандармы бросились его избивать! Что-то с ним будет теперь! Боюсь, что нам больше не придется увидеться.

Марии Осиповне с каждым днем становилось хуже. Может быть, ей вредило то, что дом стоял на юру и его со всех сторон обдувал влажный морской ветер. Фроленко по Сониной просьбе приехал в Приморское, чтобы переправить больную вместе с дочкой и Одессу, а если удастся, то и в Италию.

— На юге, — сказал он, — вам и для здоровья будет лучше и спокойнее. Соня как-никак находится под следствием, и за Василием Львовичем тоже смотрят в оба. То, что Варвара Степановна жена статского советника, почти не имеет значения: все знают, что муж с ней не живет.

Вскоре после отъезда Волховской Соня перебралась в Симферополь. Она поступила на курсы, поселилась в общежитии и с жаром взялась за занятия. Часы, свободные от дежурств и лекций, она проводила в Публичной библиотеке. Там она не только старалась пополнить свои знания, но и встречалась с людьми, близкими ей по убеждениям. Принадлежала библиотека молодому человеку Бергу. Он охотно вел знакомство с так называемыми «неблагонадежными» и устроил у себя в библиотеке, конечно, под вымышленной фамилией приятеля Василия Львовича — Эндоурова.

Соне все казалось, что вот-вот будет суд и ее призовут к ответу. Она торопилась учиться, торопилась взять от курсов все, что они только могли дать. Она сдавала экзамены и работала в больнице лучше других. Врачи

охотно предоставляли ей практику.

Больные радовались, когда приходила Сониная очередь дежурить. Они уверяли, что никто не умеет так безболезненно перевязывать и так ловко перекладывать с боку на бок, как Соня. Никто не может лучше ее успокоить, ободрить, развлечь. Особенно привязалась к ней одна старушка, больная раком. Она уверяла, что боли у нее утихают от одной только Сониной улыбки.

Лекции, зачеты, дежурства шли своим чередом, и не успела Соня оглянуться, как наступил апрель, а с ним вместе время последних экзаменов. На выпускном вечере в присутствии самого императора, который весну проводил в Крыму, ей была вручена торжественного вида бумага с казенной печатью, гербовыми марками и надлежащим «подписом».

«По указу его императорского величества, — значилось в ней, — настоящее свидетельство выдано из врачебного отделения Таврического губернского правления... дочери действительного статского советника Софии Перовской в том, что по выдержании ею установленного испытания по практическому и теоретическому экзамену оказала успехи в науках весьма хорошие; вследствие чего по сношению г-на таврического губернатора с медицинским департаментом внутренних дел утверждена, как видно из отзыва департамента от 27 апреля 1877 года за № 2947, в звании фельдшерицы».

За две недели до этого началась война с Турцией, и Соню сразу же, как только она кончила курсы, назначили заведовать двумя бараками для раненых. Но не успели привезти в Симферополь первую партию раненых, как ей вручили в полиции повестку с требованием немедленно явиться в суд. Прощаясь с Соней, Варвара Степановна горько плакала. Соня успокаивала ее как умела, уверяла, что строгого приговора не может быть, так как против нее нет почти никаких улик.

В Петербурге Соню встретила Маша и устроила ее в номерах Фредерикса. Соня обрадовалась встрече с сестрой, ведь они очень давно не видались, но еще раз с грустью убедилась, что они хоть и сестры, но в чем-то самом главном совсем разные. Маша была образованная женщина, но ее интересы не шли дальше интересов семьи. А то, что занимало и волновало Соню, Машу даже пугало.

Вот Люба Корнилова, ставшая теперь женой Сердюкова, и Лариса Синегуб показались Соне по-настоящему близкими. От них она узнала обо всем, что произошло без нее: о возвращении и новом аресте Марка Натансона, о первой рабочей демонстрации, о процессе пятидесяти.

Процесс этот произвел в обществе большое впечатление, но совсем не то, на которое рассчитывало правительство. Люба рассказала Соне, что люди, не сочувствовавшие убеждениям подсудимых, говорили:

— Какие же это преступники? Их скорее можно назвать святыми.

Петр Алексеев в своей речи говорил о 17-часовом рабочем дне, о пинках, зуботычинах, прикладах ружей, ссылках в Сибирь. Доказывал, что «19 февраля было одной только мечтой и сном», что крепостные и после этого дня остались крепостными. Отзывался о правительственной власти как о «временно захваченной силой». Заклиная рабочих не ждать помощи ни от кого, кроме интеллигентной молодежи, призывал их надеяться на самих себя. Этот человек был Сониным учеником, но говорил не как ученик, а как учитель.

От Любы Соня узнала и о том, что делалось в заключении. Связь между «волей» и Домом предварительного заключения» куда перед судом перевели всех подсудимых, была хорошо налажена. Лариса умудрялась обмениваться с мужем микроскопическими, написанными на папиросной бумаге записками во время свидания при прощальном поцелуе. Чтобы записки не размокали, их заворачивали в свинцовую бумагу.

Синегуб сообщал на волю о том, что делалось и в мужском и в женском отделениях: оба отделения оказались связанными между собой благодаря Чарушину и Кувшинской, которым, как жениху и невесте, давались ежедневные свидания. До поры до времени тайная почта между тюрьмой и городом работала исправно. Столь же исправно работала и тайная касса. По всему Петербургу шли концерты и спектакли — сборы с них поступали в пользу подсудимых, Люба, Лариса и Соня, которая сразу же по приезде включилась в их работу, превращали поступающие со всех сторон деньги в обеды, одежду и книги для заключенных. Теперь, после окончания следствия, книги было разрешено передавать всем без исключения через специальный стол в окружном суде. Передачи бывали тяжелые, и носить их приходилось далеко. Соня не раз по дороге садилась отдыхать на тумбы. Тяжелее всего было таскать книги, но она делала это с особой радостью, потому что очень хорошо представляла себе, как сильно истосковались заключенные по чтению.

Поздно вечером, уже лежа в кроватях (Лариса переселилась в Сонину комнату), подруги продолжали делиться впечатлениями сегодняшнего дня и планами на завтрашний. Их жизнь была насыщена настоящим, и у них не хватало времени для воспоминаний прошлого. Но это прошлое нахлынуло на них, заставило о себе вспомнить, когда Синегуб передал Ларисе из тюрьмы стихи:

Я помню дом за Невскою заставой.
Там жили бедность, дружба и любовь.
Нужда друзьям казалась забавой,
И часто кровь их грела вместо дров...

Соня прочла эти строки, и ей сразу представилась большая комната с длинным столом посередине, на столе самовар, а за столом вперемежку с рабочими Сонины друзья-чайковцы. Уроки кончились, и они все и она сама среди них ведут за бесконечным чаепитием разговоры на темы, которые в обвинительном акте названы «зловредными». Эти разговоры до полуночи, эти жаркие споры, как много они дали самим учителям!

Давно ли Соне и Ларисе пришлось покинуть домик за Невскою заставой, но им обоим прожитые там месяцы казались уже безвозвратно ушедшим «добрым старым временем». Почти все собиравшиеся в домике: и учителя и ученики — были крепко-накрепко заперты в тюрьмах.

Но Соня старалась думать не о прошлом, а о будущем. Было ясно, что Лариса поедет туда, куда пошлют Синегуба, Кувшинская — за Чарушиным (она, сидя в тюрьме, добилась разрешений с ним повенчаться), Люба — за Сердюковым. Было ясно и то, что чуть ли не все фиктивные жены отправятся вслед за своими фиктивными мужьями. Брак помог этим девушкам избавиться от домашнего гнета. Теперь они считали своим нравственным долгом, насколько возможно, облегчить жизнь товарищей мужчин. Семейных по закону не сажали в Централку, а отправляли в Сибирь, где режим был несравненно легче.

Соня вскоре после своего возвращения в Петербург назвалась невестой Тихомирова и стала к нему ходить на свидания. Сначала она сделала это для того, чтобы иметь возможность с ним видеться и узнавать у него о том, что делается в тюрьме, но потом оба они пришли к решению действительно обвенчаться после приговора. Тихомирову это облегчило бы жизнь, а Соне дало бы возможность поехать в Сибирь на самом законном основании. Живя там, она могла бы все свои силы тратить на устройство побегов.

О каких-либо чувствах между нею и Тихомировым никогда не возникало речи.

Соня была из новых русских женщин, не менее достойных, чем те, которых воспел Некрасов. Она тоже готова была добровольно отказаться от всех радостей жизни и идти в Сибирь, но не ради того только, чтобы разделить участь любимого мужа или облегчить судьбу товарища по

борьбе, а для того, чтобы и там, в Сибири, продолжать начатое дело — дело революции.

Когда Соня в очередной день, в назначенный час подошла к Дому предварительного заключения, такие же посетители, как она сама, еще на пороге предупредили ее, что все свидания, даже свидания защитников с подзащитными, отменены впредь до особого распоряжения. Не успела Соня ничего сообразить, как до ее слуха донесся лязг железа, грохот, и мимо нее, чуть не сбив ее с ног, пробежали два жандармских офицера.

В том, что в этом доме, который видел много видов, творилось на этот раз что-то небывало страшное, у Сони не оставалось сомнений. Но что именно?

Конечно, посетителям, попавшим сюда так не вовремя, на этот вопрос не ответили бы ничего вразумительного, но и спрашивать было некого. Начальство исчезло. Из многолюдной стражи не осталось ни одного человека.

Соня постояла немного в раздумье и сама не своя пошла домой. Как сказать об этом Ларисе и Любе? Ведь у них у обеих в Доме предварительного заключения мужа, а у Любы еще и сестра. И как узнать, что случилось? Без свиданий и переписка прервется.

Но о том, что случилось в Доме предварительного заключения, стало известно очень скоро. В тот же день со всех сторон поползли слухи, один страшнее другого. И чем больше проходило дней, тем эта слухи становились разнообразнее. В конце концов даже такая газета, как «Новое время», сочла необходимым сама сообщить своим читателям о том, что она назвала «происшествием в Доме предварительного заключения».

Газета рассказала, что «один из представителей администрации в Петербурге при посещении тюрьмы остался недоволен порядками, введенными в тюрьме лицами прокурорского надзора», и, когда арестант Боголюбов при вторичной встрече с посетителем не снял вторично фуражку, «представитель администрации размахом руки сшиб фуражку с головы Боголюбова, а в наказание за оказанное ему неуважение приказал тюремному начальству подвергнуть Боголюбова телесному наказанию для примера другим содержащимся. На следующий день распоряжение это было исполнено и Боголюбов наказан розгами в коридоре тюрьмы в присутствии всех арестованных того отделения, в котором содержался».

Когда Соня прочла газету, кровь ударила ей в голову. Представитель администрации остался недоволен действиями прокуратуры, а выместил свое недовольство, свою бешеную злобу на бесправном, беспомощном

арестанте. Соню возмутило не только само событие, но и тон, каким оно было описано. О самом событии к этому дню ей было известно больше того, что газета решилась поместить на своих страницах.

Она знала, что под словами «представитель администрации» подразумевался сам градоначальник Петербурга генерал Трепов и что под именем Боголюбова был осужден за участие в казанской демонстрации пропагандист Емельянов. Она знала и то, что на самом деле Емельянов не имел к демонстрации никакого отношения и пятнадцать лет каторги получил по ошибке.

Емельянов славился среди товарищей как человек талантливый, верный и до того добрый, что над ним за его доброту даже посмеивались. В последний раз Соня виделась с ним совсем недавно; он был шафером на свадьбе Василия Львовича. Она жалела его от души, но хорошо понимала: то, что случилось с ним, касалось не его одного, а было только первым актом трагедии, начавшейся 13 июля 1877 года в Доме предварительного заключения.

Из мимолетных впечатлений, из рассказов очевидцев перед Сониными глазами возникла картина того, что произошло, картина такая страшная, что она никогда уже больше не могла ее забыть.

Защитник арестанта Кальяна — Таганцев попал во двор Дома предварительного заключения за несколько минут до того, как появилось объявление об отмене свиданий. Его, так же как и Соню, оглушил «невероятный гвалт», «адский гомон». Он, так же как и Соня, не встретил никого ни внутри, ни снаружи, но увидел то, что она с улицы увидеть не могла: дыры в стенах на месте окон камер. И в этих дырах искаженные до неузнаваемости лица людей.

При помощи единственного найденного им надзирателя, который с перепугу пил залпом прямо из пузырька валерьяновые капли, Таганцев каким-то образом добился свидания со своим подзащитным. От него-то он и узнал подробно обо всем, что случилось. Оказалось, что генерал-лейтенант Трепов пожаловал в Дом предварительного заключения вследствие жалобы майора Курнеева на прокуратуру, якобы совершенно распустившую там дисциплину. Трепов пришел с тем, чтобы к кому-нибудь придраться. Удобнее всего ему показалось придраться к Боголюбову. Сорвав с него фуражку, он отдал приказ «увести и выпороть» так громогласно, что его слышали и в камерах. Поднялся невероятный шум. За окнами кричали:

— Палач! Мерзавец! Уходи вон!

Трепов поторопился уйти, а исполняющие его приказание сами уже позаботились о том, чтобы заключенные не только услышали о наказании, но и увидели его воочию. Надзиратели связали розги пучками во дворе женского отделения, на глазах у многочисленных его обитательниц. Начальство хотело высечь одного в поучение другим. Думало напугать всех, но просчиталось: испугаться пришлось ему самому.

Чем могли выразить свое негодование, свое отчаяние люди, запертые в клетках, как не тем, чтобы постараться эти клетки уничтожить? С неизвестно откуда взявшейся силой они ломали все, что только можно было сломать. Били чем попало обо что попало. Умудрялись срывать с окон железные рамы и колотили этими рамами о железные двери.

Уже после ухода Таганцева по приказу Курнеева и Трепова в Дом предварительного заключения был введен военный караул и отряд полицейских. Когда узники, которых какое-то время поддерживало сверхъестественное напряжение сил, падали в изнеможении, к ним в камеру врывалась свора полицейских и принималась их избивать и топтать ногами в присутствии надзирателей и помощников управляющего.

Об избиении заключенных, о том, как их, связанных по рукам и ногам, тащили в карцер, помещенный рядом с топкой (в образцовом доме все было предусмотрено!), тащили, не обращая внимания на то, что головы их стучаются о железный пол, об острые ступени лестниц; о самом карцере без окна, без малейшей вентиляции рассказал кому-то из Сониных друзей тюремный врач Герценштейн.

Герценштейн, поступивший на работу в Дом предварительного заключения совсем недавно, не отвык еще лечить людей и не мог равнодушно видеть, как их калечат. Он потерял место и попал в разряд «неблагонадежных» из-за того, что посоветовал пострадавшим жаловаться в прокуратуру и обещал им выдать медицинские свидетельства о побоях.

Каждый день приносил новые подробности. Соня слушала их с жадностью: ведь людей, запертых в этом страшном доме, она давно уже считала своими братьями. И самое сильное, самое страшное впечатление произвело на нее письмо, написанное Екатериной Волховской, матерью Феликса Волховского, г-же Гернгросс, члену дамского тюремного комитета. Г-жа Гернгросс, находившаяся в дружеских отношениях с семейством Корниловых, дала прочитать это письмо Любе, а та показала его Соне.

Волховская объяснила свою решимость обратиться к незнакомому ей человеку «смелостью переполняющего душу отчаяния». И это переполняющее душу отчаяние чувствовалось в каждой строке письма,

Она рассказала об ужасном физическом и нравственном состоянии сына, о том, как его, больного, оглохшего, совершенно измученного бесконечным одиночеством заключения, «били по голове, по лицу, били так, как только может бить здоровый, но бессмысленный, дикий человек в угоду и по приказу своего начальника человека, отданного их произволу, беззащитного и больного узника... Все эти побои производились городовыми в присутствии полицейского офицера, состоящего помощником начальника тюрьмы... и они продолжали свое жестокое, бесчеловечное дело до тех пор, пока его не заперли в карцер. Каково его нравственное состояние, я не берусь да и не сумею описать вам. Состояние же моей истерзанной души Вы, как мать, как женщина с сердцем, Вы поймете легко и простите, что я обращаюсь к Вам. Прошу Вас, умоляю Вас всем, что для Вас свято и дорого, научите меня, куда и к кому мне прибегнуть, у кого искать защиты от такого насилия, насилия страшного, потому что оно совершается людьми, стоящими высоко... Я пойду всюду, куда Вы бы мне ни указали! Прежде я да и все мы надеялись, что дети наши окружены людьми, что начальство — люди развитые и образованные, но вот те, которые поставлены выше других, выше многих, не постыдились поднять руку на безоружных, связанных по рукам и ногам людей, не задумались втоптать в грязь человеческое достоинство. Где же гарантия? Нам говорят, что осужденный не есть человек, он ничто; но мне кажется, что для человека и осужденный все же остается человеком, хотя он и лишен гражданских прав. А мы удивляемся туркам. Чем же мы счастливее тех, несчастных, на помощь которым так охотно идет наш народ, идем мы все и во главе народа вся царская семья. И в то же время наших детей в отечественных тюрьмах замучивают пытками, забивают посредством наемных людей, сажают в нетопленные карцеры без окон, без воздуха и дают глотками воду, да и то изредка...».

Письмо это г-жа Гернгросс переслала вице-директору окружного суда Кони. Она верила: он не такой человек, чтобы положить письмо под сукно. И не ошиблась. Кони сразу же послал запрос товарищу прокурора, заведовавшему арестантскими помещениями. Тот ответил: «Письмо г-жи Волховской содержит, к нашему величайшему стыду, сущую правду».

В рапорте, представленном прокуратурой министру юстиции о бесчинствах, творимых в Доме заключения администрацией дома, говорилось об истязании всех подсудимых без разбору; о ранах; о крови; о битье до потери сознания; о мешках, которые набрасывались на голову, чтобы не было слышно криков; о карцерах, долговременное содержание в которых «становится не наказанием, а истязанием». Температура в них

около тридцати пяти градусов, а смрад и сырость так велики, что товарищу прокурора за пять минут, которые он там провел, два раза становилось дурно.

В Петербурге несколько дней поговорили о беспорядках, о безобразиях, о беззаконии, о том, что дольше так продолжаться не может, и затем заговорили о другом. В самом Доме предварительного заключения с виду все тоже поуспокоилось. Соню, когда она после возобновления свиданий пришла навестить Тихомирова, провели прямо к нему в камеру. Необыкновенная любезность администрации объяснялась тем, что было начато следствие по треповскому делу.

Соня провела в камере три часа, и все три часа Тихомиров рассказывал ей о том, что пришлось ему и его товарищам по заключению пережить в те страшные дни. Рассказал он и о записке, присланной ему Муравским для прочтения и передачи кому только можно. В записке говорилось, что пора бросить бить «предметы неодушевленные» и приняться за «предметы одушевленные». Речь шла о Трепове и Курнееве.

Под впечатлением рассказов Тихомирова Соня вся целиком была охвачена чувством сострадания. Ей казалось, что она никогда не будет в состоянии ни говорить, ни думать о чем-нибудь другом. Но уже во время следующего свидания события, еще вчера волновавшие ее, вдруг отодвинулись, отошли на задний план. Объяснялось это тем, что подсудимым вручили, наконец, обвинительный акт, и ей нужно было воспользоваться встречей с Тихомировым, чтобы посоветоваться, с ним, а через него и с другими товарищами, каких вызвать свидетелей и как вести себя на процессе.

Узнав, что у Чарушина нет никого в Петербурге, Соня назвалась его родственницей и сумела получить с ним свидание. Свидание произошло в тюремном коридоре мужского отделения Дома предварительного заключения. Так как ни стульев, ни скамеек там не полагалось, Чарушину и его гостю пришлось разговаривать, сидя на полу. Необыкновенная бледность Чарушина, от которой его огненные волосы показались еще краснее, чем обычно, привела Соню в ужас. Чарушин же нашел, что Соня совсем не изменилась.

— Ты, — сказал он, — осталась такая же милая и бодрая, как была всегда. По твоему виду не скажешь, как трудно тебе дались эти годы.

Соня рассказала ему в немногих словах о том, что делается на воле. Чарушин поделился с ней своими тюремными переживаниями.

— Я счастлив, что повидался с тобой, но меня уже тянет обратно в

камеру, — признался он под конец свидания. — Я одичал в одиночке, отвык от человеческой речи, даже слова нахожу не сразу. Живется нам сейчас свободно, но я устаю от всего, даже от перестукивания.

Свобода, которой теперь пользовались заключенные, просто поражала Соню. Стольких в свое время из-за попытки перестукиваться заключали в карцеры, лишали передач, прогулок, свиданий, а теперь перестукивание получило права гражданства.

Во многих камерах рамы были выставлены и оставались только железные решетки. Жильцы этих камер, влезая на умывальники, могли просто-напросто переговариваться друг с другом. От окна к окну по наружной стене тянулись «кони» — веревки, к которым привязывали записки, провизию и даже книги.

Прокуратура считала, что после того, как обвинительный акт вручен подсудимым, общение их между собой ничем повредить не может. А начальству Дома предварительного заключения приходилось смотреть на эти вольности сквозь пальцы. Люди сидели чересчур долго, и их было чересчур много, что бы можно было держать их в прежней строгости, на прибегая к «особым мерам», а после боголюбовской истории к «особым мерам» оно обращаться не решалось.

Главной темой и переписки, и перестукивания, и разговоров был, конечно, предстоящий процесс. Обвинительный акт был полон клеветы. Подсудимые обвинялись в нем не только в подготовке к ниспровержению существующего строя, но и во всех существующих смертных грехах.

Люди, молчавшие несколько лет, с нетерпением ждали той минуты, когда смогут громогласно, обращаясь ко всему обществу, сказать о себе правду. Но смогут ли? Чем ближе день суда, тем больше ходит слухов о том, что правительство не допустит гласности.

«Разве дадут они сказать, — думает Соня, — то, что может им повредить? Разве рискнут устроить гласный суд после речи Петра Алексеева и Бардиной?»

ВЕСЫ ПРАВОСУДИЯ



Подыметесь мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах.

Из речи Петра Алексева во время процесса пятидесяти

Преследуйте нас, за вами пока материальная сила, господства, но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, увы, на штыки не улавливаются!..

Из речи Бардиной во время процесса пятидесяти

«Встаньте! Суд идет!»

Когда Соня вошла в залу заседаний окружного суда, жандармы, стоявшие у дверей, указали ей место Сбоку, в партере. Зала заседаний напоминала театральную. С потолка свешивалась огромная хрустальная люстра. Впереди, как на сцене, стоял за низкой балюстрадой длинный стол, покрытый алым сукном. Позади стола Соня насчитала девять кресел, крытых алым бархатом. По сторонам стояли какие-то конторки. Справа от судейского стола находилось возвышение с двумя скамьями, огороженное решеткой.

Но вот засуетились судебные пристава с цепями на груди, и в распахнувшихся дверях показались каски и обнаженные клинки жандармов. Впереди шел сверкавший серебром офицер. За ним по трое в ряд двигались жандармы и подсудимые. Рогачев, Синегуб, Чарушин, Куприянов, Кувшинская... Они еле волокли ноги, хотя изо всех сил старались держаться бодро. Лица у них были изжелта-серые, изможденные, постаревшие.

Годы, проведенные в тюрьмах, никому не дали даром.

Перед тем как привести их в залу — Дом предварительного заключения соединялся с окружным судом подземным ходом, — офицер во всеуслышание прочел инструкцию, в которой говорилось, что при попытках к побегу конвой будет прибегать к огнестрельному оружию.

Главных обвиняемых — Мышкина, Рогачева, Войнаральского и Ковалика посадили на возвышение, огороженное решеткой. Подсудимые прозвали его голгофой. Подсудимые и адвокаты заполнили все места, в том числе и те, которые обыкновенно предназначались публике. В зале стало тесно. Большая часть конвоя осталась за дверями.

Товарищи, не выдавшиеся долгие годы, спешили пожать друг другу руки, обменяться хоть несколькими словами. Кто-то из мужчин перебрался в тот угол, где сидели женщины. Это послужило сигналом к всеобщему переселению. Рядом с Соней очутился Николай Морозов.

Звонки судебных приставов не могли заглушить гула разговоров, которые становились все оживленнее и громче. Соня услышала крики: «Встаньте! Суд идет!», когда в залу уже входили судьи.

Впереди шли пять сенаторов в парадных мундирах, в лентах и орденах. За ними шествовали представители сословий: трое в мундирах и один в черной поддевке с золотым галуном на воротнике. Эти

«представители» должны были изображать народ.

Судьи уселись в свои кресла. Первоприсутствующий сенатор Петерс позвонил в большой колокольчик. Шум и разговоры утихли.

— По высочайшему его императорского величества повелению, — начал торжественным голосом первоприсутствующий, — Особое присутствие Правительствующего сената приступает к рассмотрению дела о лицах, обвиняемых в государственных преступлениях.

— Защита считает своим долгом заявить, — говорит присяжный поверенный Спасович, — что в зале отсутствует публика. Заседание фактически происходит при закрытых дверях. Защита ходатайствует о приискании более вместительного помещения...

Петерс резко оборвал его. Спасович сел. Но встал присяжный поверенный Герард.

— Я считаю своим долгом напомнить, — заявил он, — что необходимость гласности по отношению к суду Особого присутствия мотивировалась при введении ныне действующих уставов тем, что отсутствие публичности было бы противно достоинству сената и подрывало бы веру в его справедливость.

— Особое присутствие, — отвечает первоприсутствующий на этот раз подчеркнуто вежливо: ему неудобно оборвать речь человека, который хлопчет об исполнении «ныне действующих уставов», — не находит возможным удовлетворить ходатайство защиты. Зала достаточно вместительна, и публика в зале присутствует.

При этом он указывает кивком головы на пять-шесть родственников подсудимых, которым удалось пробраться в залу заседаний. Пять-шесть человек, когда по тем же «ныне действующим уставам» один подсудимый имел право дать доступ в залу заседаний трем человекам.

Начинается опрос. Одни и те же вопросы задаются по очереди всем ста девяноста трем подсудимым. В зале стоит смутный гул. Можно подумать, что это не заседание суда, а скучный урок.

Первоприсутствующий звонит в свой колокольчик, но на него не обращают внимания. Ордена и ленты не производят никакого впечатления.

Шум внезапно сменяется полной тишиной, когда на вопрос первоприсутствующего: «Ваше звание?» — подсудимый Мышкин отвечает.

— Лишенный всех прав арестант. Я так числюсь по бумагам.

— Ваше занятие?

— Занимался печатанием запрещенных правительством книг.

— Ваша религия?

— Крещен без моего ведома по обрядам православной церкви.

У Мышкина умные смелые глаза, лоб, занимающий больше половины лица. Соня раньше слышала об его отчаянной попытке увезти из ссылки Чернышевского. Попытка не удалась. И теперь самому Мышкину предстояли долгие годы каторги.

Он садится на место, и снова начинаются замолкшие на несколько минут разговоры. Соня не разговаривает. Ей хочется воспользоваться тем, что первоприсутствующий путем опроса словно представляет друг другу товарищей по процессу. Среди подсудимых есть люди, с которыми Соня давно хотела познакомиться.

Саша Корнилова обращает Сонино внимание на члена одесского кружка чайковцев, бывшего крепостного Желябова. Желябовым трудно не залюбоваться. Он красив, строен, держится спокойно, уверенно. От всего его облика веет жизнерадостностью, верой в свои силы, в свое призвание. Вот такими — полными чувства человеческого достоинства — Соня и Саша счастливы были бы увидеть всех крестьян.

В конце концов однообразное повторение одних и тех же вопросов, бесконечное перечисление имен, фамилий, званий утомляет Соню, и она вздыхает с облегчением, когда опрос подсудимых, наконец, приходит к концу.

После опроса начинается чтение длинного списка свидетелей. Кто-то переспрашивает одну из фамилий.

— В том, что вы недослышали, — говорит Петерс, — виноваты подсудимые, которые все время разговаривают между собой.

— Мы разговариваем потому, — кричат подсудимые, — что суд остался закрытым! Мы не признаем такого суда!

Один из них подымается. Он хочет сделать заявление.

— Прежде объявите ваше звание, имя и фамилию, — обращается к нему первоприсутствующий.

— Чернявский, Иван Николаевич, сын коллежского советника, — отчеканивает подсудимый. — Вопреки разъяснению господина первоприсутствующего мы считаем, что заседание будет закрытым, а не публичным. А потому мы находим излишним присутствовать на суде и отказываемся от дальнейшего участия в нем.

— Да, да! — раздаются голоса. — Верно! Правильно!

Петерс принимается размахивать звонком, но шум не утихает. По его знаку жандармы двинулись к Чернявскому.

— Удалить его из зала! — кричит Петерс старческим голосом.

— Всех выводите! — несутся крики. — Мы с ним согласны!

Подсудимые встают со своих мест и направляются к выходу. Там и сям

сверкнули шашки жандармов. Судьи вышли из кукольной неподвижности. Первоприсутствующий даже привстает в своем кресле. Что ему делать, не допустить же, чтобы подсудимые самовольно покинули залу?

— Вывести всех! — грозно кричит он вслед уходящим.

19 октября заседание не состоялось. Его, как прочла Соня в объявлении, вывешенном на входных дверях в окружной суд, отложили на 20 октября по случаю болезни одного из сенаторов. Соня с трудом сдержала улыбку. Что это за болезнь, про которую можно заранее сказать: она продолжится всего сутки? Ясно, что Особое присутствие растерялось и хотело получить от правительства инструкции, пойти ли на уступки, чтобы предотвратить назревающий скандал, или продолжать в прежнем духе.

С самого начала следующего заседания первоприсутствующий обратился к подсудимым с требованием не нарушать демонстрациями порядка судопроизводства.

Это-то обращение и послужило толчком к демонстрациям. Зала, в которой вначале была полная тишина, зашумела, заволновалась, приготовилась к отпору.

— Мы требуем гласности, публичности! — раздался взволнованный голос Мышкина. — Неужели эти несколько мест за судейскими креслами для лиц судебного ведомства и эти три-четыре субъекта, которые примостились за двумя рядами жандармов, и есть та самая хваленая публичность, которая дарована новому суду на основании судебных уставов? Назвать это публичностью — значит иронизировать над одним из основных принципов судопроизводства.

Мышкин высказывает громко то, что волнует всех.

Петерс смущен. Подсудимый берет на себя роль прокурора, обвиняет его, первоприсутствующего, в невыполнении законов.

— Публичность гарантируется, — возражает он, прибегая к софизму, — не присутствием публики, а тем, что здесь есть стенограф «Правительственного вестника» и что обо всем происходящем будет напечатан стенографический отчет.

— По предыдущим примерам, — настаивает Мышкин, — мы знаем, что отчеты «Правительственного вестника» представляют собой лишь второй экземпляр обвинительного акта. А обвинительный акт по нашему делу полон клеветы.

— Составление обвинительного акта не зависит от Особого присутствия.

— Искренне веря, — продолжает Мышкин, — в чистоту и правоту нашего дела, за которое мы уже немало страдали и еще довольно будем

страдать, мы требуем полной публичности и гласности.

— Подсудимый, довольно! — возвышает голос Петерс.

Мышкин садится. Но зато встают почти все подсудимые и заявляют, что присоединяются к каждому сказанному им слову.

Начинается подведение свидетелей к присяге. Подсудимые продолжают волноваться. И имеют для этого основание. Ведь почти все сегодняшние свидетели — вчерашние арестанты. Они давали показания, находясь в полной зависимости от тюремщиков. Трудно надеяться на их беспристрастие.

— Я не завидую этим людям, — говорит Соне вполголоса незнакомая девушка с челкой. — Если они вздумают свидетельствовать в нашу пользу, их сразу же зачислят в «неблагонадежные» и отправят в места, не столь отдаленные.

Следующее заседание начинается с чтения обвинительного акта. Подсудимые его уже читали и потому не слушают. Они совещаются о том, как вести себя дальше.

Из рук в руки передается «Правительственный вестник». Помещенный в этом номере отчет о первых заседаниях составлен возмутительно лживо. Когда на это указали первоприсутствующему, он ответил:

— Полный и точный отчет будет дан после суда,

— Они оклеветают нас в отчете, — говорят подсудимые. — Это самый незаконный суд, какой когда-либо происходил. После суда мы будем в тюрьмах, и некому будет восстановить правду.

Настроение у всех нервное, напряженное. И все-таки молодость берет свое. В перерывах и во время обедов — а обедают все вместе — раздается веселый молодой смех.

Люди, сидевшие годами в одиночках, попав в общество, словно опьянели. Многих ждет ссылка, а то и каторга, но это не мешает их оживлению. Сейчас они думают не о будущем — они полны настоящим. Обеды, которыми их кормят, ничем не напоминают скудную тюремную пищу. Стол, покрытый белоснежной скатертью, имеет особенно праздничный вид.

— Нас, наверно, угощают адвокаты, — сказала Соне Саша Корнилова.

Во время суда над пятьюдесятью Спасович скупил в буфете для подсудимых все апельсины.

К Соне подседа Софья Иванова.

— Знаете, — сказала она, — когда вы во время опроса назвали свою фамилию, я страшно удивилась. Мне не могло прийти в голову, что

девочка, которую я встретила в Москве с Армфельдт, та самая Перовская, о деятельности которой среди рабочих я слышала столько хорошего.

К ним обеим подошла Анна Якимова, та девушка с челкой, которая заговорила с Соней во время заседания.

— Я благодарна прокурору, — сказала она, — за то, что он включил меня в «сообщество». По крайней мере встретила сразу же с большим количеством хороших людей.

Хороших людей здесь действительно было много, и Соня торопилась с ними познакомиться. Ей хотелось воспользоваться своим исключительным положением — возможностью после заседания выходить на улицу, чтобы оказать как можно больше услуг товарищам, сидящим под замком.

Соня во время суда служила как бы живой почтой: заучивала десятки адресов, фамилий и имен, старательно запоминала, что кому и от кого передать.

Возвращалась она домой поздно, утомленная и в то же время возбужденная. Наступала ночь, а она все не могла уgomониться и, в который раз, рассказывала Ларисе обо всем, что произошло здесь. Потом, когда Ларису, которая сначала слушала с жадностью, одолевала дремота, Соня принималась за письмо матери и только после этого ложилась в постель. Но заснуть было нелегко. Перед глазами мелькали виденные днем лица. В ушах звучали слова обвинительного акта и обрывки разговоров. «Что-то будет завтра?» — думала Соня, засыпая уже незадолго до рассвета.

Но того, что случилось на другой день, 25 октября, она никак не ожидала. Первоприсутствующий, который несколько дней назад уверял, что зала достаточно вместительна для публичного процесса, вдруг зачитал постановление распорядительного заседания сената еще от 11-го числа о разделении всех обвиняемых на семнадцать групп.

В постановлении говорилось, что не представляется физической возможности ввиду недостаточности помещения произвести судебное следствие во всем его объеме в присутствии всех обвиняемых и что «во избежание могущего произойти соблазна» необходимо закрыть двери на время судебного следствия по делам о «богохульстве» и об «оскорблении величества».

Пока длилось чтение, в зале была тишина. Когда же оно закончилось, послышался глухой ропот. Раздались протесты.

Петерс не хотел ничего принимать во внимание. Он с первого же слова обрывал не только обвиняемых, но и защитников, много раз повторяя, что «решение окончательное» и никакое заявление по его поводу «не может быть делаемо».

Отдельные протесты стали громче, решительнее, резче. Шум усилился. Первоприсутствующий поспешил объявить заседание закрытым. По данному им знаку строй казаков вступил на место, отведенное защите, и оттеснил защитников от их подзащитных.

Соне, когда она на следующее утро зашла в залу заседаний, показалось, что она не туда попала. Зала, которая еще вчера казалась тесной, сейчас производила впечатление огромной. Из подсудимых в ней находился один только Низовкин. Публики, несмотря на то, что мест сейчас было больше чем достаточно, не прибавилось.

Заседание началось со словесного боя между защитой и обвинением. Защита, ссылаясь на устав уголовного судопроизводства, доказывала, что распорядительное, заседание сената не имело права без ее участия разделять подсудимых на группы.

Присяжный поверенный Александров настаивал на том, чтобы по крайней мере те доказательства, «которые разъясняют существо, цели, размер и общность дела революционной пропаганды в России», были выполнены в присутствии всех подсудимых, чтобы были приняты меры к обеспечению возможно точного выполнения статьи 729 устава уголовного судопроизводства, по которой «отсутствующему из присутствия подсудимому по возвращении в залу заседаний председатель должен сообщить все, что происходило в его отсутствие».

Он сказал, что защита настаивает на этом «ввиду того, что подсудимые по настоящему делу обвиняются в составлении и принятии участия не в нескольких, а в одном противозаконном сообществе... ввиду того, что единство и общность действий лиц, обвиняемых по настоящему делу, вызвали необходимость соединить первоначальное исследование о всех этих лицах в одном деле и обвинение в одном обвинительном акте...».

Слова «ввиду того, что...» еще много раз доходили до Сониного слуха, но не до сознания. Ее беспокоило, что других подсудимых не привели в залу. Что это. могло значить? И что она сама должна была делать?

Остальные могли как-то договориться между собой, а ей и посоветоваться-то было не с кем. Не с Низовкиным же, показания которого были не только тем, что прокурор Желиховский называл «чистосердечным сознанием», но и самым настоящим оговором.

Не успел Александров сесть, как вскочил Желиховский и произнес грозную речь, в которой обвинял защиту в желании «сделать упрек Особому присутствию...» «затруднить и затянуть судебное следствие...» и, главное, в «предварительном сговоре».

— Защита, — возразил адвокат Герард, — действует в законных пределах и вполне справедливо отстаивает свои права.

Перепалка кончилась тем, что ходатайство защиты решено было оставить без последствий, речь прокурора признать не имеющей в себе ничего оскорбительного, а слова защиты как «оскорбительные для обвинительной власти» занести в протокол.

Начался допрос подсудимых. Первоприсутствующий обратился к Низовкину с вопросом, признает ли он себя виновным. Как Соня и ожидала, Низовкин не только подтвердил показания, данные на предварительном следствии, но и прибавил кое-что новое.

Она припомнила с удовлетворением, что, хоть ничего конкретного о Низовкине не знала, была против его приема в кружок. Инстинктивно чувствовала, что он морально нечистоплотный человек и от него лучше держаться подальше.

— Подсудимая Перовская, признаете ли вы себя виновной?

Соня не знала, договорились ли товарищи продолжать протест, и понимала, что оказаться единственной «протестанткой» значило отягчить себе наказание.

— Я, — поторопилась она ответить на всякий случай, — не хочу и не буду давать объяснений без своих товарищей по делу и не хочу без них присутствовать в суде!

После перерыва в залу вводят, наконец, по одному подсудимых первой группы. Ответы их звучат по-разному, но значат одно и то же: недоверие к суду, отказ участвовать в судебном следствии. Тем, которые жалуются, что их притащили силой, первоприсутствующий объявляет, что суд имеет право употреблять все средства для привода подсудимого.

— Я должен кое-что заявить, — говорит Синегуб, — от своего имени и от имени товарищей, уполномочивших меня.

Первоприсутствующий перебивает его:

— Вас никто не имел права уполномочивать.

— Ни нас, ни наших защитников, — продолжает Синегуб, — не спрашивали при решении вопроса о разделении на группы, и нас никто не может уверить, что у вас нет и других заранее составленных решений как относительно судопроизводства, так и относительно самих приговоров...

— Подсудимый Синегуб, вы будете выведены.

— Мы не доверяем суду, — торопится закончить Синегуб, — не признаем его и требуем оставить нас в наших камерах, где мы по три и четыре года ждали хоть сколько-нибудь приличного суда.

— Вон его! — кричит Петерс.

Двое жандармов тащат Синегуба. Рогачев вскакивает и кричит громовым голосом:

— Выведите и меня! Я согласен с Синегубом! Это Шемякин суд.

— Мы тоже согласны с Синегубом! — заявляют, встав со своих мест, Соня и Саша Корнилова. — Выведите и нас.

Вводят Чарушина. Он заявляет то же, что и Синегуб. Положение первоприсутствующего не из легких. Угрозы удалить подсудимых из залы заседаний ни на кого не действуют. Если вывести всех, что же получится? Подумав немного и пошептавшись с соседями, он говорит:

— Садитесь...

Вводят по одному Шишко, Тихомирова, Франжоли, Волховского, Куприянова. Они, правда, в других выражениях говорят то, что до них уже говорилось. Франжоли, перед тем как отказаться от участия в суде, заявляет:

— Меня держат в одиночном заключении четвертый год за то, что причисляют к какому-то огромному сообществу. Я надеялся по крайней мере здесь на суде познакомиться с этим сообществом, а меня опять хотят судить одиночно.

Петерс и ему предлагает сесть. Вводят Волховского.

Вот кто изменился почти до неузнаваемости! Голова его стала совершенно седой. Он плохо слышит. Глаза у него тусклые, кажется, будто он и видеть перестал. Соне больно за него, больно за Марию Осиповну, которой так и не удалось еще раз увидеть мужа. Она несколько недель назад скончалась в Италии.

Волховской выступает резче, чем другие. Называет Особое присутствие не судом, а «административной комиссией», с которой вдобавок невозможно иметь дело. Отказывается от участия в суде, от защиты, от защитника и просит, чтобы его отвели в камеру.

— Ваша просьба не будет исполнена, — говорит и ему Петерс.

Вводят Куприянова. Та же история.

В зале появляются свидетели. Подсудимые перешептываются между собой. Их положение становится все более тягостным. Они отказались участвовать в судебном следствии и участвуют в нем все-таки одним своим присутствием при допросе свидетелей. Что делать?

Куприянов обращается к первоприсутствующему:

— Мы еще раз требуем удалить нас из залы суда. Иначе нам остается только один выход — устроить какой-нибудь дебош или нанести новое оскорбление суду, чтобы вам пришлось нас удалить.

Петерс этого не ожидал. Его иссохший мозг чиновника не может разобрататься в борьбе, которую ему приходится вести.

— Хорошо, — говорит он, — пусть желающие удалиться выйдут на середину залы, а нежелающие остаются на своих местах.

Скамьи пустеют. Соня одна из первых выходит на середину залы. Сидеть остается только предатель Низовкин и еще несколько человек, которых никто не знает.

— Вывести их! — приказывает сбитый с толку Петерс.

Эта победа не дала подсудимым никаких реальных результатов. 26-го числа утром, к началу следующего заседания, они наравне с «правоверными» — так «протестанты» называли между собой тех, которые не отказались от участия в суде, — были опять доставлены в залу заседаний. Петерс считал, что все средства для привода подсудимого в суд законны. А администрация Дома предварительного заключения в средствах стесняться не привыкла.

При входе в залу судей встал только Волховской. Он подчеркнуто вежливо выразил первоприсутствующему свое недоумение по поводу того, что Особое присутствие заставляет подсудимых участвовать в суде.

— Если, — сказал он, — это делается для того, чтобы не растягивать до бесконечности следствие, повторяя каждый раз каждому обо всем, что происходило в его отсутствие, то ведь есть пункт 29 новой редакции статей 1030–1060, по которому даже существеннейшие нарушения порядка обрядов судопроизводства не могут служить поводом кассации.

Соня слушала очень внимательно, старалась не пропустить ни одного слова. Ей нравилось, что Феликс, как заправский адвокат, ссылаясь на статьи устава и сумел в благопристойную форму втиснуть содержание по меньшей мере неприятное господам судьям.

— Все мы, — продолжал он, — имели уже достаточно случаев убедиться, что пункт 29 совершенно усвоен Особым присутствием. Если оказалось возможным устроить публичность заседаний без публики, если можно было устранить защиту от участия в решении вопросов относительно производства следствия на суде и 11 октября, еще — до судебного разбирательства, предпринять вопрос о существовании между подсудимыми «тесной связи», если, говорю, все это возможно, то почему следует соблюдать статью 729?

— Я не удалил вас вчера, — разъяснил Петерс, — желая вам предоставить все средства защиты, ведь вы человек немолодой, больной...

Было в его словах и тоне нечто до того лицемерное, что Волховской не

выдержал. Сначала преувеличенно вежливо поблагодарил за заботливое отношение, а потом вдруг сорвался.

— Если бы у меня, — сказал он то, что не собирался говорить, — не отняли навсегда здоровье, силы, поприще деятельности, свободу, жену, ребенка, если бы я не проводил шестой год в одиночном заключении, и тогда самое важное для меня заключалось бы, как заключается и теперь, в том, чтобы явиться в каждом действии тем, что я есть, а не быть пешкой, передвигаемой на шашечной доске рукою, в которой я чувствую все что угодно, только не уважение.

Терпение первоприсутствующего истощилось. Он потребовал, чтобы подсудимого, «позволившего себе такие выражения», вывели немедленно. А когда остальные протестовавшие еще раз повторили, что не хотят участвовать в суде, он приказал их тоже удалить из залы «с занесением всего происшедшего в протокол».

Сначала Соню даже испугала наступившая внезапно тишина и пустота. Она боялась, что после напряженной до отказа жизни последних дней ей просто некуда будет себя девать, но со следующего утра снова началась возня с передачами и бесконечные хождения в предварилку. А после того как она взяла на себя заботу о теплой одежде для тех, кому предстояло отправиться в дальний и холодный путь, оказалось, что времени у нее даже слишком мало.

О том, что делалось на суде, она узнавала у Тихомирова, К нему и к Волховскому стекались все данные о процессе. Протест продолжался. Были, правда, и в других группах «правоверные», которые и на суде продолжали «чистосердечно признаваться» не столько в своих, сколько в чужих грехах. Но их было мало, и Перовская считала, что они не стоят того, чтобы о них думать.

Среди людей, не участвовавших в протесте, с согласия товарищей был Ипполит Мышкин. Он взял на себя нелегкую задачу восстановить истину, сказать в глаза судьям горькую правду.

Все та же зала суда. За судейскими креслами те, кого Кони называет «сановными зеваками». В зале на этот раз людей, сочувствующих подсудимым, больше, чем когда-либо. Билеты, которые полагаются людям судебного звания, подделаны. Выступает Мышкин.

— Дело не в том, — утверждает он, — чтобы вызвать, создать революцию, а в том только, чтобы гарантировать успешный исход ее.

По его мнению, не нужно быть пророком, чтобы при нынешнем

отчаянно бедственном положении народа предвидеть как неизбежный результат этого положения всеобщее народное восстание.

Он говорит о влиянии Запада, о Международном Товариществе Рабочих — Интернационале. И в то же время предостерегает от ошибок, сделанных на Западе, где буржуазия одна извлекла для себя выгоду из народной крови, пролитой на баррикадах. Он опровергает обвинительный акт, доказывает, что революционное движение в интеллигенции создано не «эмигрантами и тремя или четырьмя обломками прежних сообществ», а самим народом. Это движение усиливается в интеллигенции, только когда усиливается в народе.

Он настаивает на необходимости объединения этих двух революционных потоков в единую социально-революционную партию. Доказывает, что общество не осведомлено об этом народном движении только оттого, что не существует свободы печати.

— Бунт, — утверждает он, — единственный орган народной гласности.

Мышкин — прирожденный оратор. Несмотря на то, что его останавливают чуть ли не после каждого слова, он умудряется не сбиться, не потерять нить. Первоприсутствующий в ужасе оттого, что не может заставить этого человека замолчать.

— Довольно! — кричит он не своим голосом.

— Перехожу к другому предмету, — заявляет Мышкин, уже сказав то, что считал нужным сказать по существу дела.

Теперь он перечисляет незаконные меры, принятые против него во время предварительного следствия.

— После первого же допроса, — сообщает он, — я за нежелание отвечать на некоторые из предложенных мне вопросов был закован в ножные кандалы, а спустя некоторое время еще в наручники. Одновременно с этим я был лишен возможности пользоваться не только чаем, но и кипяченой водой...

— Ваше заявление голословно, — прерывает его Петерс.

— О заковке в кандалы, — возражает Мышкин, — имеется протокол.

— Эти меры были приняты на дознании. Особому присутствию не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры.

— Так нас могут пытаться, мучить, — говорит Мышкин, возвышая голос. — А мы не только не можем искать правду, нас лишают даже возможности довести до сведения общества, что на Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами.

— Ваши заявления голословны, — еще раз повторяет Петерс.

— Я подавал жалобы, но они не приложены к делу, а спрятаны под зеленое сукно. Сидеть в одиночном заключении без книг — это очень тяжелая пытка. Можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумасшествия?

— Теперь не время и незачем заявлять об этом.

— Неужели, — спрашивает Мышкин, — ценою каторги, которая нас ждет, мы не купили себе право говорить на суде о насилиях физических и нравственных, которым «ас подвергали? На каждом слове нам зажимают рот.

— Вы высказали все, что хотели. Вам никто не зажимает рот.

— Если позволите, я кончу,

— Нет, я не могу позволить.

— После всех многочисленных перерывов, — говорит Мышкин, — которых я удостоился со стороны первоприсутствующего, мне остается сделать одно, вероятно, последнее заявление. Теперь для всех очевидно, что здесь не может раздаваться правдивая речь. Теперь я могу, я имею право сказать, что это не суд, а пустая комедия или нечто худшее, более отвратительное, более позорное, чем дом терпимости. Там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь...

— Уведите его! — кричит Петерс.

Жандармы оттесняют Мышкина от других подсудимых. В ход идут кулаки, слышны стоны, крики. Жандармский офицер, гремя шпорами, бросается по ступеням наверх, одной рукой обхватывает Мышкина, другой зажимает ему рот. Мышкин вырывается и кричит:

— Здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью!..

В зале смятение, крики. Из толпы окруживших Мышкина голубых мундиров доносится его сдавленный голос:

— Торгуют всем, что есть дорогого для человечества.

Кто-то вскочил на стул и оттуда в исступлении выкрикивает:

— Негодяи! Подлецы! Холопы!

— Да успокойтесь же, да нельзя же так! — надрываются защитники, но их голоса тонут в общем шуме.

— Я прикажу пустить в ход оружие, — предупреждает Петерс.

Сабли обнажены. Кажется, вот-вот польется кровь. У кого-то из публики нервы не выдерживают напряжения. Раздается истерический крик. За ним второй, третий — уже в других концах залы. Какая-то женщина плачет навзрыд. Кто-то из защитников падает в обморок.

Сенаторы и сословные представители сбиваются в кучу. Прокурор

сходит со своей конторки. Первоприсутствующий, позабыв объявить заседание закрытым, быстрым шагом уходит из залы.

О закрытии заседания сообщает по его поручению судебный пристав. Защита, возмущенная незаконными действиями суда, заявляет, что не покинет своего поста, пока не услышит о закрытии заседания, как полагается, из уст самого г-на первоприсутствующего.

Г-н первоприсутствующий вызывает защиту в судейскую комнату и там объявляет ей о закрытии заседания, но защита не уходит. Она требует, чтобы факты избиения подсудимых были занесены в протокол.

— Да это чистая революция! — кричит прокурор и настаивает на перенесении дела в военный суд.

Первоприсутствующий обвиняет защиту «в подстрекательстве» к бунту.

Соня знает обо всем случившемся от защитников. Но она так ясно представляет себе Мышкина и других действующих лиц этой драмы, что ей кажется, будто все, что происходило в суде, она видела собственными глазами, слышала собственными ушами.

«Неужели, — думает она, — этот сын народа погибнет для народного дела, неужели я встретила его только для того, чтобы проводить на каторгу?»

Скандал в зале суда не прошел бесследно. Со следующего же заседания место первоприсутствующего по «высочайшему повелению» занимает сенатор Ренненкампф. А еще через несколько дней Мышкина, Войнаральского, Ковалика, Муравского и чуть ли не всех мужчин-«протестантов» внезапно перевозят в крепость и держат там в одиночном заключении: без прогулок, без передач, без книг, переписки и свиданий.

Правительство сочло неприличным обнаружить перед Европой сразу такое большое число ниспровергателей «ныне существующего порядка». В Петербурге говорят, что так называемым «зачинщикам» и «коноводам» несдобровать, а остальных решено представить в виде воска, из которого можно лепить что угодно, или стада, которое всюду идет за своим вожаком.

И как бы в подтверждение этого еще до произнесения приговора выпускают пятьдесят человек — кого на поруки, а кого и совсем.

Выпустили на поруки и Сашу Корнилову, которую за ее буйное и независимое поведение прозвали Стенькой Разиным.

Она рассказала Соне, Ларисе и своей сестре Любе о том, какое убийственное впечатление произвел на оставшихся в предварилке переводчицей в крепость; как эти оставшиеся (и она в том числе) чуть ли не

бунт подняли для того, чтобы их тоже перевели в крепость. Они собирались там объявить голодовку, надеясь добиться таким способом возвращения в предварилку хотя бы самых слабых из мужчин: Волховского, Синегуба, Чарушина.

— Женщин освободили, — сказала Люба, — потому что считают нас, конечно, существами низшего порядка.

Соня нахмурилась. Лариса помолчала немного, опустив свою красивую голову. А потом произнесла задумчиво:

— Только бы меня пустили вместе с Сергеем, больше я ни о чем не мечтаю.

Тихомирова оставили в предварилке. Соня не понимала, что это значит. А понять это ей было необходимо: ведь от вынесенного ему приговора зависела не только их личная судьба, но и судьба затеянного Соней предприятия.

Переоценка ценностей

Проходит совсем немного времени, и из ворот Дома предварительного заключения выпускают еще несколько десятков человек. Чуть ли не все они были арестованы далеко от Петербурга и не имели в этом чужом для них городе ни друзей, ни пристанища.

Соня всеми правдами и неправдами старалась им облегчить жизнь в заключении, давала свой адрес кому только могла, и не мудрено, что освобожденные первым долгом приходят именно к ней.

Ну, а тех, которые не появляются, Соня разыскивает сама. Не для того они все сплотились во время процесса, чтобы, ровно ничего не сделав, снова разбрестись по стране.

Маленькая квартирка в номерах Фредерикса сама собой превращается в штаб-квартиру. Многие находят здесь и ночлег. В ход идут тюфяки, одеяла и даже портьеры. Соня и Лариса стелют их своим неприятным гостям прямо на полу.

Шум. Гул. Разговоры. С утра до ночи народ. Дым такой, что дышать трудно. Здесь Сергей Кравчинский, Морозов, Вера Фигнер, Анна Якимова, Ковальская, Богданович, Соловьев. Все эти люди пока малоизвестные, но многим из них суждено прославить свои имена.

Тюрьма оказалась хорошей революционной школой. Долголетнее сидение, неправый суд даже людей, арестованных по ошибке, раньше до ареста и не помышлявших о социализме, о революционной деятельности, превратили в самых убежденных революционеров-социалистов. После долгих лет вынужденного молчания они торопятся поделиться мыслями. После вынужденного бездействия жаждут деятельности.

Взволнованы и возбуждены не они одни. Несмотря на отсутствие гласности, речь Мышкина услышали далеко за пределами суда. Весь Петербург, и чиновный и нечиновный, в курсе того, что происходит в зале заседаний. Слухи с небывалой быстротой разносятся по городу. Их передают с готовностью и слушают с жадностью.

И в этой жадности к слухам виновато само правительство, которое, несмотря на печатно данное обещание издать «особо» стенографический отчет, не только не издает ничего «особо», но и в «Правительственном вестнике» печатает один только обвинительный акт.

Другие газеты охотно сделали бы достоянием общества сенсационные подробности процесса, но им сделано специальное предупреждение: не

сообщать на своих страницах о происходящем в суде ничего, кроме того, что уже печаталось ранее в «Правительственном вестнике». Стенографический отчет защиты по постановлению комитета министров подвергается сожжению.

Большинство петербуржцев, даже далеких от радикализма, возмущается действиями суда и сочувствует подсудимым, которых подвергли многолетнему заключению еще до того, как их вина была доказана. Многие утверждают, что в Европе за такие пустяки вообще не судят, и ссылаются при этом на специального корреспондента газеты «Тайме».

— Я присутствую здесь вот уже два дня, — сказал он кому-то из защитников, — и слышал пока только, что один прочел Лассаля, другой вез с собой в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу товарищу. Что же во всем этом политического, угрожающего государственной безопасности?

Атмосфера накалена не только в зале суда. Все больше ходоков с бесчисленными жалобами посылают к царю деревни. Все чаще вспыхивают в городах стачки рабочих. Все смелее устраивают демонстрации рабочие и революционеры-разночинцы. Чувствуется, что народ не хочет жить по-прежнему. Это окрыляет революционеров и приводит в замешательство господствующие классы. Они, как и всегда при революционной ситуации, чувствуют, что и управлять по-старому становится невозможно.

Уже действует циркуляр, предписывающий полиции: «При первом известии о стачке рабочих на каком-либо заводе или фабрике, не допуская дела до судебного разбирательства, немедленно по обнаружении главных зачинщиков между рабочими высылать таковых в одну, из назначенных для этого губерний». Ходоки из деревень и те попадают в тюрьмы и тоже ссылаются в «назначенные для того губернии».

Либералы, которые раньше до последних месяцев войны держали свои мнения при себе, теперь стали выражать их вслух. И мнения эти не слишком лестные для правительства. Говорят, что нельзя вести войну за освобождение других народов, а у себя дома свой народ держать в рабстве.

Правительством на этот раз недовольны и те, которые горой стоят за «исконное русское самодержавие». Они считают, что «Третье отделение его императорского величества канцелярии» действует во вред «его величеству» и своей системой административных высылки как будто нарочно разносит пропаганду по всем закоулкам страны. Они находят, что

правительственный суд тоже как будто нарочно устраивает в своих стенах нечто вроде всероссийского съезда революционеров.

Говоря о съезде революционеров, они не так уж далеки от истины.

Люди, шедшие «в народ» весной 1874 года, были разбросаны по всей России, не имели общих установок. Самые организованные среди них — чайковцы — и те только начали тогда вырабатывать программу и налаживать связь с другими кружками.

Чтобы поделиться опытом и, главное, прийти к соглашению, они решили встретиться осенью и действительно встретились осенью, но уже не 74-го, а 77-го года, встретились на скамье подсудимых.

После всего пережитого, после общего протеста они впервые чувствуют, что могли бы стать сплоченным целым, сообществом, партией. Впервые чувствуют себя силой, но не знают еще, куда эту силу направить.

Многие из них, идя в 74-м году «в народ», как в «обетованную землю», верили, что стоит только бросить искру и разгорится огонь, что близок день, когда все огни сольются в одно всепоглощающее пламя. Верили, подобно Бакунину, что народ готов к революции.

Верили, а теперь перестали верить. Они отдадут себе отчет в том, что в их неудачах виноваты не одни только правительственные репрессии. Они заметили, что крестьяне, которые охотно слушают, когда с ними говорят о господах, о податях, о налогах, о правительственном гнете, замыкаются сразу, как только речь заходит о социализме. Они готовы признать, что действовали неправильно и крестьяне их не поняли. Но признать, что сами не поняли крестьян, отказаться от веры в «коммунистические инстинкты» мужика, веры «в особый уклад, в общинный строй русской жизни», выше их сил.

Они видят ту деревню, которая была, а не ту, которая есть. На классовое расслоение деревни— появление в ней своей буржуазии и своей бедноты, на быстрый рост пролетариата в городе они смотрят как на величайшее несчастье.

Капитализм кажется им на русской почве тепличным растением. Он искусственно насаждается правительством. Нужно торопиться. Нужно поднять крестьянство на восстание, пока еще существует община, пока не окончательно разрушились старые устои.

Но как, каким образом? Неудача «хождения в народ» заставляет искать новых путей борьбы.

Соня и раньше не думала, что революция наступит скоро, и потому не испытала той горечи разочарования, какую испытали ее романтически настроенные товарищи. Может быть, как раз из-за того, что она пожила в

деревне одна из первых, движение в народ, которое позднее захватило молодежь, не заставило ее бросить на произвол судьбы «рабочее дело» и кинуться сломя голову в деревню. Да и арестовали ее прежде, чем это движение приняло для интеллигентной молодежи массовый характер, а о том, что произошло потом в «шалшное», в «сумасшедшее» лето 1874 года, она знала только от других. Ей стуком рассказывали об этом заключенные; записками оставшиеся на воле.

Всероссийский съезд революционеров продолжается в Сониной квартире, теперь уже на Знаменской улице — прежняя оказалась недостаточно конспиративной. Освобожденные встречаются здесь не только между собой, но и со всей радикальной молодежью Петербурга.

Молодежь готова на руках носить «выходцев того света». Она сама еще не скиталась по тюрьмам и не может хоть сколько-нибудь спокойно слушать рассказы из тюремной жизни. Она полна негодования, возмущения, жажды мести.

Но сами «выходцы с того света» чувствуют себя на этом свете, среди этой новой молодежи как-то не по себе. Их смущает, что не только поколение, выросшее за годы, когда они были изъяты из жизни, но и многие из их друзей думают теперь иначе, чем думали раньше, несколько лет назад.

Словарь и тот у них изменился: они говорят о неоплатном долге народу, о социализме, о пропаганде гораздо реже, чем о револьверах и кинжалах. И чаще всего они склоняют и спрягают такие слова, как месть, отомстить, отплатить. Их револьверы еще не стреляют, кинжалы они тоже не пускают в ход, но уже носят их с собой — на всякий случай.

Если можно, кажется им, с оружием в руках добывать свободу для славян, то почему нельзя тем же оружием отстаивать свою свободу, свои права. Это еще не конкретные планы, не политическая программа, а нарастающее настроение, мысли, которые бродят в возбужденных головах.

Соня прислушивается к возникающим спорам и думает свое: «Месть непонятна народу, не нужна даже тому, за кого мстят». И когда вокруг нее говорят о мщении, обдумывает планы освобождений.

Спасти кого только можно, восстановить кружок, включить в него лучших людей, воплотить в жизнь ту несуществующую единую революционную партию, от имени которой говорил на суде Мышкин, — вот что кажется ей первоочередной задачей.

Спасти кого только можно, но для этого нужны люди и деньги, много денег.

Декабрьские сумерки. На улицах уже почти темно, но фонари еще не зажжены. Недалеко от Знаменской площади Соня нанимает извозчика и едет на другой конец Невского. Подъехав к невысокому дому, она неторопливо входит в парадный подъезд, но вместо того, чтобы подняться по лестнице, быстро опускается на несколько ступенек вниз и через узкую, почти незаметную дверь выходит во двор, затем — во второй двор и только после этого на нужную ей улицу.

Через какой-нибудь час к противоположной стороне Знаменской площади, прямо к Николаевскому вокзалу, подъезжает молодая нарядная дама. В изящном дорожном пальто, в шляпе с вуалеткой Соня на этот раз больше похожа на дочь губернатора, чем на скромную фельдшерицу.

Она так быстро возвращается из своей конспиративной поездки, что не только полиция, но и товарищи, которых она не посвятила в свои планы, не успевают заметить ее отсутствия.

Глубокая ночь. Все спят. Только в одной комнате горит керосиновая лампа. Сестры — Люба Сердюкова и Саша Корнилова — пишут письма. Люба свое уже заканчивает, а Саша только начала.

«Сверх всякого ожидания, дорогая Верочка, — пишет она Вере Николаевне Фигнер, — строчу вам в доме своем. У нас ветер переменился: нас окончательно признали мальчишками, неразумно увлеченной толпой, действовавших под влиянием двадцати-тридцати человек. Большинство, вероятно, отделается административной высылкой, и вся злость будет вымещена на этих двадцати-тридцати наиболее энергичных и выдающихся личностях. Вы легко можете себе представить, как тяжело уходить из тюрьмы при таких условиях. А еще тяжелее то, что не можете иметь твердой уверенности, что удастся облегчить участь обреченных на гибель. Такая пустота и в людях и в средствах, что не на кого надеяться».

Сестры не боятся писать о самых сокровенных мыслях и чувствах, потому что письма отправляют не по почте, а с доверенным лицом. Вера Петровна Чепурнова, которую защита вызвала из Самары в качестве свидетельницы, собираясь в обратный путь, согласилась по Любиной просьбе положить к себе в чемодан не только письма подсудимых, но и подготовленные для нелегальной печати копии судебного отчета.

Вера Петровна не молода и отнюдь не радикалка, но ей по душе идейная молодежь, а с Любой за те два месяца, что прожила у нее в квартире, она даже успела подружиться.

Звонок. Второй. Третий. Свисток, и поезд медленно сдвигается с

места. Вера Петровна, стоя у окна купе второго класса, машет на прощанье рукой. Она не привыкла к конспирациям и довольна, что ей удалось благополучно выбраться из Петербурга.

Но на ближайшей станции, прежде чем провожавшие ее друзья успели добраться до дому, в купе входят переодетые жандармы и, не говоря ни слова, высаживают из вагона Веру Петровну вместе с ее драгоценным чемоданом. Они проделывают это настолько быстро и ловко, что поезд не задерживается на станции ни одной лишней секунды.

Все выполняется точно по предписанию Третьего отделения, которое распорядилось действовать осторожно, «чтобы не обратить внимания публики».

Опять Третье отделение, опять допрос

Когда Соня входит в знакомое здание у Цепного моста, ей невольно вспоминается, как она пришла сюда в первый раз вместе с Сашей Корниловой. Тогда им все было в новинку, теперь Соня уже чувствует себя опытным человеком. Она не знает еще, о чем ее будут спрашивать, но заранее решила на все вопросы отвечать «не видела», «не помню», «не слышала», а то и просто «не желаю отвечать».

«Так по крайней мере, — думает она, — никого не потянешь за собой». За частичку «не» трудно зацепиться.

Допрос длится долго. Вопросы касаются Мышкина, Наташи Армфельдт, Любы Сердюковой, Веры Фигнер. Жандармский офицер старается вытянуть из Сони все, что она знает. Соня отмалчивается, отнекивается и, в свою очередь, старается выведать у него, что известно в Третьем отделении.

Но что известно в Третьем отделении и откуда известно, ей становится ясно, когда к концу допроса офицер считает почему-то нужным показать ей Любино письмо.

«Не знаю, — читает Соня, — сумеем ли что-нибудь организовать прочное и солидное для освобождения. Деньги 9 000 (рублей) надеемся взять под вексель у Армфельдт, она, наверно, даст; Перовская поехала уже к ней. Ах, если бы удалось освободить Мышкина! Это редкий и действительно из всех выдающийся человек; страстная приверженница чайковцев, я все-таки отдаю ему предпочтение перед всеми. Мне кажется только, что его сгноят в крепости, как Нечаева... Теперь, Верочка, у нас все исключительно заняты этой одной мыслью, все остальное на заднем плане. Да и вообще у всех наших чайковцев после долголетнего сидения такое состояние явилось, что все боятся воли, нежели хотят ее. Чувствуют себя

совсем чуждыми этому миру и все представляют себе, как бы взялись за дело, если бы вдруг очутились свободными гражданами».

Соня обрадовалась, конечно, что ее визит в Третье отделение не затянулся на долгие годы, но ее огорчили письма, которые она прочла, не только их содержание, но и тон, каким они были написаны. Она тоже не знала еще, как при новых обстоятельствах взяться за прежнее дело, но была настроена совсем не так пессимистически, как ее подруги. Она изо всех сил старалась восстановить кружок, привлекала к нему новых людей, делала все что могла, чтобы поднять дух у изверившихся.

Пока подсудимые, находившиеся на свободе, старались восстановить прежнее сообщество, дело в суде дошло и до прений сторон. Речь прокурора Желиховского, юридически совершенно беспомощная, растянутая и бесцветная, была полна истерических выкриков. Переходя из одной крайности в другую, он изображал подсудимых то в виде закоренелых злодеев, то в виде недоучившихся мальчишек. Это не помешало ему обвинить всех огулом не только в государственных преступлениях, но и в преступлениях против нравственности. Обвинение Желиховский строил, опираясь на данные предварительного дознания, нисколько не считаясь с тем, что все эти данные были фальсифицированы, как выяснилось на самом судебном следствии при перекрестном допросе свидетелей.

Желиховский, как про него говорили в кулуарах, пытался избытком лжи возместить недостаток таланта. У него не хватало не только таланта, но и самого обыкновенного такта. Присутствующие в зале заседаний были поражены, когда он, обвинитель, вдруг сам отказался от обвинения чуть ли не ста человек, сказав, что они были нужны ему только для фона.

«За право быть этим фоном, — писал потом Кони, — они, однако, заплатили годами заключения и разбитой житейской дорогой».

Доказывая, что подсудимые составляют преступное сообщество и связаны сложной иерархией отношений, Желиховский пытался свести улики, имевшиеся у него против отдельных лиц, в улики против целого. А так как и этих улик не хватало, он без всякого стеснения заменял их ссылками на доносы и собственное патриотическое чутье.

И все равно усилия прокурора оставались тщетными. Собранное его красноречием сообщество ежеминутно рассыпалось на отдельные части.

Почти все защитники начинали свои выступления с опровержения фактической стороны обвинения. Когда же им удавалось доказать ошибочность посылок, то и сделанные из этих посылок выводы отпадали

сами собой.

Да и можно ли было говорить об огромной разветвленной организации, о точном распределении ролей между подсудимыми, когда судебное следствие установило, что большинство из них раньше друг о друге даже не слышало.

Атмосфера в зале суда становилась все более напряженной. Объяснялось это отчасти тем, что смертность среди подсудимых в последние дни процесса достигла апогея. Почти ни одного заседания не проходило без того, чтобы кто-нибудь из защитников не заявлял о кончине своего подзащитного. Заявления эти производили тем более тягостное впечатление, что среди недожавших до приговора были люди, вину которых так и не удалось доказать.

Если известия о новых смертях производили тяжелое впечатление на посторонних, то понятно, что Соня не могла к этим известиям относиться хоть сколько-нибудь спокойно.

В зале суда сообщали только об умерших, она же знала и о «стоящих на очереди», о безнадежно больных, об умирающих. «Смерть лучше каторги», — говорила она себе, но это было плохим утешением, ведь многим ее товарищам каторга предстояла на самом деле.

Прокурор в своей речи обвинял не только подсудимых, но и защиту. Защита тоже не осталась в долгу. Она обвиняла в беззаконии и самого Желиховского, и Жигарева, и Слезкина, и всех остальных «спасителей отечества». Защита доказывала, что обвинительный акт не только неточен, но и фактически неверен, возмущалась неподобающим отношением представителя обвинения к большинству свидетелей, неподобающим значением, которое он придал в своей речи шпионам и доносчикам.

Адвокат Александров предсказал прокурору, что его имя будет прибито потомками к позорному столбу.

Адвокат Таганцев объяснил страстность, с которой защита отнеслась к своей миссии, тем, что ей «пришлось ознакомиться с повестью тяжелых страданий, смертей, сумасшествий; с повестью, которая продолжалась и здесь во время следствия».

— И речь идет, — сказал он, — не только о тех ста девяноста трех подсудимых, которых вы видели перед собой, но о многих и весьма многих сотнях пострадавших. Следственный потоп 1873–1876 годов бурными волнами пронесся по всей России, зацепил самые мирные ее закоулки, везде оставляя горе и беспокойство, загубленную молодость, разрушенную семейную жизнь. Вспомните картины, которые рисовались здесь в суде свидетелями этого погрома. Разве защита могла быть спокойна при таких

условиях?

Отстаивая права подсудимых, защита отстаивала сам принцип законности, отстаивала собственное право на существование. В конце концов даже предубежденным людям стало ясно, что преступное сообщество в масштабе империи если и существовало, то только в воображении самого прокурора.

И на этот раз, как это бывает порою, к трагическому примешалось комическое. Давно Соня не смеялась так весело, как в тот день, когда прочла удивительно ловко переложенную кем-то в стихи речь Желиховского. Подсудимые были в этих стихах представлены не в слишком героическом виде:

Вот мы видим представителей
Государства разрушителей!
Средь воришек и грабителей,
Огорчающих родителей...

Доказывая, что «путем теснейших уз связан подлый их союз», Желиховский, не тот, который выступал в суде, а герой поэмы, ссылаясь уже не «а чутье и интуицию, а просто-напросто на собачий нюх.

...Но известно, господа,
У представителя суда
Очень чуток нюх собачий.

Восторженные тирады во славу шпионов отразились в таких строчках:

Вот высокоблагородная,
Вот черта вполне народная...
Не шпионы-с-доносители,
Государства охранители.

Кончалась стихотворная речь Желиховского требованием суровой кары для преступников: «Я взываю к мщенью, к мщенью сообразно уложению...» — и выражением надежды, что преступники попадут в ад и будут наказаны не только на этом, но и на том свете.

...Там возмездие найдут,
В этом Третьем отделении
Мирового управления...

О том, как колебались «весы правосудия» — о речах защиты и обвинения, — Соня и другие подсудимые-«протестанты» знали во всех подробностях от защитников.

Ни ранее, ни позднее либеральное общество не было настроено так оппозиционно. Ни раньше, ни после радикалы и либералы — подсудимые и защитники — не были так близки между собой.

Соню это сближение даже пугало. Она знала, что если сейчас, во время процесса, им всем по дороге, то по дороге им будет недолго. Она не могла забыть слов, которые Спасович сказал как-то своему подзащитному во время процесса пятидесяти:

«Знаете ли вы, что все-таки работаете не для социальной революции; нет, она еще далеко, а расчищаете только путь нам, буржуа-либералам, как вы нас называете, и только мы воспользуемся вашим трудом и вашими жертвами».

Подсудимые отказались участвовать в суде. Суд продолжался без подсудимых. В мрачном здании окружного суда, против длинной вереницы пушек, люди в мундирах продолжали взвешивать и отмеривать, у кого и сколько отнять жизни, молодости, свободы.

Весь Петербург с волнением ждал приговора. Да «же в светских гостиных к подсудимым относились с сочувствием. Находили, что долголетнее предварительное заключение само по себе достаточно тяжелое наказание. Передавали друг другу подробности о недостойном поведении сенаторов. Посмеивались по поводу того, что Особое присутствие попало впросак: хотело устроить торжественную демонстрацию поругания «крамольников», а вместо этого само себя по-, казалось в достаточно непривлекательном виде.

Под давлением общественного мнения Особому присутствию оставалось только позаботиться о том, чтобы хоть немного загладить по меньшей мере неприятное впечатление от процесса-монстра. И когда приговор был, наконец, произнесен, он оказался гораздо мягче, чем предполагалось.

Соня нашла свою фамилию в длинном списке других, про которых было, сказано, что «нижепоименованные подсудимые, привлеченные в

качестве обвиняемых в государственных преступлениях, оказываются невиновными по настоящему делу». Лев Тихомиров, Саша Корнилова, Морозов, Кувшинская тоже подлежали освобождению: им по постановлению суда зачли в наказание время предварительного заключения.

Многим подсудимым Особое присутствие смягчило наказание, принимая во внимание их молодость, легкомыслие, неразвитость. Участь же тех, смягчить наказание которым выходило из его власти, оно сочло «справедливым повергнуть на монаршьё милосердие».

«Не благоугодно ли будет его императорскому величеству повелеть...» — говорилось в ходатайстве, и дальше шел перечень наказаний, из которых самым строгим было — «лишить всех прав состояния и сослать на поселение в отдаленнейших местах Сибири».

Защитники сказали Соне, что не бывало еще случая, чтобы ходатайство суда не было уважено и чтобы в «монаршьем милосердии» было отказано. Но Мышкин, перед которым Соня преклонялась, оставался обреченным на десять лет каторги. О нем Особое присутствие не сочло нужным ходатайствовать.

Продолжение происшествия в Доме предварительного заключения

Эти зимние дни января 1878 года до конца остались у Сони в памяти. Знаменская площадь в снегу. Огромный дом против Николаевского вокзала. Квартира на втором этаже, где жила Соня.

С утра до поздней ночи — знакомые и незнакомые лица, лица товарищей, только что выпущенных из тюрьмы. Радостные восклицания и поздравления, облака табачного дыма. И снова — снежные улицы, коридоры предварилки, свидания с теми, кто остался в тюрьме.

23 января — приговор. 24 января — встреча с освобожденными товарищами и 24 же января — выстрел Засулич.

В приемную градоначальника Трепова входит просительница — высокая, стройная девушка. Трепов подходит к ней. Девушка вынимает из муфты револьвер.

— Это вам за Боголюбова, которого вы приказали висеть! — говорит она и стреляет.

Трепов падает раненый. Девушка остается стоять на месте. На нее набрасываются, ее бьют, тащат куда-то.

Майор Курнеев, который распорядился расправой в Доме предварительного заключения, на этот раз расправляется с преступницей собственноручно. Его оттаскивают от нее силой. Подчиненные майора знают: если дать начальнику волю, судить будет некого.

Весть о покушении на генерал-адъютанта Трепова с невероятной быстротой облетает город. Через какой-нибудь час на Адмиралтейском бульваре собирается великое множество карет, а приемная градоначальства заполняется не только полицейскими и военными чинами, но и высокими особами.

Да и как они могли бы не проявить внимание к потерпевшему, когда сам государь император счел долгом навестить своего верного слугу и обратиться к нему несколько милостивых слов?

Жителя Петербурга — знакомые и незнакомые — передают друг другу прямо на улицах все-новые подробности. Говорят, что преступница не похожа на преступницу, что, когда ее избивали, она даже не пыталась сопротивляться; говорят, что царь остался очень недоволен, когда Трепов, стараясь и тут, на пороге смерти, выслужиться, вздумал сказать ему: «Я рад, ваше величество, что принял на себя пулю, которая, может быть,

предназначалась вам».

Город полон слухов. Одни радуются, что досталось «рыжебородому фельдфебелю», «старому вору», «Федьке». Другие возмущаются самосудом — «так, пожалуй, и до нас дойдет». Но о самом Трепове никто не говорит доброго слова — петербургского градоначальника в Петербурге не любят.

И больше всего волнуются, говорят, спорят в Сониной квартире на Знаменской улице. Люди, которые собрались здесь, смотрят на случившееся по-разному: одни считают, что нельзя насилием отвечать на насилие, другие — что каждый должен отвечать за свои поступки.

Соня по-прежнему думает, что их оружием должно быть правдивое слово, книга, а не револьвер. И все-таки что-то в самой глубине ее души радуется: друзья не остались неотомщенными.

Чайковцы снова собираются вокруг своего знамени. Нет Кропоткина, Куприянова, Синегуба, Чарушина, Шишко, Сердюкова. Из старых чайковцев на свободе только Соня, Саша, Люба, Лариса, Кувшинская, Кравчинский и Клеменц. Их и так мало, а скоро станет еще меньше. Люба собирается в ссылку вместе с Сердюковым. Кувшинская, уже в тюрьме ставшая Чарушиной, и Лариса Синегуб добиваются разрешения поехать за мужьями. Добиваются и никак не могут добиться того, на что имеют по закону право. Шеф жандармов генерал Мезенцев не хочет считаться с законами.

Соня пытается обновить кружок людьми, вышедшими из тюрьмы. Но для того чтобы представлять собой какую-нибудь силу, они нуждаются прежде всего в том, чтобы восстановить собственные силы.

Когда к ней впервые после освобождения приходит Тихомиров, о «а встречает его так же радостно, как и других освобожденных. Но ему этого мало. Если Соня считает, что их решение вступить, в брак отпадает теперь само собой, то у него на этот счет другое мнение. Он обижается на Соню, что она обдает его холодом и при первой же встрече поставила на «благородную дистанцию», а ее возмущает, что он полон мыслями о себе, о личных отношениях в то время, как о делах общественных стали думать даже такие люди, которые раньше ими совсем не интересовались.

В Сонину квартиру, в особенности сейчас, после приговора, приходит столько заведомо «неблагонадежных» людей, что хозяин дома, проявлявший сначала поразительное терпение, предлагает своей беспокойной квартирантке в кратчайший срок очистить помещение.

Очистить помещение... Это было бы еще полбеды. Ходят упорные слухи, что всем освобожденным по делу 193-х придется очистить Петербург и отправиться в «места не столь отдаленные»;

Из политических соображений решено вытравить из «дела Засулич» политическую окраску и отдать его суду присяжных. Отдать, конечно, только для виду, а в действительности превратить судебное разбирательство в такой же спектакль, в какой уже было превращено разбирательство дела 193-х в суде Особого присутствия.

Спектакль продуман вплоть до малейших деталей, роли распределены заранее. Прокурору предписывается не жалеть красок при изображении злодеяния, совершенного 24 января, и запрещается касаться событий, имевших место в Доме предварительного заключения 13 июля. По мнению правительства, все ясно и без того, чтобы копаться в причинах, толкнувших злодейку на злодеяние. Вот преступница, не отрицающая своего преступления. Вот вещественное доказательство — револьвер. Остается только назначить ей достаточно суровую кару, чтобы другим впредь было неповадно.

Слова «правосудие», «законность», «беспристрастие» министр юстиции Пален произносит ироническим тоном. Люди, придающие этим словам серьезное значение, кажутся ему по меньшей мере наивными. /Но, по счастью для России, в ней нет недостатка в «наивных» людях. Два прокурора, один за другим, зная, чем это грозит, отказались быть на этих условиях обвинителями. Нашли третьего, пусть менее талантливый, но зато более покладистого.

Главную роль решено поручить не прокурору, а председателю суда. Это он, тот, кому по закону полагается быть воплощенным беспристрастием, должен на этот раз быть стороной: всей силой своего красноречия поддерживать обвинение и всеми правдами и неправдами мешать защите. Это на него правительство, создавшее суд присяжных, надеется, что он в последнем акте, в своем напутственном слове сумеет «внушить» присяжным заседателям обвинительный приговор.

Задумать спектакль легче, чем его поставить. Председатель суда не кукла, не марионетка, а уважаемый всей Россией судебный деятель Анатолий Федорович Кони.

Кони — в круглой комнате перед малой дворцовой церковью, среди прочих удостоенных чести быть представленными государю. С той самой минуты, как он совершенно неожиданно для себя получил приглашение во дворец (до «его председатели окружных судов никогда, ни в каких случаях государю не представлялись»), он только и думал о том, что обязан на вопрос государя о деле Засулич открыто и прямо сказать ему о причинах,

порождающих самосуд. В том, что этот вопрос будет задан, Кони не сомневается. Для чего же иначе могла понадобиться церемония представления?

Анатолий Федорович взволнован. Ему не раз приходилось произносить обвинительные речи, но сейчас ему предстоит нечто более сложное. Ему предстоит перед лицом самодержца всероссийского обвинять порядок, за который, если поставить все точки над «и», ответствен самодержец.

В памяти у Кони еще не стерлись воспоминания о реформах начала царствования Александра II, в особенности о судебной реформе. Он все еще пытается объяснить себе крайние меры последующих лет роковым недоразумением. И именно потому, что не до конца еще потерял веру в царя, он считает своим нравственным долгом рассеять это недоразумение, сказать ему горькую правду в глаза.

Кони отнюдь не революционер, но здесь не надо быть революционером, достаточно быть просто честным человеком, отдающим себе отчет в том, что делается, и понять, что царь давно уже настойчиво и планомерно уничтожает то, что создало славу первых лет его царствования.

Но вот замолкает церковное пение. Обрываются разговоры. Арапы распахивают двери. Минута напряженного ожидания, и на пороге в узком уланском мундире, еще более подобранный и подтянутый, чем ожидающие его посетители, появляется царь.

«Вот сейчас, — думает Кони, — государь подойдет и спросит».

Но государь предпочитает ни о чем не спрашивать. Он в неопределенных словах выражает надежду, что Анатолий Федорович и впредь «будет служить так же хорошо и успешно».

Напряжение сразу покидает Кони, хотя по завистливым взглядам и льстивым словам тех, кому император на ходу только поклонился, он понимает, что ему оказано официальное отличие.

«И это все, — думает он, — для чего же все это было нужно?»

Но для чего все это нужно и что значат слова «служить так же хорошо и успешно», Кони понял на следующий день, когда министр юстиции Пален уже не в «неопределенных», а в самых определенных выражениях потребовал, чтобы он поручился в том, что Засулич будет осуждена.

«По этому проклятому делу, — сказал министр юстиции, обращаясь к председателю «независимого» суда, — правительство вправе ожидать от суда и от вас особых услуг...»

Напрасно Анатолий Федорович напоминал Палену, что учреждение суда присяжных «санкционировано державной волей» и решение

присяжных по самой сущности своей не может быть предрешено. Пален слушать его не хотел. Он не мог понять, как Кони решается противодействовать желанию императора. Правда, желание это не было высказано прямо, но умный человек, считал Пален, должен понимать не только то, что говорится словами.

Во всяком случае, он, министр юстиции, достаточно умен и понимает, что законы, писанные царями, писаны не для царей. Ему ясно одно: царь хочет, чтобы Вера Засулич была осуждена, и она должна быть осуждена во что бы то ни стало, несмотря на все «проклятые порядки», если не по закону, то вопреки закону.

Суд назначен на 31 марта. И чем ближе этот день, тем большее напряжение охватывает Петербург. О Вере Засулич говорят и в высших сферах, и в низах, и в либеральном обществе, и в революционной среде.

Одни считают ее любовницей Боголюбова, что не мешает им интересоваться «мерзавкой», передавать из рук в руки ее фотографию. Другие преклоняются перед «ней, как перед героиней, которая пошла на жертву, чтобы смыть с общества позорное пятно.

Вера Засулич действовала сама по себе, на свой собственный страх и риск. И все-таки радикальная молодежь Петербурга — даже та, которая считает покушение ошибкой, — волнуется из-за дела Засулич так, как будто оно было ее собственным, кровным делом.

Процесс ожидается гласный, и молодежь надеется, что при гласном процессе да еще в суде присяжных прорвется, наконец, наружу на суд России, на суд Европы все, что Особым присутствием правительствующего сената до сих пор было предусмотрительно скрыто.

31 марта на Шпалерной улице с самого раннего утра собирается густая толпа. Она почти целиком состоит из молодых людей, еще не замешанных ни в чем серьезном. Не имея возможности попасть в залу заседаний законным путем, они не делают поползновений прорваться туда без билетов, но и не расходятся. Ждут приговора у подъезда в окружной суд.

Сверху из окон приемной видны мягкие широкополые шляпы, пледы, высокие сапоги.

Да что молодежь? На этот процесс и из почтенной публики удалось попасть далеко не всем, которые туда стремились. И все-таки зала переполнена. В ней все те, кого принято называть «сливками общества»: дамы самых аристократических фамилий, сенаторы, члены Государственного совета, государственный канцлер, знаменитости литературного, юридического, аристократического мира.

«...Мундиры, вицмундиры, звезды, звезды так тесно, как на Млечном Пути... Ничего серьезного, ничего обыденного», — записывает в своем блокноте известный журналист Георгий Градовский.

Это та же публика, которая заполняет собой в дни премьер ложи бельэтажа и первые ряды партера Мариинского театра. Она и сюда пришла, как на премьеру, но, судя по началу, спектакль не обещает ей ничего особенно любопытного.

Председатель суда Кони ведет дело установленным порядком. Обвинитель, исполняя данное ему предписание, отрывает поступок от вызвавших его причин и представляет покушение на Трепова как обычное уголовное преступление. Публика, видимо, скучает. Ни опрос свидетелей, ни чтение обвинительного акта, ни речь прокурора не вызывают в ней никакого интереса. В зале шепот, шелест платьев, отдельные шорохи, нетерпеливые покашливания. Но как только председатель предоставляет слово подсудимой, все замолкает.

От нее самой, из собственных уст Веры Засулич присутствующие на суде узнают, что толкнуло ее на преступление. Она говорит с такой несомненной искренностью, что трудно не поверить каждому слову. Кажется, что она не произносит речь на суде в присутствии судей и публики, а просто думает вслух.

Вера Засулич говорит, что расправу над Боголюбовым и другими арестантами восприняла как надругательство, что оно, казалось ей, «не может, не должно пройти, бесследно», и она «ждала, не отзовется ли это хоть чем-нибудь». Только убедившись в том, что «все молчало и в печати больше не появилось ни слова и что ничто не мешало Трепову или кому другому столь же сильному опять и опять производить такие же расправы... решила хоть ценой собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью».

— Я не нашла, — заканчивает она, — не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие... Я не видела другого способа... страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать.

Все взволнованы. От скуки нет и следа. И когда произносит свою речь защитник Александров, публика слушает его с напряженным вниманием. Александров не опровергает прокурора, не отрицает, что «самоуправное убийство есть преступление», не просит для своей подзащитной снисхождения. Он заявляет, что ей безразлично... «быть похороненной по той или по другой статье закона», что «она может уйти осужденной, но не уйдет опозоренной».

Защитник смело говорит о том, чего прокурор не решился коснуться, раскрывает причины, «производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников», вовремя вспоминает великий день, в который по воле правительства «розга ушла в область истории».

И публика слушает его затаив дыхание. Она узнает об юных годах подсудимой, загубленных понапрасну «в стенах литовского замка, в казематах Петропавловской крепости», узнает, что мытарства ее не кончились и тогда, когда она признана была невиновной, что после нескольких дней свободы ей, уже ни в чем не обвиняемой, пришлось познакомиться и с пересыльной тюрьмой и с жизнью под надзором.

Страница за страницей разворачивается невеселая повесть. Когда Александров доводит ее до события 13 июля и еще дальше, до того дня, когда Вера Засулич впервые узнала об этом событии, публика невольно смотрит на раскрывшуюся перед ней картину треповского произвола глазами той, для которой тюрьма была alma mater^[4], а политический арестант «товарищем юности, товарищем по воспитанию».

Публика смотрит глазами Засулич.

Защитник говорит «ее мыслями, почти ее словами», говорит, что приговор не властен, «закон не может» истребить в человеке чувство моральной чести, что позорное пятно должно быть смыто и за оскорбленное человеческое достоинство должны вступить печать, общественное мнение, правосудие.

— Но памятуя о пределах, — продолжает он, — молчала печать... из интимного круга приятельских бесед не выползло общественное мнение... Правосудие... но о нем ничего не было слышно...

Дальше, дальше... и вот уже публика узнает о блеснувшей у Засулич мысли «о, я сама!», о возникшем в ней внезапно решении собственным преступлением вызвать гласный суд, напомнить о надругательстве над Боголюбовым.

А когда защитник, заканчивая свою речь, говорит, обращаясь к судьям, что подсудимая примет их решение «без упрека, без горькой жалобы, без обиды... и утешится тем, что, может быть, ее страдания, ее жертва предотвратила возможность повторения случая, вызвавшего ее поступок», публике становится понятно, что заставило девушку, которой «страшно было поднять руку на человека», преодолеть, превозмочь этот естественный страх.

Прения сторон закончены. Теперь все взоры устремляются на председателя суда. Что скажет он в своем «напутственном слове»?

И Кони делает то, что считает своим долгом: напоминает присяжным

заседателям о беспристрастии, о снисхождении, о «голосе совести» и «духе правды, которым должны быть проникнуты все действия людей, исполняющих священные обязанности судей».

Присяжные заседатели удаляются. В зале наступает такая тишина, что сквозь закрытые окна слышен не только ропот толпы, ожидающей решения суда внизу, но и отдельные голоса.

Тишина обрывается, когда бледные заседатели возвращаются в залу. Старшина дрожащим голосом произносит слова: «Нет, не виновна», и жандармский офицер отдает конвою приказ: «Сабли в ножны!»

Публика неистовствует. Среди рукоплещущих люди, которым выражение столь бурных чувств, да еще по такому поводу, не приличествует по их положению. Завтра они опомнятся и сами себе не смогут объяснить, что вдруг на них нашло. Но это будет завтра, а сегодня волна восторга так высока, что захватывает их.

Публика рукоплещет, но те, которые пытались быть режиссерами этого спектакля, полны негодования. Они считают, что весь процесс велся преступно и главный виновник преступления — председатель суда Кони. Он ни разу не оборвал «крамольную» речь защитника и «внушил» присяжным заседателям оправдательный приговор.

Как только решение суда становится известным толпе, запрудившей всю улицу, ликование становится всеобщим. Люди, знакомые и незнакомые, обнимаются, целуются, поздравляют друг друга. Когда с лестницы спускается Александров, молодежь подхватывает его и на руках проносит до Литейного проспекта. Она охотно пронесла бы его через весь Петербург, если бы не боялась пропустить момента выхода из суда героини дня — Веры Засулич.

Но что это? Время идет, а ее все нет и нет! Настроение толпы меняется. Восторг уступает место тревоге. Тревога растет, ширится и готова, в свою очередь, смениться негодованием. Неужели обман?

Нет, все благополучно. Вера Засулич появляется, наконец, на пороге. И сразу же садится в карету. Карету со всех сторон окружает ликующая толпа, а толпу вместе с каретой окружают неизвестно откуда взявшиеся жандармы. Толпа сжимается еще более тесным кольцом. И все-таки жандармам удается сквозь нее прорваться.

Замолкают радостные возгласы, восторженные крики. И вдруг неизвестно откуда раздаются выстрелы.

В Петербурге повеяло ветром революции. Возбужденная толпа, выстрелы на улице — этого здесь не бывало со времен декабристов.

Когда Соня и ее товарищи узнают, что жандармы пытались снова

арестовать Засулич и что в наступившем переполохе, в общей сумятице ей удалось скрыться, напряжение, которое держало их в тисках все последнее время, прорывается буйной радостью. Они радуются, что выстрел Засулич заставил Россию прислушаться к голосу революции. Они в восторге от впечатления, произведенного «пропагандой фактами». Их опьяняет чувство солидарности с обществом, вера в его поддержку. Им кажется, что найден, наконец, выход из безвыходного положения.

Пусть завтра у Сони опять появятся сомнения в правильности пути, пусть завтра снова возникнут жаркие споры, сегодня она, как и все вокруг, охвачена порывом радости. Сегодня и ей кажется, что после оправдания Засулич, как после разразившейся грозы, воздух сделался чище, дышать стало легче.

Не только революционно настроенная молодежь, весь Петербург взбудоражен решением присяжных. Даже тем, которые, подобно князю Мещерскому, считают оправдание Засулич «печальным и роковым эпизодом», приходится признать, что «возмущенных этим ужасным фактом нарушения правосудия в Петербурге весьма немного», приходится говорить не только о сочувствии высшей интеллигенции «крамольникам» и «торжествующей силе крамолы», но и о «правительственном перед ней страхе».

Петербург настораживается, ждет, что будет дальше. На следующее же утро становится известно, что господам участковым приставам отдан приказ «принять самые энергичные меры к разысканию и задержанию дочери капитана Веры Засулич, освобожденной вчерашнего числа от содержания под арестом по приговору суда присяжных». А еще через день в газете «Северный вестник» появляется письмо самой Засулич, за ее подписью. Она пишет:

«Я готова была беспрекословно подчиниться приговору суда, но не решаюсь снова подвергнуться бесконечным и неопределенным административным преследованиям и вынуждена скрываться, пока не уверюсь, что ошиблась и что мне не угрожает опасность ареста».

Отданный «по высочайшему повелению» тайный приказ с быстротой молнии делается известным в Петербурге, а местопребывание Веры Засулич для полиции и Третьего отделения остается тайной.

Дни идут, но Петербург не успокаивается. Все газеты, кроме «Нового времени», которое, следуя за Катковым, утверждает, что в оправдательном приговоре виноват председатель суда Кони, воспевают героическую девушку, восхваляют решение присяжных, прославляют правосудие.

Особенное впечатление производит на всех статья Градовского.

«Мне чудится, — пишет он, — что это не ее, а меня, всех нас — общество — судят! Мне кажется, что... прокурорская речь представляет слабую попытку оправдать нас перед этим судом, и жгучие слова защиты удар за ударом, как молот по наковальне, разбивают наши надежды на оправдание...» И дальше, после описания возвращения присяжных: «... Вдруг раздался не то стон, не то крик. Разом ахнула толпа, как один человек. Точно вам не хватало воздуха, вас душило что-то, какой-то страшный кошмар, и вдруг вы стали дышать, вдруг тяжелый камень свалился с плеч. Звонки председателя, суетня судебных приставов — ничего не могло сдержать этого порыва, этого взрыва общественного сочувствия к приговору».

Соня знает, что решение суда присяжных опротестовано, что обвинители, отказавшиеся от обвинения, наказаны и в высших сферах идут разговоры о предании Кони суду. Она знает, что после напечатания статьи Градовского газете «Голос» было сделано предупреждение, знает, что номер «Северного вестника», в котором появилось письмо Засулич, был последним номером этой газеты.

И все-таки приговор присяжных показал ей, что правосудие «е всегда молчит. Аплодисменты, которыми этот приговор был встречен, доказали, что общественное мнение не всегда прячется в «тиши кабинета». Письмо Засулич, газетные статьи, такие, как статья Градовского, показали, что печать не всегда помнит о пределах.

Петербург взбудоражен до крайности, бурлит, словно река в наводнение. Не только те, которыми правят, но и те, которые правят, чувствуют, что долго так продолжаться не может. Они и во главе их «самодержец всероссийский» изыскивают средства для скорейшего и вернейшего искоренения «крамолы», делают все возможное и невозможное, чтобы снова втиснуть реку в тесное, в ненавистное ей русло.

По всему городу идут усиленные разговоры о том, что по настоянию шефа жандармов Мезенцева и министра юстиции графа Палена приговор по Большому процессу пересматривается и, конечно, не в сторону улучшения. Утверждения приговора ждут со дня на день.

«А когда он будет утвержден, — думает Соня, — с отправкой на каторгу медлить не будут. Пора действовать, но как и, главное, кому?»

Освобожденные по делу 193-х, которые поехали в провинцию, чтобы поправить здоровье и повидаться с родными, так и остались там из-за взятой с них подписки о невыезде. Та же подписка мешает что-либо

предпринять и оставшимся в Петербурге.

Многие из них подумывают о том, чтобы перейти на нелегальное положение — забыть свое имя, фамилию и начать жить по чужим документам, но не принимают пока решений, ждут утверждения приговора. Трудно поднять со дна моря я опять отправить в плавание затонувший корабль. Несмотря на все Сонины усилия, кружок чайковцев рассыпается, не успев ничего сделать. Другой народнический кружок работает в Петербурге, Соня не знает точно, кто в него входит, где его главная квартира.

— Это какие-то пещерные люди, — говорит о членах нового кружка Клеменц, — троглодиты, скрывающиеся в недоступных пещерах и расщелинах.

Основатель этого кружка — Северно-революционной народнической группы — все тот же Марк Натансон. Этот убежденный пропагандист вернулся из ссылки с новыми для себя идеями, анархическими. Народ, говорил он теперь, учить нечему, нужно только помочь ему организовать силы, чтобы сбросить вековой правительственный гнет. Народ сам несет в себе зерно, из которого вырастает социализм. Он и так, пусть инстинктивно, пусть бессознательно, склонен к ассоциациям, к федерации, к отрицанию частной собственности.

Постоянные поселения — вот что решили противопоставить летучей пропаганде члены-учредители Северно-революционной народнической группы. Централизованную всероссийскую организацию — множеству почти не связанных друг с другом кружков.

В деревнях и фабричных городах сотни молодых людей под видом учителей, фельдшеров, волостных писарей, мелких торговцев вели неустанную работу среди рабочих и крестьян. Социализм по-прежнему был их целью, но то, что они делали, не было пропагандой социализма.

Народ, считали они, надо не учить, а подымать, и не во имя абстрактных для него понятий, а во имя уже осознанных им самим интересов. «Земля и воля» — вот девиз, который казался Натансону близким и понятным народу.

В программной статье новой организации было записано:

«Во все времена, где бы и в каких размерах ни поднимался русский народ, он требовал земли и воли. Земли — как общего достояния тех, кто на ней работает, и воли — как общего права всех людей самим распоряжаться своими делами.

Вопрос же фабричный мы оставляем в тени не потому, чтобы не считали экспроприацию фабрик необходимой, а потому, что история,

поставившая на первый план в Западной Европе вопрос фабричный, у нас его не выдвинула вовсе, заменив его вопросом аграрным».

На ошибках учатся. И все-таки главных своих ошибок создатели новой организации не учли. Они по-прежнему делали ставку на крестьянский социализм, по-прежнему не признавали политической борьбы.

Когда Соне и Саше Корниловой предложили вступить в Северно-революционную народническую группу, обе они отказались потому, что надеялись еще тогда на восстановление кружка чайковцев и считали присоединение к новой организации изменой по отношению к старой. Кроме того, Соня вернулась в Петербург, когда Марк уже был арестован и руководительницей кружка осталась его жена Ольга Шлейснер. «Наша генеральша», — называли Ольгу в шутку товарищи, а Соне генеральские замашки были не по душе. Но «один в поле не воин», и, забыв личную неприязнь, она идет к Ольге Шлейснер, проникает в пещеры троглодитов и обсуждает с ними смелый план освобождения Мышкина.

В начале лета становится, наконец, известно, что приговор утвержден. И какой приговор! Мезенцев может быть удовлетворен. На каторгу отправят теперь не одного Мышкина, а тринадцать человек. Среди них Войнаральский, Ковалик, Муравский, Синегуб, Чарушин, Шишко, Рогачев.

Государь император не пожелал проявить милосердия. Из тысячи арестованных всего 193 обвиняемых, а из них один только каторжанин. Этого ему показалось мало.

Суд помиловал, царь не помиловал — такого еще не случалось.

На Сонину долю пришлось передать печальное известие тем, кто еще сидел в предварилке. Как она ни крепилась, губы ее дергались, и она едва сдерживала дрожь, когда говорила об этом. Да могла ли она оставаться спокойной, когда тем, которых она считала своими братьями, предстояли кандалы, бубновый туз на спине, все ужасы каторжных тюрем, где люди гибнут от тифа, цинги, чахотки!

Проходя на обратном пути через канцелярию тюрьмы, Соня пристально взгляделась в лицо Александра II. Он был изображен на портрете в синей шинели с бобровым воротником, в фуражке с красным околышем. Холеное матовое лицо, оттененное темными бакенбардами. Под блестящим козырьком — красивые глаза, глядящие холодным и пустым взглядом. И в первый раз за всю свою жизнь Соня почувствовала острую ненависть к этому, красивому лицу, к этим пустым и бездушным глазам.

БОРЬБА РАЗГОРАЕТСЯ



Мы создали над виновниками и распорядителями тех свирепостей, которые совершаются над нами, свой суд — справедливый, как те идеи, которые мы защищаем, и страшный, как те условия, в которые нас поставило само правительство.

С. Кравчинский

Первое сражение

Петропавловская крепость. Длинный полутемный зал. За большим столом, согнувшись над бумагами, сидят три темные фигуры в мундирах. Посреди зала-стул, на котором лежит арестантская одежда. На спинке стула висят кандалы — железная цепь с двумя кольцами.

Жандармы вводят арестанта — Ипполита Мышкина. К нему подходит человек, коренастый, маленький, в черной поддевке. К каторжанам полагается обращаться на «ты», но, взглянув на Мышкина, человек в поддевке предпочитает обходиться без местоимений.

— Сюда, — говорит он, указывая на стул. — Нужно раздеться.

Арестант подходит к столу, раздевается. Его худые голые ноги дрожат от холода. Человек в поддевке передает ему рубаху, серые штаны, серый халат с желтым бубновым тузом на спине.

— Надо сесть на пол.

Арестант садится. Человек в поддевке, наклонившись, поднимает его ноги, одну за другой, и надевает на них железные кольца.

Фигуры за столом скорчились над бумагами. Что они чувствуют, эти люди? Стыдно им? Или они совсем потеряли совесть?

Тишина. И вдруг, как на кузнице, раздается резкий, звонкий удар молотка о наковальню. И еще удар, и еще. Это заклепывают кандалы. Арестант встает, гремя цепью, спотыкается, чуть не падает.

Позорное, стыдное дело сделано: в темноте, в тишине, в молчании.

Арестанта уводят во двор и сажают в карету. Лошади трогают.

На улицах еще пусто. От Невы несет утренней свежестью. Какой-то высокий господин в цилиндре догоняет на паре рысаков тюремную карету, пристально в нее всматривается и говорит своему кучеру:

— На Николаевский вокзал.

Соня сидит за столиком в буфете Николаевского вокзала. В буфете накурено, пахнет рыбой. Перед нею стакан с давно остывшим чаем. Официанты, проходя мимо, бросают на нее неодобрительные взгляды.

— Берут стакан чаю, булочку за пяточок, а сидят целый час.

За стеной, сотрясая здание, подъезжает поезд. На платформе движение. Хлопают двери. Гремят тележки с багажом. Проходят, торопясь, толстый генерал в шинели на красной подкладке, дама с тремя носильщиками, гвардейский офицер.

Соня волнуется. До сих пор никаких известий. Но вот к столику подходит высокий господин, черноволосый, с большим лбом и резкими расходящимися от переносья темными бровями. Приподнимая цилиндр, он говорит на ходу одно только слово: «Повезли».

Подождав минуту, Соня встает. Сейчас должно решиться.

Один отряд ждет Мышкина у вокзала, другой — на платформе. Соня идет на платформу и, проходя мимо товарищей, делает условленный знак.

Поезд на Москву подан. Мимо Сони пробегают пассажиры, носильщики. Проходит пять, десять, пятнадцать минут. Стрелка круглых стенных часов ползет все дальше и дальше. «Неужели Кравчинский ошибся?»

Товарищи нервничают. Один из них, проходя мимо, вопросительно поднимает брови. Соня едва заметно пожимает плечами.

Сторож подходит к медному колоколу и берется за веревку. Первый звонок. Второй. Начинается прощанье.

Вдруг толпа раздвинулась, показались жандармские каски. Соня всматривается в арестантов. Нет, не те. Чужие, незнакомые лица.

Третий звонок. Свисток кондуктора. Поезд трогается. Соня, опустив голову, едва сдерживая слезы, уходит с платформы. Она столько раз представляла себе это утро. Видела радостное лицо освобожденного друга. Неужели конец? Неужели этому не суждено сбыться?

Третье отделение после ареста Чепурновой приняло свои меры.

Жандармы перехитрили революционеров — сделали то, что до сих пор никогда не делали: в то время как товарищи Мышкина следили за пассажирскими поездами, они увезли его на товарном.

Соня ни с кем не разговаривает, не ест, не спит. Теперь она решила отбить Мышкина на пути из Харькова в Центральную каторжную тюрьму. Тихомиров по ее просьбе выезжает в Харьков выяснить местные возможности, но почему-то задерживается там. Она еще до его возвращения узнает, что Мышкин уже в Централке, и из ее планов опять ничего не вышло.

Соня встретила Тихомирова так сурово, что он постарался не попадаться ей больше на глаза. Ему-то легко. Он может убежать от нее, а от себя самой не убежишь. Но предаваться тоске тоже некогда. Предстоит отправка в Харьков следующей партии каторжан. Дежурства на вокзале установлены теперь и на пассажирской и на товарной станциях. В Харьков послан боевой отряд.

На этот раз Соне самой удалось проследить за отправкой товарищей сначала из Петербурга, потом из Москвы и, наконец, из Курска. Везут их

под многочисленным конвоем с величайшей таинственностью.

Летний вечер. Улицы Харькова полны гуляющих. После душного дня приятно побродить по оживленным улицам, зайти в городской сад, где под запыленной листвой гремит военный оркестр и аллеи устланы разноцветным ковром из конфетти.

У подъезда клуба — длинный ряд экипажей. В ларьках, заваленных сверху донизу ягодами, теплятся свечи.

Господин в светлом пальто и щегольской шляпе останавливается на перекрестке. У него вид состоятельного человека, помещика, приехавшего в город на ярмарку. Кончики усов закручены кверху, и небольшая бородка красиво расчесана на две стороны..

Посмотрев направо и налево, господин поднимается на крыльцо небольшого особняка. Хорошенькая горничная открывает ему дверь.

Все в порядке. Все чинно и благородно. Городовой в белых перчатках отдает честь проезжающему полицмейстеру. Седоусый полицмейстер орлиным взглядом окидывает улицу и прохожих. Он спокоен. В его царстве все в полном порядке.

А в это время в особняке, мимо которого проезжает полицмейстер, между господином в светлом пальто и девушкой, которая только что открыла ему дверь, происходит странный разговор.

Эта девушка — Соня Перовская. Господин в светлом пальто — один из ее новых товарищей — Александр Михайлов.

— Я их предупредил, — говорит он. — Варенников и Квятковский залягут под насыпью и будут следить за поездом. Потом Квятковский побежит сюда, а Баранников тем временем будет закладывать лошадей. Сегодня-ночью нам много спать не придется.

— Я не отойду от окна, — говорит Соня.

— Напрасно. Надо беречь силы. Раньше двух поезд не придет.

Михайлов вышел. Соня подошла к окну и распахнула его. В комнату ворвался нестройный шум, шарканье десятков ног по тротуару, голоса. Дом стоял на перекрестке, и в угловое окно были видны сразу три улицы. Благодаря этому окну жандармы не могли войти в дом незамеченными так, чтобы нельзя было приготовить им достойную встречу.

Соня была довольна: время, которое она потратила на то, чтобы проследить за отправкой каторжан, ее новые товарищи тоже не потеряли даром. Они заблаговременно купили на ярмарке четырех лошадей, линейку и костюм жандармского офицера. Те, которые ведали лошадьми, — Фроленко, Адриан Михайлов и Фомин — поселились на постоялом дворе

под видом управляющего именем, его приказчика и кучера.

Кроме этой «конспиративной» квартиры, о которой знали только те, кому это было крайне необходимо, они сняли еще одну, «центральную». В нее ничего не стоило проскользнуть в любое время дня и ночи совершенно незаметно. И это в данном случае имело большое значение: ведь она предназначалась для хранения оружия и для общих собраний.

Всем командовал Александр Михайлов. Соня, которая всегда была против «генеральства», на этот раз не возражала. Она понимала, что в таком большом и сложном предприятии необходима строжайшая дисциплина.

Уже в Петербурге Соня изменила свое мнение о троглодитах. Здесь же, в Харькове, видя новых товарищей изо дня в день, она не могла не признать, что такими работниками, как они все и особенно Александр Михайлов, может гордиться любая организация.

Впрочем, в освобождении каторжан принимали участие не одни только троглодиты. Из чайковцев, кроме Сони, в освободительном отряде были Николай Морозов и примкнувший в последние годы к южным бунтарям Михайло Фроленко. Привлекли к этому делу и Марию Николаевну Ошанину, которая не принадлежала ни к какой организации и слыла «заклятой централисткой».

Дело освобождения сблизило самых разных людей.

Теплые капли дождя упали на выступ за окном. За первыми каплями упало еще несколько. Скоро крупный летний дождь застучал по стеклам, по листьям тополей, сразу запахло мокрой травой. Улицы опустели.

Соня закрыла окно, потом ставни, подошла к столу, взяла с этажерки книгу, легла на диван и попробовала читать. Но из слов, которые она прочитывала, фраз не получалось. Ее мысли были далеко.

Дождь стучал по ставням ровно, монотонно, не утихая и не усиливаясь. Соня представила себе степь, железнодорожное полотно. В кустах две темные фигуры — Квятковский и Варенников. Они лежат. Все на них промокло насквозь. Вдруг вдалеке гудок, три огня, вереница освещенных вагонов. Последний вагон с решетками на окнах. Там спертый воздух, полутемно. На скамьях арестанты в серых халатах, в кандалах. Рогачев, Ковалик, Войнаральский и Муравский.

Баранников и Квятковский вскакивают. Бегут за поездом. Соня с ними. Она уже схватилась за поручни, одно колено на площадке, и вдруг с площадки к ней наклоняется зверское, грубое лицо в каске. Жандармы отрывают ее руки от холодного, мокрого железа. А под ногами быстро несущиеся назад шпалы. Еще мгновение — и она падает, теряя сознание.

Соня проснулась, вскочила. Прошла по комнате. Сердце билось, как бешеное. Прошло всего пять минут, а ей показалось, что она спала очень долго. Раздался условный стук. Соня побежала к двери. Вошел Михайлов.

— Пальто промокло? — спросила Соня.

— Нет, ничего, только патроны отсырели.

Он вынул из кармана револьвер, переменял патроны, потом сел рядом с Соней. Они заговорили о том, что их больше всего волновало, — о четырех товарищах, которых везут сейчас в арестантском вагоне.

— Мне вспоминается, — сказал Михайлов, — одна славянская легенда. Смелый четник, сражавшийся за народную свободу, томится в турецкой тюрьме. Отец и мать плачут, убиваются. Но они не могут его спасти. Молодая жена с утра до ночи льет слезы, но и она не может освободить мужа из темницы. Узнают об этом товарищи-четники. В ненастную ночь, может быть, в такую же, как эта, они врываются в тюрьму, убивают стражу и выводят друга на волю.

— Нет чувства, — подтвердила Соня, — более высокого, чем чувство дружбы. Я это поняла на суде. Знать, что все заодно и готовы жизнь отдать друг за друга, — это огромная радость.

— Зато одиночное заключение еще тяжелее для тех, кто, как мы, высоко ценит дружбу, товарищество.

— Лучше виселица.

В два часа пришел Морозов. И только под утро Квятковский.

— Привезли, — сообщил он, входя в комнату и едва переводя дух, — двоих отправили в тюремный замок, а остальные ждут лошадей в почтовой конторе. Их отправят не позже чем через час.

— Морозов, беги к себе! — распорядился Михайлов. — Фроленко и Баранников за тобой заедут. А мы с Фоминым сейчас же выедем верхом на Змиевскую дорогу.

Морозов схватил фуражку и выбежал вместе с Квятковским.

Снова потянулись минуты и часы. Соня должна была терпеливо ждать, пока на квартиру привезут освобожденных, а ей гораздо легче было бы чего-нибудь делать, действовать. Товарищи решили, что участвовать в нападении — не женское дело. И опять, как в детстве, она думала с досадой: «Зачем я не родилась мужчиной?»

Вот если бы кто-нибудь оказался раненым, а это вполне могло случиться, ведь предстояло нападение на вооруженный конвой, — нашлась бы работа и для нее и для Марии Николаевны Ошаниной. Обе они привезли на всякий случай вату, бинты и множество лекарств.

Наконец раздался такой же стук, как первый раз. Вошли Александр

Михайлов, потом Баранников, высокий смуглый-офицер, похожий лицом на кавказского горца.

— Пропустили, — сказал он мрачно. — Мы ждали на Змиевской дороге, а их повезли по Чугуевской.

— Всех? — спросила чуть слышно Соня.

— Нет. Войнаральский еще в замке. Увезли троих.

— Надо было ждать посередине между Змиевской и Чугуевской дорогами, — сказал Михайлов, принимаясь ходить взад и вперед по комнате. — Вначале они идут почти параллельно. Войнаральского сегодня уже не повезут, поздно. Повезут завтра. Попробуем освободить хотя бы его одного.

— А Муравский, а Рогачев! — У Сони на глазах показались слезы. — Нет, завтра не должно быть никаких ошибок. Надо обдумать все до мельчайших подробностей.

Ранним утром к тюремному замку подъехал верховой. Он завел лошадь в переулок, привязал ее к изгороди, а сам уселся на краю дороги, вынул хлеб, колбасу и принялся завтракать. Солнце было еще совсем низко. Проехал на ленивых волах длинноусый старик, похожий на Тараса Шевченко. Ребятишки затеяли игру на самой дороге.

Часовой у ворот замка вылез из своей полосатой будки и стал ходить взад и вперед, разминая ноги. Вдруг ворота отворились. Верховой поспешно отвязал лошадь и вскочил на нее. Из ворот выехала тройка. В бричке сидели жандармы, напротив них человек в арестантском халате — Войнаральский.

Верховой бешеным галопом промчался мимо перепуганных ребятишек и исчез в облаке пыли.

А в это время за городом, в степи, остановилась у белой хатки линейка. В линейке, если не считать ямщика, двое: жандармский офицер и человек, похожий на приказчика, в вышитой рубахе и высоких сапогах.

Ямщик и приказчик возятся у колеса. Офицер покуривает папиросу, глядя по сторонам.

Дряхлая бабка вышла из хаты и смотрит. Что там у них? Видно, поломалось что-то. Вдруг вдали показался верховой. Машет красным платком. Кричит: «На Змиевскую дорогу!»

Старуха обомлела, рот разинула. Ямщик влез на козлы, хлестнул лошадей. Приказчик на ходу вскочил в бричку. Затарахтели колеса по сухой земле. Поднялась пыль. И нет больше ни тройки, ни верхового.

Жандармская бричка быстро катит по дороге. Войнаральский жадно

вдыхает свежий воздух. Давно он не видел степи и не скоро ее опять увидит.

«Убегу, — думает он. — Или разобью голову с стены. Два раза не удалось убежать, авось в третий удастся».

Из проселка выехала на большую дорогу тройка, за ней верховой; в линейке двое. «Что это? Да ведь это Баранников и Фроленко!»

Сердце в груди Войнаральского забилося. Но он и глазом не моргнул. «Вот сейчас начнется, — думает он... — Товарищи не забыли, выручают».

Один из жандармов — черноусый, с красивыми наглыми глазами — рассказывал другому длинную историю.

— И вот, братец ты мой, пошел я к Дуняше и говорю: «Дуняша, как же это ты, такая-растакая...»

«Когда же, наконец, — думает Войнаральский, — чего они ждут? Почему не начинают?»

И вдруг кучер передней тройки осадил лошадей. Баранников в форме жандармского офицера выскочил из брички и вышел на середину дороги.

— Стой! — крикнул он громким голосом. — Куда едешь?

— В Новоборисоглебск, ваше благородие, — ответил жандарм, поднося руку к козырьку.

«Б-бах!» — выстрелил в него Фроленко. Пуля проскочила мимо.

— Что тут? Что это? — крикнул жандарм.

Но Баранников не дал ему опомниться. Выхватив из кобуры револьвер, он выстрелил в него в упор. Жандарм свалился на дно повозки. Испуганные лошади разом дернули и помчались.

— В погоню! — крикнул Фроленко.

Баранников вскочил в линейку. Кучер хлестнул лошадей.

Квятковский, который был впереди, уже скакал навстречу жандармам. Но лошадь вдруг заартачилась, поднялась на дыбы. Жандармская тройка промчалась мимо. Квятковский в бешенстве рванул поводья, вонзил в бока своего коня шпоры и понесся вдогонку, целясь в жандармских лошадей.

Убить лошадей! Иначе не остановить. На всем скаку Квятковский стреляет из револьвера. Все шесть зарядов выпущены один за другим. Но израненные лошади мчатся еще быстрее. Оставшийся в живых жандарм отстреливается, обернувшись назад.

В ужасе отбегают в сторону прохожие. Бросают косы косари в поле. В облаке пыли, как смерч, несутся одна за другой две тройки.

Что же Войнаральский? Почему он не выпрыгнет на ходу из брички? Войнаральский не может выпрыгнуть. Рябой жандарм шпагой пригвоздил его кандалы ко дну брички. И в третий раз свобода убегает от него,

подразнив и поманив, как в насмешку.

Лошади Квятковского и Фроленко выбились из сил. Нет, не догнать, не отбить товарища. Вдали показалось село, оно все ближе и ближе. Вот уже околица, пруд, церковь. Кучер осаживает взмыленных лошадей. Сражение проиграно.

И вот, наконец, возвращаются товарищи, запыленные, измученные. Едва шевеля пересохшими губами, они рассказывают свою грустную повесть. Но Соня безжалостна.

— Это позор, — говорит она, — зачем не гнались дальше? Зачем давали промахи? Это постыдное дело.

И головы товарищей склоняются все ниже и ниже.

Соня, в наброшенном на голову платочке, в нарядном переднике, следит на вокзале за отправкой поезда. Все спокойно. Она с облегчением вздыхает. Теперь им нужно сразу же, не теряя ни минуты, выбираться из Харькова: ведь стоит только властям проведать о вооруженном нападении на конвой, как вся жандармерия будет поднята на ноги.

Прежде чем дать товарищам знак, что можно садиться в поезд, она на всякий случай еще раз оглядывает перрон и вдруг видит, как из-за колонны выходят два рослых жандарма и быстрым шагом направляются прямо к тому месту, где стоит Фомин.

Предупредить Фомина уже нельзя. Соня в отчаянии. Мало того, что никого не удалось спасти, не обходится и без новых потерь. Не думая о собственной безопасности, она бежит в противоположную сторону, к лестнице, ведущей на платформу, и едва успевает сказать двум другим товарищам, чтобы они подобру-поздорову уносили ноги.

В суете, которая всегда бывает перед отходом поезда, никого не удивляет молоденькая горничная, бегущая не к поезду, а от поезда.

«Билет потеряла или деньги вытащили, — думают люди. — Много тут в толчее всякого народу. Зевать не приходится».

В ближайшие дни выехать из Харькова нет никакой возможности. На вокзале дежурят не только жандармы, но и дворники тех домов, из которых внезапно исчезли жильцы. Проходит некоторое время, и жандармы, решив, что злоумышленники удрали, прежде чем была установлена слежка, становятся менее бдительными. Маленький отряд осторожно, по одному, по два человека покидает Харьков.

Петербург продолжает бурлить. Да что Петербург, вся страна словно в лихорадке. Правительство передает политические дела в военные суды,

восстанавливает смертную казнь, вооружает винтовками полицию, создает сельскую полицию — урядников.

Освобожденных по делу 193-х хватают пачками и по приказу шефа жандармов Мезенцева отправляют в Восточную Сибирь. Немудрено, что те из них, которых не успели вновь арестовать, торопятся перейти на нелегальное положение, уходят в подполье.

В Одессе Ковальский, чтобы дать товарищам время уничтожить типографский шрифт, встречает жандармов выстрелами. Он первый оказывает вооруженное сопротивление, его первого судят военным судом и первого приговаривают к смертной казни.

— Не забывайте, господа судьи, — заканчивает свою речь в суде защитник Ковальского, — что эшафот, обогранный кровью такого преступника, приносит совсем не те плоды, которые от него ожидают пославшие осужденного на казнь...

В тысячную толпу, собравшуюся на Рулевой улице у входа в военный суд, сверху из зала заседаний летит графин. Это условный знак, по которому толпа узнает о приговоре. Раздаются крики протеста против смертной казни. И громче и звонче других звучит голос четырнадцатилетней гимназистки Виктории Гуковской.

Солдаты стреляют в толпу. Из толпы стреляют в солдат. Стоны, крики, раненые, убитые. В сумятице не понять, кто в кого выстрелил первый. Толпа разбегается, но через несколько минут собирается снова.

В открытом ресторане, у лестницы, двумястами ступеней спускающейся к морю, как всегда, полно народу. По приморским аллеям, тоже как всегда, прогуливаются не спеша бесконечные пары.

И вдруг здесь случается то, чего никогда еще не бывало. Перед всей этой публикой внезапно появляется негодующая многоголосая толпа, и срывающийся детский голос, опять поднимаясь над другими голосами, призывает эту праздную, эту беспечную публику присоединиться к протесту против казни борца за народное дело.

В публике находятся добровольцы, которые хватают четырнадцатилетнюю девочку и тащат в участок. Демонстранты кидаются к ней на помощь. Общая свалка, драка. Но вот появляется пристав с командой городских, потом казаки. Толпа рассеивается.

Демонстрация произвела огромное впечатление. В Петербург несется запрос: приводить ли приговор в исполнение?

Грандиозностью демонстрации напуганы и в Петербурге. В Одессу выезжает петербургский градоначальник, которому самой высокой властью даны особые полномочия. Шеф жандармов генерал-лейтенант Мезенцев

уведомляет управляющего министерством внутренних дел, что «государю императору благоугодно было повелеть назначить под председательством статс-секретаря Валуева... особое совещание для обсуждения тех мер, которые необходимо принять против подпольного социалистического кружка, избравшего театром своих действий города Киев, Харьков и Одессу, именуемого исполнительным комитетом русской социально-революционной партии». И дальше уже от себя, что на заседании будет рассмотрено решение Одесского военно-окружного суда по делу Ковальского.

Письмо Мезенцева, несмотря на сделанную его рукой пометку «весьма секретно», попадает вскоре на страницы подпольной революционной газеты, а в примечании к этому письму говорится (что заседание, «назначенное на 4 августа, не состоялось по причине неприбытия всех его членов»).

27 июля на первом заседании особого совещания шеф жандармов генерал-лейтенант Мезенцев утверждает решение Одесского военно-окружного суда. 2 августа приводится в исполнение смертный приговор над Ковальским, а 4 августа на людной площади среди бела дня исполняется смертный приговор над самим шефом жандармов генерал-лейтенантом Мезенцевым.

Заключительные слова адвоката Бардовского, защитника Ковальского, на суде оказались пророческими.

Кем был вынесен приговор шефу жандармов, гадать не пришлось. В изданной подпольной типографией брошюре Сергея Кравчинского «Смерть за смерть» черным по белому написано:

«...мы объявляем во всеобщее сведение, что шеф жандармов ген. ад. Мезенцев действительно убит нами, революционерами-социалистами. Объявляем также, что убийство это как не было первым фактом подобного рода, так и не будет последним, если правительство будет упорствовать в сохранении ныне действующей системы.

Мы — социалисты. Цель наша — разрушение существующего экономического строя, уничтожение экономического неравенства...

Само правительство толкнуло нас на тот кровавый путь, на который мы встали... Оно довело нас до этого своей цинической игрой десятками и сотнями жизней».

В числе предъявленных шефу жандармов обвинений были меры, принятые против заключенных, объявивших в Петропавловской крепости голодовку, отмена сенатского приговора по процессу 193-х, введение административной ссылки в Восточную Сибирь. Политических мотивов

своих действий Сергей Кравчинский — исполнитель приговора и автор брошюры — не видит. «Давайте или не давайте конституцию, — заявляет он презрительно, — призывайте выборных или не призывайте, назначайте их из землевладельцев, попов или жандармов — это нам совершенно безразлично». А дальше в той же брошюре самым непоследовательным образом выдвигает политические требования правительству: «Мы требуем свободы слова и печати, мы требуем уничтожения административного произвола, восстановления суда присяжных для политических преступлений и полной амнистии для политических преступников».

В брошюре «Смерть за смерть» отразилась путаница понятий у революционеров того переходного времени. Фактически уже вовлеченные в политическую борьбу, они в сознании своем оставались и, главное, считали своим долгом оставаться верными прежним принципам.

Поздний вечер. На весь вагон один огарок в фонаре над дверью. Огарок оплыл, покосился набок. Желтое пламя чернит копотью и без того грязное стекло.

Темно, тесно и душно. На полу пятна от пролитого чая, яичная скорлупа, арбузные семечки. С полок, со скамеек торчат руки спящих пассажиров.

Только в служебном отделении не спят. Там трое: два жандарма и Соня Перовская. Жандармы, сдвинув колени, играют в дурачка при тусклом свете фонаря. Коричневые от грязи карты то и дело валяются с колен на пол. Соня не отрываясь смотрит в окно.

«Как это все быстро произошло! — думает она. — Харьковская неудача. 2 августа известие о казни Ковальского. 4 августа крики газетчиков: «Убийство шефа жандармов!» Не надо было этого делать. Таких, как Мезенцев, у них много. Вот этот толстый жандарм напротив легко может его заменить. А если Кравчинского арестуют?.. Нет, об этом страшно и думать... Но оставить Мезенцева безнаказанным тоже нельзя было. Каждый должен отвечать за свои поступки».

— Опять в дураках останешься, — говорит один из жандармов и зевает, прикрыв рот пятеркой карт. — Дурак и есть!

— А ты-то больно умный, — отвечает второй. — На-ка, выкуси!

— Эка невидаль — король! А мы его тузом.

— Кабы я знал, собачий сын, что у тебя туз, я бы тогда...

И это часами. А колеса все стучат и стучат. Соне кажется, что она всю жизнь в дороге. Не успела приехать в Приморское — и опять обратно. Всего один вечер удалось ей провести с матерью и братом в маленьком

домике на взморье. На другое же утро — полицейское управление, галантный жандармский офицер и неожиданное, как удар по голове, известие о ссылке в Повенец.

— Но ведь я по суду оправдана, — пробовала защищаться, она.

— Ничего не могу поделывать. Распоряжение из Петербурга.

Поезд приближается к Волхову. Жандармы рассчитывают, что выгодней: ехать ли поездом до Петербурга и там сесть на пароход или же сойти на станции Волхов?

— По красненькой в кармане останется, — говорит толстый. — А тебе-то и невдомек. Я, брат, сразу смекнул.

— Ежели по красненькой, говоришь, то отчего ж, можно...

— Дурак ты, вот что! Кабы не я, тебе бы и ввек в голову не пришло, а у меня котелок в порядке.

«Вот когда надо попытаться», — мелькнуло в голове у Сони.

Всю дорогу она обдумывала план бегства. Но до сих пор ей попадались добродушные жандармы, и она не хотела их подвести, а эти грубые, тупые.

— Собирайся, — сказал толстый жандарм. — Выходить будем.

Она надела пальто, закуталась в платок и взяла свой чемоданчик. За окном замелькали огоньки. Промчалась назад какая-то будка, сторож с фонарем. Поезд замедлил бег.

Станция Волхов. Толстый жандарм пошел впереди, за ним — Соня, сзади — второй жандарм. На платформе народу почти не было. Вошли в зал третьего класса. Там на полу и на скамьях спали люди в ожидании поезда на Москву. Толстый жандарм остановил какого-то железнодорожника и спросил, когда отходит пароход.

— Утром в шесть часов двадцать минут, — ответил железнодорожник, с любопытством поглядывая на Соню.

— Эх, чтоб тебя! — сказал толстый жандарм, почесывая затылок. — Где же нам переночевать? Надо сходить к начальнику станции.

Пошли к начальнику станции. Пока толстый жандарм вел-переговоры, Соня рассматривала висящее на стене расписание. «Поезд на Москву в два пятнадцать, значит через два с половиной часа».

Начальник станции приказал отвести жандармам дамскую комнату. Прошли через зал первого класса. Там было пусто. Соня старалась запомнить расположение дверей. Зашли в дамскую комнату.

— Ложись, — сказал ей толстый жандарм, указывая на диван.

Она легла, накрылась своим пальто и сжалась в комочек. Толстый жандарм запер дверь на замок и сел на стул около самой двери. Худой

расстелил на полу у порога шинель и улегся.

Соня заметила, что ключ остался в замке. Она повернулась к стенке и притворилась спящей. За стеной шумели деревья. Было холодно, неуютно... Наконец раздался храп. Один из жандармов заснул — тот, вероятно, который улегся на пол. Соня подождала немного, повернулась на другой бок, как будто во сне. Из-под края платка она могла следить за жандармами.

Худой лежал на спине, запрокинув голову, и храпел. Его длинная жилистая шея с выступающим кадыком была похожа на шею только что оципанного гуся. Толстый жандарм дремал на стуле.

Соня приподнялась, отодвинула пальто. И вдруг — пронзительный гудок паровоза над самым ухом. Толстый жандарм встрепенулся и открыл глаза, но она уже лежала притаившись. Жандарм прочистил горло, сплюнул, отер усы и устремил глаза на потолок. Через секунду его голова опять опустилась на грудь.

Прошло пять, десять минут. Соня сняла ботинки и встала, не спуская глаз с толстого жандарма. Но он не просыпался.

Теперь надо было действовать быстро. Она придала своему пальто и другим вещам вид спящей фигуры, накинула на голову платок и, взяв в руки ботинки и небольшой узелок, который заранее приготовила, пошла босиком к двери.

Вот и дверь. Соня остановилась над спящим на полу жандармом и протянула руку к ключу.

И вдруг опять резкий, пронзительный, бесконечно долгий гудок товарного поезда. Она замерла с протянутой рукой. Толстый жандарм поднял голову, пробормотал что-то и опять захрапел.

У Сони отлегло от сердца. Не теряя ни секунды, она повернула ключ, толкнула дверь и перешагнула через распростертое тело жандарма. В зале никого не было. Соня притворила дверь — и побежала. Еще миг, и она на перроне. Перрон — длинный, темный, пустынный. Показался вдали какой-то человек — вернее, ноги человека в высоких сапогах. Верхнюю часть тела нельзя было в темноте разглядеть. Соня притаилась за столбом. Человек прошел — вероятно, сторож: железнодорожная фуражка.

Соня дошла до конца перрона и направилась к железнодорожному мосту. Внизу от тихой реки несло сыростью. Соня спряталась под мостом, усевшись на какие-то перекладины. Вдруг голос:

— Ты чего тут?

К ней шел все тот же человек в железнодорожной фуражке.

— Я, дяденька, сейчас, — сказала Соня тонким певучим голосом и

вышла из своего убежища. Сторож сурово посмотрел на нее.

— Ну, проваливай отсюда!

Соня быстро пошла к станции. А навстречу ей уже плыл огненный треугольник — три огня паровоза. Московский поезд пришел. Она спряталась в палисаднике у станции. И только когда прозвенел третий звонок, подбежала к последнему вагону и вскарабкалась на подножку.

Поезд тронулся. Соня вошла в вагон, улеглась на скамейке у двери и накрылась с головой платком. В вагоне все спали, и никто не обратил на нее внимания.

— Ваш билет! Предъявите билет!

Соня вскочила. Прямо ей в лицо светил фонарь; Обер-кондуктор, высокий, широкоплечий, стоял над ней, как суровая статуя.

— Билет давай! — сказал обер-кондуктор.

— Чего? — спросила Соня. — Какой билет?

— Да что ты, в уме или нет? Билет, говорю, давай!

— Да мне, дяденька, недалеко, — сказала Соня. — Я, дяденька, к тетке Матрене еду. Тетка у меня больна.

— Вот полоумная! Да где же ты села?

— На станции, дяденька, на станции села.

— Ах, чтоб тебе! Высадить ее на первой станции. За спинкой скамейки послышались смех и чей-то густой бас:

— Вот глупая баба! Все мы на станции сели. И куда таких черт несет! А ведь тоже хотят на машине, пешком ходить не любят. Хо-хо-хо!

На ближайшей станции Соню высадили. Она наняла в деревне телегу и поехала в обратном направлении. Доехав до Чудова, она взяла билет, села в поезд и благополучно приехала в Петербург.

Поколесив по петербургским улицам, переменив несколько извозчиков и убедившись, что за ней не следят, Соня уже пешком направилась к Забалканскому проспекту. Прежде чем зайти во двор дома Сивкова, где снимала квартиру Малиновская, она незаметно огляделась вокруг и, почти не поднимая головы, взглянула на окно второго этажа.

Все оказалось в порядке: за ней никто не шел, а знак безопасности — горшок с цветком стоял на условленном месте.

Соне открыла дверь смуглая девушка с необычно длинной и необычно черной косой. В свое время фотографии обвиняемых по политическим делам печатались чуть ли не во всех газетах, и Соня сразу, узнала участницу московского процесса Ольгу Любатович, которой первой удалось совершить побег из Сибири. А Ольга поняла, что перед ней Софья Перовская. Она знала и о Сонином участии в процессе 193-х и об ее

последнем аресте. Девушки обнялись и невольно заговорили на «ты».

Кроме Любатович, Соня встретила в доме Сивкова свою приятельницу по Аларчинским курсам Софью Лешерн и Коленкину, подругу Веры Засулич. Хозяйки, квартиры — Александры Малиновской — не было дома. Но все вокруг напоминало о ней: и наспех прибранные полотна, и заброшенный мольберт, и кисти, и краски. Малиновская — художница, и это было очень удобно для явочной квартиры. Даже дворник, которому полагалось знать обо всем, что делается в доме, и тот до поры до времени не обращал внимания на проходящих к ней людей, считая их заказчиками картин.

Заживо погребенная

Не успела весть о Сонином аресте и ссылке в Повенец обойти всех ее друзей, как навстречу ей, наперерез ей разнеслась другая, радостная весть: «Перовская бежала, Перовская в Петербурге!»

Через каких-нибудь два часа скромная квартира в доме Сивкова наполнилась народом. Туда поспешили все те, кому хотелось пожать Сонину руку, сказать ей несколько добрых слов. Одним из первых пришел ее приветствовать Сергей Кравчинский. Рядом с ним, мужественным и широкоплечим, она казалась девочкой-полуребенком, и все-таки в его отношении к ней чувствовалось сдерживаемое поклонение.

— Это замечательная женщина, — говорил он не раз. — Ей суждено совершить что-нибудь крупное.

Кравчинский казался веселым. Но веселье это было не настоящее. Товарищи успели рассказать Соне, сколько раз он выходил навстречу Мезенцеву, прежде чем решился, наконец, совершить покушение. Им не пришлось объяснять ей, что причина не в недостатке храбрости. Она слишком хорошо знала, что храбрости, притом самой отчаянной, у Кравчинского было даже слишком много. Она понимала, что с таким добрым сердцем, как у него, нелегко стать убийцей. Если бы не казнь Ковальского, он, может быть, и не решился бы взяться за свой кинжал.

Соня была так счастлива, что снова среди своих, так взволнована встречей, что ее на какое-то время даже покинула свойственная ей сдержанность. Глазами, излучающими радость жизни, каким-то особенным оживлением она невольно приковывала к себе взгляды.

В кругу Сониных друзей не принято было обращать внимание на внешность, но сейчас все хором заговорили о том, как она удивительно похорошела, как ей к лицу черное платье и белый отложной воротник.

Черное платье! Белый воротник! Соня залилась смехом. Да ведь уже несколько лет, как она ничего другого не надевала и всю свою страсть к чистоте и аккуратности вкладывала в заботу о том, чтобы воротник был всегда ослепительной белизны, чтобы на черном, тщательно отглаженном платье не виднелось ни одной пылинки. Вот и сейчас, до прихода гостей, рассказывая Любатович, Лешерн и Коленкиной обо всем пережитом, она успела не только помыться и почиститься, но и выстирать, просушить и прогладить воротник.

О своих приключениях и злоключениях Соне пришлось вспоминать

весь вечер. Каждый вновь приходящий требовал, чтобы она заново рассказала историю своего побега. Она говорила главным образом о внешней стороне события, подчеркивала все то забавное, смешное, что в нем было. Слушатели дополняли ее рассказ собственным воображением. Они-то хорошо понимали, сколько понадобилось хладнокровия, находчивости, бесстрашия, чтобы сделать то, что она сделала.

С особенным волнением и восхищением прислушивалась к Сониным словам институтка Вера Малиновская. Среди молодежи, собиравшейся в комнате ее сестры, Вера была самая юная. Люди, которых она здесь встречала, разговоры, которые слышала, поражали ее, производили на нее глубокое впечатление.

Но товарищи заговорили между собой по-настоящему откровенно только после ее ухода.

Радостное оживление покинуло Перовскую сразу, как только Кравчинский начал читать вслух отрывки из рукописи «Заживо погребенные». Автором этой рукописи был Долгушин, один из заживо погребенных в Харьковском Белгородском центре.

Долгушин писал о каторжной бездеятельности, еще более тяжелой, чем каторжный труд; о больных, которых никогда не переводят в больницы; об умирающих, закованных в кандалы; об одиночках, «которые не более как ряд каменных мешков для живых людей»; о карцерах, «тесных, как могила, даже слишком тесных для мертвеца среднего роста: живые могут поместиться согнувшись»; дальше — о терпении, доведенном до предела; о голодном бунте; о машинках, насильно наполняющих людей пищей; об обещании исполнить требования голодающих и еще дальше о том, что обещания эти не были исполнены.

Чуть ли не на каждой странице в сносках указывалось, с кем и когда произошел тот или другой случай. И эта почти протокольная точность усиливала впечатление от прочитанного, заставляла верить каждому слову. Соня с трудом сдерживала слезы. Ее поразило, что эти несчастные шли на голодную смерть, чтобы добиться для себя не чего-нибудь особенного, а только того, что полагалось по закону даже грабителям, убийцам, профессиональным разбойникам: отмены одиночного заключения, дозволения работать в мастерских, дозволения получать передачи.

Напрасно Кравчинский еще и еще раз повторял ей, что Мезенцев жизнью заплатил за совершенные им преступления. Соня не слушала его, не хотела слушать и успокоилась немного только тогда, когда стала уже деловым образом обсуждать возможность освобождения каторжан, и не одного, а всех сразу, на этот раз из самого Центра.

Соня с радостью умчалась бы в Харьков в тот же вечер, но она не могла этого сделать: паспортному бюро «Земли и воли», так называемой «небесной канцелярии», нужно было время, чтобы раздобыть или в крайнем случае сфабриковать для нее подходящие документы.

С той минуты, как Соня вырвалась из рук жандармов, она волей или неволей должна была переходить на «нелегальное положение».

Перовская осталась в Петербурге на несколько дней и эти несколько дней не потеряла даром. Прежде всего она вступила в общество «Земля и воля» и сделала все что могла, чтобы свести своих старых друзей — чайковцев со своими новыми товарищами — землевольцами.

Землевольцы — так назывались теперь те, которых Клеменц прозвал когда-то в шутку троглодитами, — обещали Соне в ее предприятии помощь и деньгами и людьми.

Общество «Земля и воля» с каждым днем становилось многочисленнее и сильнее. Под его знаменем собирались постепенно рассеянные по всей стране революционные кружки. Про Марка Натансона говорили, что он собиратель земли русской, и то же самое с не меньшим правом можно было сказать сейчас об Александре Михайлове. Его мечтой было создать мощную всероссийскую организацию.

Сонино вступление в «Землю и волю» обошлось без торжественных обрядов: чайковцы считались людьми проверенными, и их принимали без голосования. Мало того, день, когда кто-нибудь из них вступал в общество, Александр Михайлов считал для себя и для всей организации праздничным днем.

Свой последний вечер в Петербурге Соня провела в Мариинском театре. Она столько пережила с тех пор, как была здесь с Варварой Степановной, Машей и братьями, настолько изменилась сама, что ее даже удивило как-то, что в театре все осталось неизменным, застыло точно в сказке о спящей красавице.

Чтобы не возбудить к себе подозрений, Соня и те, которые должны были отныне стать ее семьей: Варенников, Адриан Михайлов, Кравчинский, Ольга Натансон, Любатович, Обошешев, Морозов, Коленкина, — устроились не на галерке, среди студенческой молодежи, а в литерной ложе.

Товарищи часто то в шутку, то всерьез обвиняли Соню в консерватизме, и она сама чувствовала, что не умеет быстро привыкать к людям. Она понимала, что у ее новых товарищей много деловых и личных достоинств, но ей были ближе друзья те самые, недостатки которых она

знала наизусть: Кравчинский, прославившийся не только поразительным бесстрашием, но и полной непрактичностью, Морозов, в котором, кроме готовности отдать жизнь за народ, оставалось еще много мальчишеского задора.

Даже тут, в этой праздничной обстановке, Соня не могла отрешиться от привычного круга мыслей, забот, сомнений. Но вот началась увертюра, и музыка по-своему направила Сонины мысли: заставила ее ждать подъема занавеса с еще большим нетерпением, чем когда-то в детстве.

Собраться перед Сониным отъездом всей компанией в ложе Мариинского театра, послушать вместе оперу Мейербера «Пророк» было идеей Кравчинского, и идеей отчаянной. Если бы Александр Михайлов знал об этом походе, всем им досталось бы за нарушение конспирации.

Но непрактичный Кравчинский на этот раз рассчитал правильно: никому из полиции, которой собралось много и в самом театре и возле театра, не пришло в голову, что «злоумышленники» решатся на такой дерзкий шаг.

— Спасибо, Сергей, — сказала Соня, прощаясь с Кравчинским у театрального подъезда, — я этого вечера никогда не забуду.

Ни он, ни она не представляли себе тогда, что эта встреча в театре была их последней встречей.

Вокзал. Поезд. И опять вокзал. Освобождение большого числа заключенных — задача нелегкая, и на этот раз Соня устраивается в Харькове надолго. Она прописывается по чужим документам и под чужой фамилией поступает на акушерские курсы. Свидетельство об окончании фельдшерских курсов, выданное на имя дочери статского советника Софьи Перовской, теперь, когда Софья Перовская сама отказалась от звания, фамилии, имени, теряет для нее все свое значение. И, уезжая из Петербурга, она по совету Михайлова сдает его в архив «Земли и воли».

У Сони нет уверенности в том, что она сумеет воспользоваться свидетельством об окончании Харьковских акушерских курсов. Ей очень хорошо известно, что людям, вступившим на тот путь, на какой вступила она, часто приходится менять свои имена. Но свидетельство это, хоть оно и очень пригодилось бы Соне для устройства в деревне, для нее сейчас не главное. Она поступает в Харькове на курсы потому еще, что хочет поближе сойтись с местной передовой молодежью, и действительно, вскоре ей удастся создать кружок интеллигентной революционно настроенной молодежи.

Удается ей, правда не так скоро и не так легко, наладить связь и с

рабочими. Когда она впервые пригласила к себе одного из них, Ивана Окладского, он спросил нерешительно:

— А ничего, что к вам, к барышне, будут ходить простые люди?

Но через какое-то время Соня добивается того, что рабочие перестают в ней видеть барышню и сами приглашают ее на свои собрания.

Занятиям в кружках она отдает только вечерние часы, а днем слушает лекции, готовится к экзаменам, проходит практику в больнице, присутствует, когда полагается, на операциях.

Харьковская городская больница. Операционная. Соня среди других курсисток затаив дыхание следит за каждым движением знаменитого хирурга. Операция идет под наркозом. В операционной тишина.

И вдруг не с операционного стола, а откуда-то сбоку раздается стон, хрип, потом грохот. Соня видит, что человек, который несколько минут назад давал больному наркоз, сам лежит на полу с запрокинутой головой, с отвисшей челюстью.

Хирург не может внезапно прервать операцию, сестра тоже не может отойти от операционного стола. Соня, не раздумывая ни одной секунды, бросается к лежащему на полу человеку, выволакивает его в коридор и, к удивлению и восхищению окруживших ее курсисток, сама оказывает ему первую помощь, собственными силами приводит его в сознание.

И раньше Соня старалась на курсах быть такой, как другие, а теперь, после того, как она невольно обратила на себя общее внимание, ей приходится еще больше следить за своим поведением. Обнаруживать слишком много знаний для нее небезопасно.

«За менее важные преступления лица, находящиеся на каторжном положении, приговариваются к шпицрутенам до 8 тысяч ударов, к плетям до 100 ударов, к розгам до 400 ударов».

Такова арифметика «Правил для заключенных в каторжных тюрьмах». Сборник задач, в которых требуется подсчитать число ударов шпицрутенами, плетями, розгами. Какой дьявольский мозг изобрел эти правила? И что творят за каменными стенами каторжных тюрем на основании этих «Правил»? Соня не могла об этом думать без содрогания. Вырвать этих людей из их могил — вот мысль, которая овладела ею всецело.

Шаг за шагом идет она к этой цели: изучает во всех деталях план Централки, наблюдает за ней.

Голодовкой заключенные не добились того, чего требовали, но все-

таки она привела к некоторому послаблению режима. Соне удастся завязать знакомство с жандармами и даже с одним из надзирателей, удастся наладить передачу заключенным белья и провизии.

Заключенные мерзнут в жестких и тонких халатах, и вот Соня бегает по магазинам в поисках теплого белья, подолгу роется у прилавка в груды фуфаяк и чулок, выбирая самые теплые и самые прочные. Заключенные болеют от ужасной однообразной пищи, и Соня старается в каждую передачу всунуть несколько яблок, лимонов, кружок сыра, десяток сельдей, табак.

Поначалу все идет хорошо. Врачом в Централку удалось устроить брата жены Осинского. Через него и через мать Дмоховского, которой в виде исключения разрешены свидания с сыном, Соня устанавливает тесную связь с заключенными.

Устроить своего человека во вражеской крепости — большая удача. Соня прилагает все силы к тому, чтобы устроить туда еще одного «своего человека». Обстоятельства ей благоприятствуют. Она узнает, что в канцелярии Централки скоро освободится вакансия, и через своих друзей-землевольтцев раздобывает не фальшивый, а самый настоящий, вполне благонадежный паспорт.

Приехавший к ней Фроленко опять собирается в дорогу. Он едет за Эндоуровым. Соня не прочь была бы поехать вместо Фроленко сама, ведь Эндоуров все еще живет в Приморском. Но она прекрасно понимает, что показываться там, где ее продолжают разыскивать, было бы непростительной неосторожностью.

С тех пор как Соня перешла на нелегальное положение, переписка по почте стала для нее мучением. Хоть она и получает и посылает письма на чужие адреса, ей все-таки приходится писать туманными намеками. Письмо, переданное из рук в руки человеком, которому можно верить, для нее теперь само по себе большая радость.

Кроме письма, она отправляет родным посылочку, в которую вкладывает все, что ей самой кажется особенно вкусным и что себе она никогда не покупает, считая излишней роскошью.

Проводив Фроленко, Соня берется за поиски подходящего убежища для беглецов. Вывести людей из тюрьмы — это только полдела; нужно еще суметь их как следует спрятать.

Первым долгом она разыскала Ковальскую.

— Я меньше всего ожидала, что увижу именно вас! — вскричала Елизавета Ивановна, бросаясь навстречу гостье. — Меня предупредили только, что придет очень молоденькая девушка, которая с рабочими как

своя.

— Мне уже двадцать шестой год, — сказала Соня, улыбаясь, — а меня все еще считают очень, даже слишком молоденькой. Может быть, как раз из-за этого рабочие не решались дать ваш адрес, а мне и в голову не пришло, что вы рискуете жить под собственным именем, да еще в собственном доме.

— Я на полулегальном положении: живу под своим, а работаю под чужим именем, — объяснила Елизавета Ивановна. — Но, что привело вас ко мне? Просто как вы бы ни за что не пришли.

Соня и правда не собралась бы к Елизавете Ивановне просто так, для своего удовольствия. Она засмеялась и тут же поторопилась объяснить, что именно привело ее на этот раз.

— Согласитесь ли вы, — спросила она, понизив голос, — предоставить ваш хутор в Белгородском уезде на тот случай, конечно, если предприятие с освобождением каторжан закончится удачей?

Елизавета Ивановна дала свое согласие, не задав ни одного вопроса. Так полагалось: каждый должен был знать в подробностях только то, что было поручено лично ему.

Разговор, как это всегда бывает после долгой разлуки, стал перескакивать с темы на тему. Елизавета Ивановна вспомнила о последних событиях в Петербурге, потом заговорила о напряженной обстановке в самом Харькове.

— Здесь, да и вообще на юге, — сказала Соня, — есть люди, которые головы своей не пожалеют ради революции, но они связаны только личным знакомством и действуют вразброд. Это вредно.

Дружба, личное знакомство и для самой Сони всегда очень много значили, но за последние месяцы она все больше убеждалась в том, что без дисциплины крепкую организацию не создашь, а без крепкой организации ничего по-настоящему ценного не сделаешь.

Елизавета Ивановна спросила, приходится ли ей встречаться с кем-либо из их сопроцессников.

— Я их всюду разыскиваю, — ответила Соня. — Меня просто поражает, как быстро многие из них превратились в обывателей. А впрочем, это, пожалуй, к лучшему. Яснее стала грань между людьми, преданными народному делу, и теми, которые увлеклись им из подражания.

Узнав, что Соня ищет работу, Елизавета Ивановна не только удивилась, но и возмутилась.

— Вы при вашей занятости ищете работу для заработка! Да неужели у ваших товарищей не найдется средств, чтобы обеспечить вас? Ведь ваш

ригоризм известен всем.

— Я сама чувствую себя лучше, — возразила Соня, — когда не трачу на себя средств, необходимых для дела.

В комнату вошла мать Елизаветы Ивановны, и подруги перевели разговор на воспоминания об Аларчинских курсах.

Через короткое время Соня попрощалась и ушла. Ей хотелось поскорее выяснить, возможно ли будет воспользоваться хутором. Она не представляла себе, насколько велико расстояние между ним и Централкой.

После Сониного ухода госпожа Ковальская, улыбаясь, сказала дочери:

— Вот первая из всех твоих знакомых, которая мне понравилась. Такое милое, чистое лицо, так и влечет к себе.

— Таких людей, как она, мало, — с готовностью согласилась Елизавета Ивановна и, не называя Сониного настоящего имени, принялась рассказывать, как самоотверженно и деликатно Соня приходит на помощь всем тем, кто в этой помощи нуждается.

— Она любому может служить опорой, — закончила Елизавета Ивановна свой рассказ. — А ей самой опора не нужна.

Через несколько дней утром, едва только Сониная соседка по комнате ушла на работу, раздался стук в дверь. На пороге комнаты появился улыбающийся Фроленко.

— Смеею доложить, что мы с Эндоуровым прибыли в твоё распоряжение, — отрапортовал он с шутливой торжественностью и передал Соне небольшой ящик и, главное, письма — большую пачку писем.

Все шло как нельзя лучше. Соня даже засмеялась от радости. Она не рассчитывала, что Эндоуров соберется с такой быстротой. Но не успела она вскрыть посылку и получить ответы на половину своих вопросов — ей хотелось знать все о родных, о доме, — как опять услышала стук.

На этот раз пришел Эндоуров. Поздоровавшись с Соней мельком, словно они только вчера виделись, он принялся торопливо рассказывать о случившемся с ним ночью неприятном происшествии. На беду, он попал в гостиницу, когда в ней была облава. Кого искали, он не понял, но паспорта отобрали у всех, и у него в том числе.

— Мне приказано, — сообщил он, — явиться за паспортом в участок к десяти часам. Я пришел посоветоваться, что делать.

— Выручать паспорт, — сказала Соня. — Лучшего не достанешь.

Фроленко подтвердил, что паспорт в полном порядке, и если о нем даже запросят по месту выдачи, ответ будет самый успокоительный.

Эндоуров направился в участок, а Соня между тем сварила большую кастрюлю картофеля и поставила на стол присланные ей Варварой Степановной домашние соленья, копченья и варенья.

Фроленко улыбнулся:

— Ты, кажется, собираешься накормить полк солдат. Жаль, что я уже успел позавтракать.

Но то, что он успел позавтракать, не помешало ему тут же съесть все, что Соня щедрой рукой положила на его тарелку.

Фроленко был смелый и жизнерадостный человек. Он ни при каких обстоятельствах не терял аппетита и, что бы ни случилось, засыпал сразу, как только клал голову на подушку. Всего несколько месяцев назад ему удалось с помощью Валериана Осинского без единого выстрела не только вывести из тюрьмы живыми и невредимыми сразу трех товарищей, но и самому скрыться.

Соня до сих пор знала, историю этого чудесного освобождения только в общих чертах. А сейчас, чтобы скоротать время, Фроленко рассказал ей во всех подробностях о том, как с фальшивым паспортом поступил сторожем на тюремные склады, как оттуда попал в тюремные надзиратели и дослужился, наконец, до того, что его назначили ключником сначала у уголовных, а потом и у политических.

То, что Фроленко взялся участвовать в Сонином предприятии, наполняло ее верой в победу.

В рассказах и разговорах время шло, а Эндоуров все не возвращался. Фроленко стал поглядывать на часы.

— Участок в двух шагах, — сказал он. — Его, наверно, видно отсюда.

Соня, как ни тревожно было у нее на душе, рассмеялась.

Из окна можно было увидеть только ноги, а по ногам нелегко отличить друга от врага.

— В том, что ты живешь в подвале, — произнес Фроленко серьезно и даже наставительно, — нет ничего смешного. От сырости добра не будет.

— Брось, Михаил, — возразила Соня. — О моем здоровье волноваться не приходится. А комната эта и в конспиративном отношении удобна и стоит совсем дешево.

Прошел час, потом другой. Соня встревожилась не на шутку.

— Неужели, — сказала она, — мы своими руками толкнули товарища в тюрьму?

Фроленко промолчал. Мысли и у него были невеселые. Прошло еще полчаса. И когда они оба уже перестали ждать, Эндоуров вдруг вернулся смущенный и взволнованный. Он рассказал, что почувствовал недоброе,

как только другим постояльцам гостиницы вернули паспорта, а его почему-то заставили ждать пристава.

— Мои подозрения, — сказал он, — превратились почти в уверенность, когда я, увидев на столе у пристава конверт с надписью «Секретно», угадал в нем свой паспорт с приказом об аресте. Может быть, я и ошибаюсь, — добавил он через несколько мгновений, — но мне не хотелось что бы то ни было решать одному. В участок и сейчас вернуться не поздно — пристав еще не пришел.

И Соня и Фроленко сомневались в том, что подозрения Эндоурова достаточно обоснованы. Но послать товарища прямо в лапы полиции у них тоже не хватило решимости. В тот же вечер они отправили его обратно в Крым.

Уехал нужный человек. Пропал хороший паспорт. Новый такой же Соне достать не удалось. А через несколько дней, узнав, что должность в Централке занята, она и хлопотать о нем перестала.

У разбитого корыта

С того дня, когда уехал Эндоуров, все, что Соне удалось наладить, вдруг начало разлаживаться. Прежде всего выяснилось, что у врача, на которого возлагалось столько надежд, был обыск. Обыск, правда, окончился ничем, но действовать сейчас, после того как его взяли на подозрение, он, конечно, не мог.

Соне необходимо было предупредить об изменившихся обстоятельствах самих «централистов». Она надеялась снестись с ними при помощи матери Дмоховского, но из этого ничего не вышло. Дмоховской ни с того ни с сего отказали в свиданиях с сыном, а еще через какое-то время ее, мать Виташевского и жену Долгушина выслали из Харькова.

Передать в Централку записку через жандармов на этот раз тоже оказалось невозможным. Чем напряженнее становилась обстановка в городе, тем неподкупнее делались жандармы.

Соня решила обратиться за помощью к Ковальской. Она надеялась, что Елизавета Ивановна, которая в Харькове свой человек, сможет и захочет ей помочь. Но и из этого ничего не получилось. Жандармское управление установило за Ковальской слежку, и ей необходимо было немедленно исчезнуть.

Соня организовала отъезд Елизаветы Ивановны в Чернигов, снабдила ее рекомендательными письмами, а сама осталась в Харькове у разбитого корыта.

Скрепя сердце обратилась она за подмогой к товарищам по «Земле и воле». Она чувствовала, что им не до ее планов. Понимала, что все происходящее в Харькове — лишь слабое отражение того, что творится в Петербурге.

Петербург похож на осажденную крепость. На углах улиц — казачьи посты. Полиции предписано разгонять с помощью местных гарнизонов и команд «скопища народу», не допускать «сходбищ и сборищ», «пресекать в самом начале всякую новизну, законам противную».

С вечера до утра, все ночи напролет — а ночи осенние, темные, длинные — рыщут по петербургским улицам жандармы. Они ищут убийцу Мезенцева, пытаются найти тайную типографию. Право арестовывать дано теперь любому жандармскому офицеру, любому полицейскому. И все-таки обысков и арестов так много, что и полицейские и жандармы сбиваются с ног. Но все напрасно. Убийца Мезенцева по-прежнему на свободе.

Типография не только не обнаружена, но даже на след ее не удастся напасть.

На письме исполняющего обязанности шефа жандармов генерал-лейтенанта Селиверстова, в котором он излагает свои соображения по поводу подпольной типографии, есть пометка, сделанная собственной рукой его величества: «Стыдно, что до сих пор не могли ее открыть».

Генерал-лейтенант Селиверстов не оправдывает возложенных на него надежд, и на место шефа жандармов его величество назначает генерал-адъютанта Дрентельна. Новый шеф жандармов с жаром берется за розыски, но и ему поначалу ничего не удается добиться. Он предпочел бы утверждать, что листовки засылаются эмигрантами, а типография находится вне пределов досягаемости — за границей.

Но старая версия при новых обстоятельствах оказывается явно несостоятельной: быстрота, с которой нелегальная пресса откликается на все события дня, с непреложной ясностью доказывает, что типография в Петербурге. Ведь стоит только произойти какому-либо событию, как сразу же на стенах домов, на решетках садов, в парадных подъездах, в почтовых ящиках — всюду, всюду появляются прокламации. И это несмотря на то, что полиция со всем рвением следит за «благонаравием и благочинием столицы».

И самое удивительное то, что все эти воззвания, судебные приговоры, предостережения и манифесты читают про себя, потихоньку и те, которые громко, вслух, больше других возмущаются «анархистами».

Эти листовки, по словам князя Мещерского, «читают не только в обществе, но и в правящих сферах точно так же, как двадцать лет перед тем читали Герцена — с благоговейной трусливостью».

Общество, которое с равнодушным любопытством относилось к арестам студентов в пледах и стриженных курсисток, бьет тревогу теперь, когда Третье отделение, взяв на подозрение все молодое поколение, огулом хватает по ничтожнейшему доносу юношей и девушек, часто совсем непричастных к революционному делу, и держит их в тюрьмах, не предъявляя никаких обвинений «впредь до рассмотрения дела».

Мало кто в Петербурге осенью 1878 года может быть уверен, что на него самого или на кого-нибудь из близкой ему молодежи нет доноса. К наговорам прислушиваются, доносам дают ход. Не мудрено, что их становится все больше и больше.

Доносы строчат, чтобы получить денежную награду или повышение по службе, чтобы свести личные счета. Доносами завалено и полицейское управление и Третье отделение. Есть доносчики, которые обращаются

лично к шефу жандармов, а есть такие, которые метят еще выше: направляют свои доносы «его императорскому величеству, в собственные руки».

И его императорское величество собственной рукой делает пометки на анонимных доносах и, пользуясь советами анонима, руководит арестами. В одном письме-доносе царь подчеркивает двойной красной чертой фамилию «Малиновская». По его поручению генерал Черевин посылает из Ливадии в Петербург депешу с приказом подвергнуть живущую близ Царскосельского (вокзала рисовальщицу Александру Малиновскую аресту.

И жандармы приходят на Забалканский проспект в ту самую квартиру, где Соня нашла приют в свое последнее пребывание в Петербурге.

Коленкина встречает незваных гостей выстрелами. Она хочет выиграть время, чтобы дать Малиновской возможность уничтожить поддельные печати, настоящие и фальшивые документы.

Через несколько ночей на квартире у Оболенева арестовывают его самого, Ольгу Натансон, Адриана Михайлова. А при обыске захватывают корректурные листы первого номера «Земли и воли» и «художественно-артистическое», по определению экспертов Третьего отделения, «паспортное бюро».

Землеволицы, оставшиеся на свободе, не могут понять, что знает Третье отделение и откуда знает. Но так или иначе они должны установить связь с арестованными. Легче всего это сделать через родственников. И вот Вера Малиновская получает десятки записок. Товарищи сестры назначают ей свидания в разных концах Петербурга.

Вера Малиновская не отвечает на записки, не приходит на свидания. Она больше не принадлежит себе. Ее вызывают для многочасовых допросов в Третье отделение, с нее в самое неожиданное время снимают допросы на дому.

Эта девочка не отдает жандармам, а бросает в печь полученные ею записки. Она отрекается от знакомства с людьми, которых хорошо знает, не называет никаких имен, не признает никого в предъявленных ей фотографиях. И все-таки именно от нее Третье отделение узнает то, что ему до сих пор никак не удавалось узнать.

В письме, полученном императором в Ливадии, есть такая фраза: «Для будущего времени, если что надобно узнать от Веры Малиновской, тогда прежде всего хорошо допросите со стороны полиции, причем она полиции хотя может сказать неправду, но после, через доверенную ее старушку, по этому поводу легко и удобно вызывается к открытию истины». Фраза эта подчеркнута красным карандашом. И против нее написано: «Следует

попробовать. Генерал-майору Комарову сообщить».

Анонимный доносчик не только руководит арестами, но и направляет следствие. В одном из его писем во всех подробностях рассказывается история Сониного побега. На этом письме есть резолюция шефа жандармов Дрентельна: «Проверить, был ли такой случай?»

Неутешительные вести приходят из Петербурга в Харьков. Соня знает: разгромлена главная квартира «Земли и воли», арестовано несколько самых деятельных ее членов. Оставшиеся на свободе посылают ей изредка деньги, но в присылке людей отказывают — людей мало.

Она понимает, что дела центра обстоят плохо, но насколько плохо, представляет себе с полной ясностью только после того, как Михаил Попов — Родионыч, так его называют товарищи, — показывает ей полученное им от Александра Михайлова письмо.

«Продайте все, что можно продать, — пишет Михайлов, — и поспешите в Петербург! Мы разгромлены. Нет ни людей, ни средств».

Прочитав эти строки, Соня уже не спрашивает Родионыча, что заставило его, ярого «деревенщика», уехать в Петербург.

Родионыч заезжает в Харьков всего на несколько дней, чтобы укрыть где-нибудь в его окрестностях. Баранникова. Теперь, когда арестован Адриан Михайлов, другой участник мезенцевского дела, положение Баранникова становится рискованным.

— А Сергей, а Кравчинский? — с тревогой спрашивает Соня.

И, к успокоению своему, узнает, что Сергея Кравчинского петербургские товарищи чуть ли не насильно переправили за границу.

Соня чем может помогает Родионычу в его деле, а потом, проводив его, опять принимается за свое. Она пытается завязать новые связи с Централкой, собственными силами раздобыть необходимые средства: общество «Земля и воля» не в состоянии теперь поддерживать ее деньгами.

Режим в стране становится еще суровее, и это прежде всего отражается на Централке. Туда назначают людей, которые славятся жестокостью. Сонины начинания срываются одно за другим. Она работает за четверых. Ей помогают несколько человек, но массовое освобождение требует много людей и много денег. Недели проходят за неделями, а заключенные между тем сходят с ума, погибают от цинги и чахотки.

Соня не опускает рук. Она деятельна, предприимчива и не только перед посторонними, но и перед самыми близкими делает вид, что она такая же, как прежде, как всегда. Но это днем, а ночью она дает волю своему отчаянию и плачет, уткнувшись лицом в подушку. Ее соседка по комнате притворяется спящей, делает вид, что ничего не слышит. Она

знает: Соня человек замкнутый и не любит делиться своими переживаниями.

Соне кажется, что тяжелая туча нависла над ней и навсегда закрыла от нее солнце. Чуть ли не каждый день газеты приносят известия об арестах, вооруженных столкновениях, казнях.

«24 января в Киеве на Крещатике арестован преступник, известный под именем Валериана, оказавшийся сыном генерал-майора Валерианом Осинским, проживавшим совместно с Софьей Лешерн фон Герцфельд. Осинский и Лешерн оказали вооруженное сопротивление, причем Лешерн в упор два раза выстрелила в полицейского чиновника, но последовали две осечки».

Лешерн. Выдержанная, спокойная. Видно, правда другие пути заказаны, если такие, как она, принялись стрелять в полицию. А Осинский? Соне вспомнилось, как он забежал как-то утром совсем неожиданно в квартиру Малиновской и, не раздеваясь, в пальто и шапке, прочел вслух правительственное распоряжение о предании отныне военному суду всех обвиняемых в государственных преступлениях. Он кончил читать и глубоко задумался. Предчувствовал ли он тогда, что один из первых падет жертвой этого распоряжения?

А через несколько дней там же, на улицах Киева, настоящий бой: шестьдесят выстрелов с той и другой стороны, И в конце концов типография революционеров взята, двое революционеров убиты, несколько ранено.

Почти одновременно выстрелы прозвучали совсем близко — в Харькове. Ночью, в двенадцатом часу, к карете губернатора подбежал неизвестный. Он схватился за дверцу и выстрелил в окно кареты. Лошади помчались. Неизвестный упал от толчка, потом вскочил и скрылся в темноте. И сейчас же вслед за убийством губернатора в городе появились прокламации. В них сказано, что этот выстрел — месть за ужасы Харьковского централа.

Соня задним числом узнала, что автор прокламаций и «неизвестный», совершивший убийство губернатора Кропоткина, одно и то же лицо — Григорий Гольденберг.

Глубокая ночь. Соня просыпается, как от толчка. Свет уличного фонаря падает сквозь окно на каменный пол. Сониная комната в подвальном этаже похожа на сводчатую келью.

Ее мучают воспоминания, тяжелые мысли. Того ли она хотела? Ей трудно поверить, что все это было когда-то: школа, больница, занятия с рабочими. Тогда она была счастлива, чувствовала, что делает благородное,

хорошее, нужное дело. А сейчас — все эти убийства, этот выстрел в окно кареты! Когда всеми этими приговорами и приведением их в исполнение занимались от имени несуществующего, выдуманного на страх врагам «исполнительного комитета» люди, не имеющие отношения к организации, Соня могла смотреть на все, что они делали, со стороны. Теперь же, когда организацию покушения взяла на себя «дезорганизационная группа» самой «Земли и воли», Соня чувствовала свою ответственность за каждое дело.

Ей казалось, что она и мечтать не имеет права о «чистой», бескровной революционной работе теперь, когда ее товарищи, которых она считала не хуже, а лучше себя, решились взять на свою совесть убийства. Она верила: они не виноваты, их заставили стать убийцами; и все-таки ей было бесконечно тяжело.

Соне вспомнился Кравчинский такой, каким она видела его в Петербурге у Малиновской, — нервный, возбужденный. Видно было, что он еще не оправился от тяжелого душевного потрясения. Нелегко ему далось это убийство. Недаром он так часто подчеркивал, что встретил своего врага — Мезенцева — лицом к лицу и ударил его кинжалом не сзади, а спереди.

Кто-кто, а Мезенцев действительно был их врагом. Это он настоял на том, чтобы царь отказался смягчить приговор по делу 193-х. Это из-за него томятся сейчас в каторжной тюрьме Сонины друзья. Перовская вспоминает своих друзей, и боль снова пронзает ей сердце. «Неужели ничего не выйдет? Неужели придется оставить их погибать?»

Идея цареубийства носится в воздухе. В Петербург приезжает из Саратовского поселения Соловьев. Он говорит Александру Михайлову, что хочет одним ударом разрубить гордые узел — совершить покушение на царя.

О покушении на царя говорят с тем же Михайловым по отдельности Григорий Гольденберг и Людвиг Кобылянский. Михайлов решает всех троих свести вместе, чтобы они сами договорились между собой, как действовать.

Место встречи — трактир. За столом, кроме Михайлова, еще двое землевольцев, сочувствующих цареубийству, — Зунделевич и Квятковский. Михайлов и Квятковский молчат. Зунделевич произносит всего несколько слов:

— Поляку Кобылянскому и еврею Гольденбергу, — говорит он, — неудобно братья за это дело, потому что решили они его сами, а отвечать за них будут народы.

— Александр мой, — заявляет Соловьев, — и я никому его не

уступлю.

На войне как на войне. Борьба с каждым днем становится ожесточеннее. Со всех концов России в Харьков доходят вести не только о новых арестах, новых приговорах, но и о новых покушениях, вооруженных сопротивлениях, вооруженных, нападениях на конвой.

У каждого убийства свое, отдельное объяснение: как не уничтожить шпиона, который грозит всей организации? Как не броситься на выручку товарищам, не отомстить за них по крайней мере? Как не постоять за революционную честь, не показать правительству, что белым террором оно не добьется ничего, кроме красного террора? Объяснений много, причин — бесконечное число, но вывод из них почему-то всегда один и тот же: террор. И это несмотря на то, что в теории «Земля и воля» по-прежнему не признавала политической борьбы, не признавала политического террора.

Не все, что делается вокруг, понятно Соне, убежденной стороннице революционного просвещения масс. Не все укладывается у нее в голове. Ей хочется понять, что произошло за несколько месяцев, проведенных ею вдали от Петербурга. Она думает, что, живя на отлете, оторвалась от товарищей, и с жадностью расспрашивает тех из них, которые время от времени с разных сторон приезжают в Харьков.

Но товарищи ее, даже те, которые оставались в Петербурге, в самой гуще событий, смотрят на одно и то же отнюдь не с одной и той же точки зрения.

Поздний вечер. Керосиновая лампа освещает колеблющимся светом стол, уставленный бутылками, бутербродами, и гостей, сидящих вокруг стола. Гости пьют чай с традиционным кренделем, но разговоры, которые они ведут, совсем не похожи на обычные именинные разговоры.

Празднование именин — только более или менее удачный предлог для того, чтобы собрать сразу в одной комнате Большой Совет — всех находящихся в Петербурге членов тайного общества «Земля и воля». Из конспиративных соображений люди говорят вполголоса, но то, что издали кажется застольной беседой, в действительности — ожесточенный спор. Спор этот давнишний. Он начался не в этот вечер, и не в этот вечер ему суждено закончиться.

«Деревенщики» в ужасе от быстрого роста террора, в ужасе оттого, что не умеют, не могут поставить ему предел. Их пугает, что террор из средства самозащиты превращается в средство нападения, и то, что должно было быть всего лишь частью дела, непомерно выросло и стремится

превратиться в главное, основное. А «дезорганизаторы», вернее — те из них, которых уже начинают называть «террористами» и «политиками», обвиняют своих товарищей в отсутствии логики, в неумении или нежелании доводить мысль до ее логического конца.

— Нельзя, — утверждает Михайлов, — признавать террор по отношению к исполнителям приказов — шпионам, жандармам — и не признавать его по отношению к тем, от кого эти приказы исходят.

Развивая эту мысль дальше, Михайлов приходит к выводу, который, кажется ему, напрашивается сам собой: «За российские порядки должен отвечать тот, кто сам не хочет с кем-либо делить ответственность, — самодержец всероссийский».

— Не все решается логикой, — возражает ему Попов. — Царь в глазах народа — освободитель. А то, что он вынужден был пойти на реформы, что сейчас он не лучше Николая, поймет историк, народ не поймет.

Плеханов поддерживает Попова. Ему ясно: покушение на царя вызовет новую волну белого террора. Удастся оно или не удастся — им всем придется срывать налаженную работу, прикрывать типографию и подброду-поздорову выбираться из Петербурга.

— Под влиянием ваших затей, — говорит он, обращаясь к сторонникам цареубийства, — организация вынуждена покидать одну за другой наши старые области деятельности подобно тому, как Рим покидал одну за другой свои провинции под напором варваров.

Но «варвары», на которых не действует его красноречие, выдвигают в защиту цареубийства все новые и новые аргументы. Одни утверждают, что, убивая самодержца, убивают самую идею самодержавия; другие — что даже неудавшееся покушение дает возможность добиться от царя порядков, при которых, наконец, станет возможной работа в народе.

Каждый по-своему оправдывает то, к чему его неудержимо влечет. Неразбериха, путаница. И самое удивительное то, что в одной и той же голове практические планы отдельных террористических актов великолепно уживаются с теоретически обоснованным отрицанием политического террора. Они пошли бы в народ, если бы верили по-прежнему, что смогут вызвать крестьянское восстание, но этой веры у них больше не было. Нетерпеливый деятельный характер, пылкий темперамент втягивают в террор и тех людей, которые не согласны с ним по существу.

Страсти разгораются. Люди забывают не только о правилах конспирации, но и о мало-мальском благоразумии; время от времени из общего гула вырываются отдельные голоса.

Михайлов с трудом добивается тишины. Но когда он сам сообщает

присутствующим, что некто, имени которого он не уполномочен назвать, просит довести до общего сведения, что пойдет на цареубийство без помощи организации и в крайнем случае даже против ее воли, подымается настоящая буря.

— Господа, если среди нас возможны Каракозовы, — чуть ли не во весь голос кричит Попов, — поручитесь ли вы, что завтра из нашей среды не явится и Комиссаров, тоже не стесняясь тем, как к его намерению отнесется организация?

— Если этим Комиссаровым будешь ты, Родионыч, — с запальчивостью отвечает Квятковский своему лучшему другу, — то я и тебя застрелю!

— Тише! Тише! — умоляет хозяйка квартиры то одного, то другого.

Спорящие приглушают голоса, но спор от этого не стихает. Один из «деревенщиков» заявляет, что готов предупредить письмом то лицо, на которое готовится покушение.

— Это донос! — восклицает Квятковский. — Мы с вами будем поступать как с доносчиками.

— То есть как? — грозно вопрошает Попов. — Если вы собираетесь нас убивать, то знайте, что мы стреляем не хуже.

Большинство присутствующих: Зунделевич, Морозов, Михайлов, Фроленко — на стороне Квятковского.

Ссора разгорается. Голоса становятся все громче, и вдруг, перекрывая нарастающий шум, раздается резкий, повелительный звонок. Сомнения ни у кого нет: обыск, провал. Так звонить, да еще среди ночи, могут только жандармы. На несколько мгновений наступает тишина, которую прерывает спокойный голос Михайлова.

— Господа, — говорит он, — мы, конечно, будем защищаться.

— Разумеется, — подтверждают все без исключения и взводят курки своих револьверов.

Конец у этого трагически начавшегося эпизода был самый комический. На лестничной площадке, к общему смущению и радости, вместо вооруженного отряда жандармов оказался дворник, который на этот раз пришел без злокозненных намерений.

Ложная тревога принесла действительную пользу. Во всяком случае, заседание после нее приняло, наконец, мирный характер. Пережитое, хоть и понапрасну, волнение заставило всех сильнее почувствовать свою сплоченность. Разногласия, конечно, остались разногласиями, но людям стало стыдно того лишнего, что они наговорили друг другу в пылу спора.

Большой Совет вынес решение: «Земле и воле» как организации в

покушении не участвовать, поскольку оно не предусмотрено программой. А для выяснения дальнейшего направления деятельности — созвать съезд.

Всем присутствующим стало ясно, что спор идет, не об одном террористическом акте, не о тактических изменениях, а о пересмотре программы: о том, ввести или не ввести в программу политическую борьбу.

2 апреля Александр Соловьев подстерег царя на Миллионной улице, около Зимнего дворца, и несколько раз выстрелил в него из револьвера. Царь, подобрав полы шинели, бросился к ближайшему подъезду. Бежал он не по прямой, а зигзагами. Это и спасло ему жизнь. Все пули, кроме первой, которая слегка продырявила царскую шинель, пролетели мимо.

Соловьева схватили. Дальше все пошло так же, как и после выстрела Каракозова. Во дворце был устроен импровизированный выход. В театрах перед началом спектаклей стали петь, «Боже, царя храни», в газетах — писать о «подлых, злоумышленниках», в церквях — служить молебны и славословить бога за «чудесное спасение».

Тем временем Соловьева провели через следствие, потом через суд, приговорили к казни и привели приговор в исполнение.

Реакция свирепствовала. В четырех губерниях назначены были генерал-губернаторы, которым самим царем была дана почти царская власть. В их воле было казнить и миловать. О том, чтобы кто-нибудь из них миловал, не было слышно, а вот казни свершались одна за другой.

Несмотря на то, что следствию не удалось установить связь между Соловьевым и организацией «Земля и воля», правительство было твердо уверено, — что покушение — «дело преступного сообщества». По одному только часто необоснованному подозрению в принадлежности к этому сообществу людей сажали в тюрьмы, отправляли в ссылки.

Обстановка в стране создалась такая напряженная, что даже самым мирным обывателям стало невмоготу.

Казалось бы, правительство приняло крутые меры, и все-таки в высших сферах говорили втихомолку о бездействии власти, о полной ее растерянности. Граф Валув записал в дневнике: «Не вижу правительственного сознания, хотя и вижу правительствование. Мне кажется, что все-таки по частям все крушится и рушится, и я бессилён крушению и обрушению ставить преграды».

Обо всем, что творилось на заседании Совета, Соня узнала от Родионыча, который, сзывая землевольцев на съезд, объехал чуть ли не пол-России. К тому дню, когда он попал в Харьков, покушение на даря уже свершилось и имя совершившего его ни для кого уже не было тайной.

Соня, как и сам Родионыч, считала, что покушение, к тому же

неудачное, принесло только вред. И все-таки то, что его совершил не кто-нибудь из отъявленных террористов, а убежденнейший народник-поселенец, заставило ее призадуматься.

Соня обрадовалась съезду. Она считала, что им всем давно пора встретиться, чтобы покончить с разногласиями и снова обрести общий язык. Если бы не экзамены на акушерских курсах и не созданный ею кружок харьковской революционной молодежи, она давно уехала бы в Петербург, к товарищам.

Как Соне это ни было больно, она не могла не признать, что освобождение централочных, которому она отдала столько сил, теперь, после убийства губернатора Кропоткина, после соловьевского покушения и учреждения в Харькове поста генерал-губернатора, стало делом совсем безнадежным.

Почти одновременно с Поповым выехал на юг Фроленко. Он тоже должен был созвать товарищей на съезд, но не в Тамбов, а в Липецк. Да и поручение пригласить тех, на кого можно надеяться, как на союзников, он получил не от тайного общества «Земля и воля», а от организовавшейся внутри этого общества еще более тайной группы.

Боясь оказаться в меньшинстве, террористы решили за несколько дней до съезда собраться в Липецке, чтобы подсчитать силы и выработать единый план действий.

Фроленко хотел заехать в Харьков, чтобы передать Софье Перовской приглашение в Липецк, но после некоторых размышлений оставил первоначальное намерение. Он поехал в Орел к Ошаниной, затем в Одессу к Желябову и в Киев — к Колодкевичу. Положение у Фроленко создалось нелегкое, он должен был не только заручиться согласием приглашенного, но и быть уверенным в том, что отказавшийся не поднимет тревоги, а уверенности в этом по отношению к Перовской у него не было.

В лодке на реке Цне компания молодежи. Это участники съезда, приехавшие прежде других, наслаждаются непривычным для них отдыхом.

Сестра Веры Николаевны Фигнер, Евгения Николаевна, убедившись, что они достаточно далеко отплыли от Тамбова, соглашается по просьбе товарищей спеть «Бурный поток».

Голос у нее на редкость хороший, и поет она с таким чувством, что трудно не заслушаться. Взглянув случайно на берег, Евгения Николаевна замечает, что у нее гораздо больше слушателей, чем она предполагала. Вдоль реки, параллельно лодке, идет, словно зачарованная песней,

неизвестно откуда взявшаяся толпа людей. Как артистка Евгения Николаевна могла бы быть польщена, но она прежде всего революционерка и понимает, что ее успех может для них всех плохо кончиться.

В тот же вечер у приезжей компании потребовали паспорта. А так как паспорта в большинстве своем фальшивые, принято решение: оставить их в подарок полиции и немедленно выехать из Тамбова.

Вера Николаевна и Родионыч сразу же направляются на поиски безопасного места. Тот же Родионыч встречает в Козлове участников съезда и направляет их в Воронеж.

В то время как землевольцы постепенно собираются в Воронеже, в Липецке на высоком берегу озера уже собрались и заседают одиннадцать заговорщиков. Тут Ошанина — мадам Якобсон (так прозвали Марию Николаевну в шутку товарищи за ее якобинские взгляды). Гольденберг, не видящий ничего дальше цареубийства. Морозов, для которого террор — средство добиться конституции. Желябов, считающий политический переворот только первой ступенью к перевороту социальному.

Взгляды у этих людей далеко не одинаковые, но с необходимостью ввести в программу политическую борьбу они согласны все.

Конгресс землевольтцев

Жаркий июньский день. В уединенном уголке Ботанического сада собралась на лужайке многочисленная компания. Самовар, бутылки, стаканы — все говорит о пикнике. Но никто не прикасается к еде, и бутылки остаются нераспечатанными.

Какой был бы переполох, если бы кто-нибудь шепнул сейчас воронежскому начальству, что в городе происходит съезд тайного общества «Земля и воля»!

Но начальство ни о чем не подозревает. В городе много приезжих. Все гостиницы переполнены. По пыльным улицам дребезжат допотопные брички окрестных помещиков. Некоторые богомольцы приехали сюда в Митрофаниевский монастырь издадека — из Москвы и даже из Петербурга. Всюду чужие, незнакомые лица.

Первое слово — о погибших товарищах. Только что в Киеве казнили Осинского, Брандтнера и Свириденко. Киевляне рассказывают, что все трое умерли, как герои.

Десять дней, которые прошли между судом и казнью, Осинский оставался совершенно спокоен, даже весел. Когда накануне казни к нему пришли на свидание мать и молоденькая, шестнадцатилетняя сестра, он сказал им, что казнь отменена, а потом отвел сестру в сторону и шепнул ей:

— Приготовь маму, завтра мне предстоит умереть.

На другой день в девять утра, когда на осужденных уже надевали саваны, к эшафоту прискакал адъютант генерал-губернатора и громко, чтобы слышала толпа, спросил: не пожелают ли они просить о помиловании? Все трое ответили: «Нет!»

Осинский оставил своим друзьям письмо. Это было не только прощальное письмо, это и политическое завещание. Его читали на съезде. Не о себе думал он в свои последние дни, а о терроре. О том, как вести его, чтобы избежать ошибок, как бороться, чтобы победить. «Ни за что более... — писал он, — партия физически не может взяться».

В ожидании казни Осинский был полон презрения «к вопросу смерти» и уверенности в том, что «дело не может погибнуть».

«Так и рвешься вас бросить в теорию, — писал Осинский, — да руки коротки. И торопишься, и все такое прочее... Прощайте же, друзья, товарищи дорогие, не поминайте лихом! Крепко, крепко от всей души обнимаю вас и жму до боли ваши руки в последний раз...»

Высокий голос Морозова дрожал, когда он дочитывал последние строки письма. Соне казалось, что она слушает не Морозова, а самого Осинского, так характерны были для него, для его разговорной речи интонации в письме, так трудно и больно было поверить, что его уже нет.

Она хорошо представляла себе Валериана — стройного, гибкого, белокурого, с маленькой красивой головой, с выражением беспечной юношеской отваги. Его повесили, и та же участь предстояла многим из тех, кто слушал сейчас его письмо.

Высоко над рощей уходили куда-то по небу облака. В тяжелой листве пели, кричали, свистали птицы. Все вокруг, казалось, торопилось, спешило, как спешит и торопится в артериях кровь.

Все они были молоды — члены тайного общества «Земля и воля». Им бы только жить и жить. Но они сами произнесли свой приговор, отказались от этого неба, этой листвы, от счастья, от молодости...

Начинается деловая часть съезда. Чуть ли не все присутствующие настроены примирительно. Стоит только кому-нибудь одному поставить вопрос ребром, сразу же находится кто-то другой, который старается сгладить острые углы, найти приемлемую для обеих сторон точку зрения.

Все они народники, все в принципе за работу в деревне, все ссылаются на программу «Земли и воли», а программа эта составлена так общо, что дает возможность для самых широких толкований. Одни считают, что работа не клеится оттого, что революционную молодежь затягивает терроризм, другие — что революционную молодежь оттого и затягивает терроризм, что надежд на крестьянскую революцию почти не осталось.

Раздел! Его не хочет никто. И особенно не хотят его «новаторы». Они не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы действовать самостоятельно, и рады были бы добиться введения в программу политической борьбы, находясь в рядах «Земли и воли», пользуясь ее славным именем.

И, кроме деловых соображений, всех связывает то, что труднее всего поддается учету, — чувство дружбы. Чувство, которое заставляет людей, ставших по своим воззрениям противниками, при встрече радостно бросаться друг к другу. Им всем есть о чем поговорить между собой, есть что вспомнить.

Основные положения программы не вызывают споров. Центр тяжести революционной деятельности по-прежнему должен лежать в деревне. Экономический переворот, утверждающий народные идеалы «анархии и коллективизма», — цель этой деятельности.

Самый острый вопрос — это вопрос о политическом терроре.

Плеханов, видя, что товарищи готовы на компромисс, становится особенно непримиримым. Его острый ум вскрывает противоречия в идеях «новаторов». Он считает, что политическая борьба, которую хоть и во имя народа, но без народа начинают вести революционеры, не приведет к революции, а только оторвет народников от народа.

— Чего вы добиваетесь, — обращается он к «дезорганизаторам», — на что рассчитываете?

— Мы дезорганизуем правительство и принудим его дать конституцию, — говорит запальчиво обычно сдержанный Михайлов.

Плеханов не жалеет резких слов. Он утверждает, что стремиться к конституции народнику-революционеру почти равносильно измене народному делу, что дезорганизаторская деятельность приведет в конечном счете к усилению правительственной организации, к победе правительства.

— Единственная перемена, — говорит Плеханов в заключение, — которую можно с достоверностью предвидеть, — это вставка трех палочек вместо двух при имени Александр.

Споры принимают бурный характер. И все-таки боязнь разрыва берет верх. Съезд решает признать политический террор как крайнюю и исключительную меру для данных специальных случаев.

Ставится вопрос о цареубийстве. И съезд узнает о существовании группы «Свобода и смерть», о том, что петербургские «дезорганизаторы» называют между собой «Лигой цареубийства». Опять шумные споры, разноголосица, потом подсчет голосов. И, к радости «новаторов», правда незначительным большинством, проходит решение: отнести данный случай к специальным и исключительным. Оказать Лиге содействие людьми и деньгами.

Даже те, которые в Петербурге на заседании Совета изо всех сил протестовали против цареубийства, теперь после новых казней согласились, что, если волна реакции не спадет, начатое дело должно быть доведено до конца.

Плеханов возмущен. Он волнуется больше, чем кто-либо, потому что ему больше, чем кому-либо, есть что терять. Рабочее дело: агитация, стачки, демонстрации — только что открывшаяся огромная область революционной деятельности захватила его целиком.

Но все-таки и он еще не пришел к мысли противопоставить рабочее движение террору, и он еще не видит в нем той великой общественной силы, которой суждено совершить революцию.

Да и мог ли он, этот убежденный враг «политиканства» и централизации, считавший политические свободы выгодными одной лишь

буржуазии, разглядеть тогда в неясных еще мыслях своих идейных врагов черты будущей революционной партии — партии политических борцов, профессиональных революционеров?

Пройдет четыре года, и тот же Плеханов скажет своим единомышленникам: «В нашем споре с «террористами» они были правы, когда отстаивали политическую борьбу и централизм». Но это будет потом, а пока в 1879 году он не видит в словах своего противника и зерна истины.

Его возмущает нелогичность того, что происходит. Ему непонятно, как может одна и та же организация издавать «Землю и волю», говорящую о работе в массах, и «Листок» «Земли и воли», в котором Морозов стремится доказать, что никаких масс не нужно, а вполне достаточно «нескольких Шарлотт Корде и нескольких Вильгельмов Теллей».

На слова Морозова: «Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем» — Плеханов отвечает: «На кончике кинжала не построишь парламента».

— Считаете ли вы, товарищи, — спрашивает Плеханов собравшихся, — что редакция имеет право и впредь высказываться в таком духе?

После того как съезд, принимая во внимание особенности данного момента, санкционирует выход «Листка», как агитационного прибавления к основному органу, Плеханов встает.

— Мне здесь нечего делать, — говорит он в запальчивости, поворачивается и уходит.

Фигнер хочет его вернуть. Но Михайлов останавливает ее:

— Оставьте, Вера Николаевна. Пусть уходит. Все провожают взглядом удаляющуюся фигуру Плеханова.

— Считать ли его уход за выход из общества? — спрашивает Михайлов. И большинство говорит:

— Да.

На следующем заседании встает Желябов, которого только что наряду с Ширяевым и Колодкевичем приняли в «Землю и волю». Рослый, мужественный, красивый, с открытым, смелым лицом, он похож на богатыря из русских сказок. Здесь, в Воронеже, обращаясь ко всему «обществу», он развивает те же мысли, которые развивал в Липецке перед единомышленниками.

Желябов доказывает, что никакая деятельность невозможна без свободных учреждений и гарантии личных прав. Говорит о неспособности либералов чего бы то ни было в этом направлении добиться. И делает вывод, что социально-революционная партия, хоть это и не ее дело,

вынуждена взять на себя обязанность сломить деспотизм и добиться таких политических форм, при которых возможна будет идейная борьба.

— Да он чистый конституционалист! — кричит кто-то с места.

Желябов не считает нужным реагировать на реплику и продолжает говорить о политической борьбе как единственной соответствующей переживаемому Россией моменту.

— Я знаю, — говорит он, — очень умных, энергичных общественных мужиков, которые теперь сторонятся мирских дел, потому что крупного общественного дела они себе не выработали, а делаться мучениками из-за мелочей не желают: они люди рабочие, здоровые, прелесть жизни понимают и вовсе не хотят из-за пустяков лишиться всего, что имеют. Конституция дала бы им возможность действовать по этим мелочам, не делаясь мучениками, и они энергично взялись бы за дело. А потом, выработавши в себе крупный общественный идеал, не туманный, как теперь, а ясный, осязательный, и создавши великое дело, эти люди уже ни перед чем не остановятся... Народная партия образуется именно таким путем...

— Свести всю деятельность нашей организации на политическую борьбу легко, — возражает Попов, — но едва ли так же легко будет указать предел, дальше которого социалистам идти непозволительно.

— Не нами мир начался, не нами и кончится, — говорит Желябов, пожимая плечами.

Но и ему не удается до конца выразить свою мысль.

— По-моему, и ты, Андрей, и ты, Родионыч, — перебивает его Фроленко, — оба вы говорите ерунду, не имеющую отношения к делу. Перед нами вопрос: как быть с раз начатым делом? И этот вопрос мы и должны решить, а как будет потом, нам покажет будущее.

Перед началом следующего заседания Соня подходит к Фроленко.

— Михаилу, — спрашивает она его с упреком, — отчего ты не позвал меня в Липецк? Ты мог бы знать меня лучше.

— Я тебя очень хорошо знаю, — отвечает с некоторым смущением Фроленко, — и знаю прежде всего, что ты отъявленная народница.

Заседания продолжаются то в Ботаническом саду, то в Архиерейской роще, то на песчаных островах реки Воронеж, но проходят бледно. Плеханов больше не участвует в съезде, а Желябова, который рад был бы броситься в бой, сдерживают его же товарищи. Но то, что ему не удается сказать на заседаниях, он говорит в перерыве между заседаниями.

Больше всего времени Желябов проводит с Перовской. Они вместе

катаются на лодке, вместе совершают далекие и долгие прогулки по окрестностям Воронежа. Он развивает перед ней свои взгляды с не меньшим жаром, чем делал бы это перед толпой народа. Пока Перовская слушает его, не прерывая ни единым словом, ему кажется, что он сумел ее переубедить, сумел переселить в нее свой энтузиазм. Но вот она бросает на него взгляд исподлобья, и по одному этому взгляду он еще прежде, чем слышит ее возражения, видит, что она упорствует в своем мнении.

— С этой бабой ничего не поделаешь, — говорит он потом в сердцах товарищам.

И все-таки в тот же вечер и в следующие дни опять и опять втягивает ее в споры. Она согласна, что нужно закончить начатое, согласна участвовать в цареубийстве, но ему этого мало. Он забыл, что и сам, когда ехал в Липецк, соглашался только на один этот террористический акт, забыл об ограничении, на котором настаивал. Его воображение, его творческая воля не видят границ, и он не хочет, чтобы их видела его собеседница.

Перед Соней политический деятель, вождь, народный трибун. Она рада была бы поверить ему, что из тупика найден выход, рада была бы увидеть перед собой ничем не заслоненный горизонт. Но после того., как столько лет считала, что конституция только отсрочит наступление социализма, что политическая борьба надолго отодвинет экономический и социальный переворот, не может вдруг сразу, на лету изменить свои убеждения.

Как-то раз вечером они отплыли на лодке далеко от города. Вокруг лежали поля, шелестели тростники у берега. Желябов мерно заносил весла, и лодка быстро плыла, оставляя след на поверхности воды. Поскрипывали уключины. Спор затих. И вдруг почему-то разговор зашел не о настоящем и будущем, как до сих пор, а о прошлом, о детстве. Андрей Иванович умел рассказывать, и Соня заслушалась. Невеселый это был рассказ. Невеселым было детство крепостного.

— Я был малым ребенком, когда решил убить помещика, — сказал он, нахмурившись. — Только тогда поколебался в этом намерении, когда мать сказала: «Все они — собаки, мучители!» Не люблю я это вспоминать — вам первой захотелось рассказать.

В перерыве между двумя заседаниями Соня встретилась с Плехановым. Она пыталась убедить его, что разногласия между двумя фракциями не так уж велики.

— Работы хватит для всех, — сказала она, — пока народники

действуют в народе, «дезорганизаторы» могут готовить удар в центре. Нужно не ослаблять партию разделом, а дополнять друг друга.

Плеханов упрекнул Соню в эклектизме, стал доказывать ей, что дезорганизация дезорганизует только их собственные ряды, а главный дезорганизационный план самой логикой событий доведет партию до того, что у нее ни на что больше не останется сил. Воронежский съезд принял компромиссное решение: продолжать агитацию в народе, ввести аграрный террор и в то же время создать в центре сильную боевую дружину и Исполнительный Комитет для дезорганизации правительства, а если нужно будет, убить главного виновника народных бедствий — императора.

В последний раз все собрались на лужайке в Ботаническом саду, в том самом месте, где Морозов несколько дней назад прочел им вслух последнее письмо Осинского. Перед разездом Квятковский вырезал на одном из дубов-гигантов, который служил им в эти дни надежным прикрытием, число, месяц, год и слова: «Здесь заседал конгресс землевольцев».

Эти слова были словно надпись на могильной плите. Во всяком случае, когда Соня в надежде покрепче спясть организацию приехала через месяц в Петербург, то сразу поняла, что приехала слишком поздно. Слово «землевольцы» никого уже не объединяло, и «Земли и воли» как единой организации больше не существовало. Из попытки влить новое вино в старые мехи ничего не получилось. Трещина, ставшая заметной на съезде в Воронеже, выросла, расширилась и привела к расколу. Оставалось только этот раскол оформить.

Соня поселилась не в Петербурге, а в Лесном у Анны Павловны Корба. Прежде, встречаясь ежедневно на Аларчинских курсах, они обращались друг к другу на «вы», а сейчас, после многолетней разлуки, как-то невольно с первых же слов заговорили на «ты». Разговор начался с воспоминаний, но уже через несколько минут слова «ты помнишь» или «ты не забыла» исчезли из их лексикона. Настоящее интересовало обеих больше, чем прошлое, и это настоящее было невесело.

— Чертков и Тотлебен^[5] из кожи лезут, чтобы оправдать царское доверие, — сказала Анна Павловна. — Вереницы ссыльных движутся в Сибирь.

— И самое возмутительное, — добавила Соня, — что большинство, из них не виновато ни в чем по русским же законам.

Соня считала, что Лорис-Меликов — харьковский генерал-губернатор — ненамного лучше одесского и киевского. Живя в Харькове, она имела возможность за ним понаблюдать.

— Он заигрывает с либералами, — сказала она, — проявляет

неслыханную жестокость по отношению к так называемым неблагонадежным, а впрочем, изгоняет передовые идеи, откуда бы они ни шли и в чем бы ни выражались.

Когда разговор зашел о терроре, Соня произнесла вслух много раз продуманную мысль:

— Революционеры не должны считать себя выше законов гуманности и человечности. Наше исключительное положение не должно нам туманить головы. Прежде всего мы люди.

Наступил вечер. Пока Анна Павловна стелила постели: Соне — на матраце, себе — на голых досках, — Соня молчала. Когда же пришло время ложиться, она своей маленькой, но достаточно крепкой рукой толкнула Анну Павловну на кровать, а на досках улеглась сама. Анна Павловна пробовала спорить, но ничего не добилась.

На этом пустяковом эпизоде она убедилась, что Соня, несмотря на кажущуюся мягкость, умеет, когда хочет, настоять на своем.

У Сони и Анны Павловны бывают Вера Фигнер, Морозов, Баранников, Михайлов. Спасаясь от ареста по делу Лизогуба, приехала к ним из Одессы Галина Чернявская. Узнав из газет, что Лизогуб и его товарищи казнены, она плачет от горя и бессильного гнева.

— Правительство дорого заплатит за свои действия, — говорит, отчеканивая каждое слово, Михайлов,

— Динамит и револьвер будут ответом на эти казни, — подтверждает, сжимая кулаки, Морозов.

Соня молчит. Отвечать насилием на насилие не кажется ей выходом из положения.

У Анны Павловны бывает много народу, а неподалеку от нее в конспиративной квартире, хозяевами которой числятся Софья Ивановна и Квятковский, перебивало столько людей, что и сосчитать трудно.

Лесной становится как бы революционным центром. Летом здесь всегда много дачников, и никого не удивляют ни частые наезды гостей, ни многолюдные прогулки.

Заседания и тут, как в Воронеже, устраиваются на открытом воздухе, под предлогом пикников. Но на заседания эти собираются уже не все вместе, а отдельно члены сформировавшегося в Липецке Исполнительного Комитета и отдельно их противники — «деревенщики». Соня не согласна до конца ни с одной группой.

— Нам надо держаться вместе, — повторяет она и тем и другим. — Наша сила в единении.

Она спорит, аргументирует, под конец просто умоляет товарищей не разделяться. Раздел ей кажется гибелью. Но разногласия, которые возникают ежедневно, ежечасно, чуть ли не ежеминутно, так измучили всех, что ее уже не слушают.

Споры происходят из-за всего. Из-за расходования средств, из-за распределения людей и. чаще всего из-за направления статей в подпольном издании — «Земле и воле». Если членам редакции удастся как-то договориться, между собою, споры снова возникают в типографии: хозяйка ее наотрез отказывается печатать то, что считает «террористической ересью».

Дошло до того, что Михайлов, которому, так же как и Соне, очень не хотелось разрыва, сказал чуть ли не со слезами на глазах:

— Старались, делали все, но ей же богу под конец стало не вмоготу, и гораздо лучше разделить, чем выносить тот ежедневный ад, который вытекает из различия взглядов.

Не один Михайлов — все землевольцы в Питере стали говорить: «Лучше любовно разойтись, чем, враждуя, ссорясь, дружить». А когда Соня узнала, что приготовления к царевбийству идут полным ходом и мелочная грызня по каждому поводу может сорвать дело, она перестала спорить.

Август. Высокие сосны. Запах скипидара. Сухая скользкая хвоя под ногами. Здесь, в лесном парке, далеко от жилых домов, собирается в последний раз Совет «Земли и воли». Собирается только для того, чтобы вынести решение: «Земли и воли» больше не существует.

И вот уже выбраны представители для выработки условий раздела. Решено, разделить поровну все: деньги, типографское оборудование и шрифт.

Наступает время подписывать условия раздела. Все стоят молча, опустив головы, словно сами себе подписывают приговор.

— Кто-кто, а вы, Родионыч, пожалеете о разделе, — говорит вдруг Тихомиров. — Ведь мы все остались те же, что и были, и различаемся только в оценке настоящего момента.

— Колесо, раз повернувшееся в одну сторону, трудно будет поворотить в другую, — с трудом заставляет себя ответить Попов.

Сторонники политической борьбы позднее назвали свое общество «Народная воля», а сторонники работы среди крестьян назвали себя «Черный передел» в знак того, что их цель — справедливый передел земли.

Соня пока не примыкает ни к одной партии, но, помогает обеим: связи

в народе и оставшиеся деньги передает «деревенщикам», берет на себя роль хозяйки дома, из которого будет вестись подкоп, когда Исполнительный Комитет распределит людей для совершения цареубийства.

В Петербурге оживление. В Саперном переулке спешно создается новая типография. Динамитная мастерская под руководством химика Кибальчича работает и днем и ночью. Паспортное бюро снабжает без перебоев необходимыми документами всех участников покушений.

Соня с паспортом на имя Марины Сухоруковой уезжает из Петербурга.

Царь находится в Крыму. Осенью он должен приехать в Петербург. На его пути под полотном железной дороги будут заложены мины: одна около Одессы, другая — где-нибудь около Александровска. Если же он не поедет через Одессу и почему-либо уцелеет под Александровском, его будет ждать под Москвой третья мина.

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ «НАРОДНОЙ ВОЛИ»



Вопреки утопической теории, отрицавшей политическую борьбу, движение привело к отчаянной схватке с правительством горстки героев, к борьбе за политическую свободу. Благодаря этой борьбе и только благодаря ей, положение дел еще раз изменилось, правительство еще раз вынуждено было пойти на уступки, и либеральное общество еще раз доказало свою политическую незрелость, неспособность поддержать борцов и оказать настоящее давление на правительство.

В. И. Ленин

Агент Исполнительного Комитета М. С. Сухорукова

В трех верстах от вокзала Московско-Курской железной дороги, у самого переезда, стоит почерневший от времени дом саратовского мещанина Сухорукова. С виду он ничем не отличается от соседских домов: в нем такой же мезонин, такие же потрескавшиеся, словно яичная скорлупа, ставни.

В подвале окна заколочены. Сухоруковы, люди хозяйственные, сразу же принялись за рытье погреба.

Каждое утро мимо проезжает, громыхая и расплескивая воду из бочки, водовоз. По дощатому тротуару пробегает, шаркая стоптанными башмаками, хозяйки, направляясь на рынок. И никому не приходит в голову, что от подвала дома Сухорукова к железнодорожному полотну скоро пройдет, пересекая дорогу, длинная подземная галерея. Никто из прохожих не подозревает, что внизу, всего только на глубине аршина с четвертью, роются, словно кроты, люди, упорно прокладывая себе путь к железной дороге.

Рабочий в галерее, лежа на животе, роет землю совком и сбрасывает ее на железный лист. Время от времени он дергает за веревку, привязанную к листу. И тогда двое других рабочих в противоположном конце, изо всех сил напрягая усталые мышцы, тянут веревку к себе. Железный лист, нагруженный мокрой, тяжелой землей, нехотя сдвигается с места и медленно ползет по длинной галерее.

В галерее холодно и темно, как в склепе. При неровном свете фонаря видно, как из земляного свода выступает вода и каплями падает вниз. В том месте, где свод еще не укреплен досками, земля может обвалиться и задавить рабочего. Может быть и еще хуже: провалится вниз часть мостовой среди улицы, и тогда о подкопе узнает полиция. Погибнет не один человек, погибнет весь отряд революционеров.

Галерея уходит в темноту, как длинный гроб. Самое опасное место — впереди. Позади свод обшит досками. Над земляным полом дощатая крыша в два ската. Наверху под коньком крыши проложена железная труба для вентиляции. Но от нее пользы мало: воздух в галерее спертый, гнилой.

Передовой землекоп — Александр Михайлов. Неужели это тот щеголь, который еще не так давно беспечно прогуливался по харьковским улицам? Он весь в грязи. Промокшая насквозь рубашка прилипла к телу. Кровь

сочится из пораненных пальцев, но Михайлов не замечает этого.

Его мысли, чувства замерли, заснули. Снова и снова вонзает рука совок в мягкую землю, режет ее, отбрасывает назад. Еще вершок пройден, еще на вершок продвигается, лежа на животе, человек. Но вот уже не осталось никаких сил. Пятясь, выползает он из своей норы. Его сменяет Баранников. За Баранниковым — Исаев, Гартман, Ширяев, Гольденберг. И так с семи утра до девяти вечера.

К Соне приходит помогать по хозяйству Галина Чернявская. Своей хозяйке она в таких случаях словоохотливо объясняет, что дома одной скучно и она ходит к тетеньке, у которой большая семья и всегда весело.

Для того чтобы Соне было куда скрыться после взрыва, Чернявская содержит на Собачьей площадке конспиративную квартиру.

И эту квартиру и домик для «Сухоруковых» разыскал их общий «ангел-хранитель» Михайлов. Впрочем, у него есть более прозаическое прозвище. За постоянные заботы о безопасности организации, о надежности документов, о количестве входов в дом и толщине стен товарищи называют его Дворником.

Перовская не только хозяйка дома, но и часовой отряда. При малейшей тревоге она дергает за веревку звонка, проведенного в галерею, и сразу же умолкает глухой шум, который оттуда доносится. Приветливо встречает она соседских кумушек, толкует с ними о всяких пустяках: о кошке, которая выпила молоко, о том, что мясо подорожало на копейку.

Ее обязанность не пускать никого дальше кухни. В соседней комнате зияет черное входное отверстие галереи. Там все разворочено. На полу валяются доски, трубы. В углу — земля. Чуланчик и тот весь доверху набит вынутой из галереи землей.

Выпроваживать людей и не вызвать у них при этом подозрений совсем нелегко. Однажды, когда земляные работы уже шли полным ходом, вблизи загорелся дом и соседи бросились к Сухоруковым вытаскивать вещи. Внутри в домике все растерялись. С пожаром еще могло обойтись. А пустить людей в дом — значило наверняка погибнуть. Но как, под каким предлогом можно было их не пустить?

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Соню не осенила вдруг счастливая мысль. Со словами: «На все божья воля! От божьего гнева может спасти только молитва», она с иконой в руках выбежала на улицу и загородила собой входную дверь.

Для работы не хватало денег, и революционеры решились на рискованное коммерческое предприятие — получить деньги под заклад дома, из которого ведется подкоп. На беду только, сосед, бородатый

степенный купец, зашел к ним, прежде чем они успели приготовиться к осмотру. Он снял шапку, перекрестился на икону двумя пальцами, по старому обычаю, и сказал:

— Слышал я, Марина Семеновна, что хотите вы домик заложить. Есть у меня купчиха одна, богатая купчиха. Я уже ей говорил: так, мол, и так, хотят люди дом заложить. Она меня и прислала. «Пойди, — говорит, — Никита Тимофеевич посмотри, стоит ли дом, чтобы за него деньги давать».

Показать комнаты сейчас, когда везде земля? Да ведь это значило бы погубить все. Соня сложила ручки на животике помещански, сделала тупое лицо и спросила:

— А про что это вы, Никита Тимофеевич?

Никита Тимофеевич терпеливо повторил все сначала: так, мол, и так, купчиха прислала, «Пойди, — говорит, — домик посмотри».

Марина Семеновна никак в толк не возьмет.

— Что ты, батюшка! Не продаем. Сами жить будем.

— Да я не покупать! Я насчет закладу.

— Уж и не знаю, батюшка. Ужо Николай Степаныч придет.

— Да ведь он-то меня намерен и просил, Марина Семеновна. «Найди, — говорит, — мне деньги на ремонт нужны».

Но Марина Семеновна туговата на соображение.

— Не знаю, батюшка, не знаю. Не могу без Николая Степаныча.

— Да ты послушай, что я говорю...

— Что ж тут слушать, батюшка. Хозяин придет, с ним и говори.

Никита Тимофеевич помолчал, с сердцем махнул рукой и ушел.

Едва только закрылась за ним дверь, из-за перегородки вышли Михайлов и Гартман. Они покатывались со смеху. А Соня, не улыбаясь и глядя все тем же тупым взглядом, продолжала причитать:

— Ужо как Николай Степаныч... Я без Николая Степаныча не могу...

Но смех не часто слышался в домике Сухоруковых. Работа была тяжелая, опасности подстерегали на каждом шагу. У Сони всегда лежал в кармане заряженный револьвер. В случае обыска она должна была взорвать дом — выстрелить из револьвера в бутылку с нитроглицерином.

Они готовили смерть императору, но сами в любую минуту могли погибнуть. Гартман брал с собой в галерею яд, чтобы отравиться, если будет обвал. И Михайлов признался как-то Соне, что только там, в галерее, впервые заглянул в глаза смерти и, к своей великой радости, остался совершенно спокоен.

— Кто не боится смерти, — сказал он, — тот почти всемогущ.

Сначала работа шла успешно, но потом начались дожди, а вместе с

ними и неудачи. Вода просачивалась отовсюду и подымалась в галерее все выше и выше. Пришлось прервать работу и заняться выкачиванием воды. А дождь продолжал лить с утра и до вечера.

Когда подморозило и пошел снег, все вздохнули с облегчением. Но снег очень скоро растаял, и тут случилось самое страшное. Земля обвалилась, и на улице, как раз над галереей, образовалась промоина. Огромная яма, к счастью, заполнилась водой и не бросалась в глаза. Это случилось ночью, а утром по этому самому месту должен был проехать водовоз. С ужасом ждала Соня катастрофы. Если телега с тяжелой бочкой провалится в галерею, тогда все. Конец.

Восьмой час утра. Вдали кто-то едет, приближается. Нет, это не водовоз. Свернул налево. Проходит час, другой. Водовоз не проехал. Что с ним случилось на этот раз, осталось неизвестным. На другой день он проехал со своей бочкой, но дорога была уже в порядке. Ночь напролет работали все, в том числе Соня и Галина Чернявская, засыпая яму землей.

Дни идут. И вот уже получен ящик с надписью «Фарфоровая посуда», но на самом деле с динамитом. Уже заложена мина в двух саженях от рельсов. Грунт под насыпью оказался таким рыхлым, что галерею, несмотря на все усилия, не удалось довести до конца.

Динамита мало. Может не хватить. Вдруг известие: царь через Одессу не едет. Гольденберг снаряжается в Одессу за динамитом. Вот от него и обещанная телеграмма: «Вино послано». Это значит, что он вместе с грузом отправился в обратный путь.

Гольденберга ждут. И как ждут! А между тем уже на следующий день, 15 ноября, шеф жандармов Дрентельн тоже получает телеграмму. Его извещают о том, что в Елисаветграде арестован почетный гражданин города Тулы Ефремов, у которого нашли больше пуда взрывчатого вещества.

«Не к проезду ли императорского поезда он готовился?» — пишет на полученной телеграмме Дрентельн. А начальник Третьего отделения Шмидт отправляет по пути следования литерного царского поезда телеграфные предупреждения «о возможности покушения по случаю проезда государя из Ливадии в Петербург».

Степь где-то на юге, под Александровском. Высокая железнодорожная насыпь. Глубокий овраг, а за ним прямая, как стрела, проселочная дорога. По дороге мчится, гремя колесами, телега. В телеге четверо. Один из них — высокий, широкоплечий. Это Желябов. Трясется и подпрыгивает на ухабах телега. Но Желябов стоит, как железный, и погоняет лошадей.

— Стой, приехали! — говорит он наконец.

Один из товарищей Желябова, — Сонин харьковский знакомый Иван Окладский — слезает и идет по степи к оврагу. Там он ищет что-то в кустах и возвращается назад, волоча по земле какие-то провода. Это провода для мины, которая заложена под шпалами. Желябов берет концы проводов в руки. Лошади переступают с ноги на ногу, обмахиваются хвостами.

А в это время со станции Александрова выходит императорский поезд. Блестящий, высокий паровоз уверенно мчится по рельсам, влача за собой, как шлейф, вереницу нарядных вагонов. Пролетел мимо первый верстовой столб, второй, третий. Вот сейчас будет четвертый.

А на четвертой версте под шпалами — два медных цилиндра с динамитом. У ног Желябова в телеге — батарея. Стоит только соединить провода с полюсами батареи, сразу взорвутся оба цилиндра, и нарядные вагоны взлетят на воздух.

Окладский стоит ближе к насыпи. Он должен дать сигнал.

Поезд все ближе. Пролетел паровоз, гремя по рельсам новенькими колесами. Прошел один вагон, второй.

— Жарь! — кричит Окладский.

Последний вагон пролетел мимо. Желябов бледен. Почему нет взрыва? Не может быть, чтобы он неправильно соединил провода. Но что бы там ни было, еще не все потеряно! Под Москвой царя ждет другая мина.

Вечер 19 ноября. У Сухоруковых не спят. В верхней светелке горит свеча. На столе самовар. В комнате — Соня и Ширяев. Они остались здесь для того, чтобы все кончить. Соня даст сигнал. Ширяев замкнет провода.

— Хочешь? — спрашивает Соня и подвигает к Ширяеву стакан с чаем.

— Нет, — отвечает он, — не могу.

Соня внешне спокойна. Внутри все замерло, притаилось. Сейчас уже не время рассуждать, думать, чувствовать. Единственное, что нужно, — это держать себя в руках, быть готовой.

Десять часов. Поезд, по полученным сведениям, должен пройти около одиннадцати. Перовская и Ширяев оделись, вышли. Ширяев пошел в сарай: там батарея. В стене — дыра. Он будет смотреть сквозь дыру и ждать сигнала. Соня станет недалеко от полотна и, когда подойдет поезд, махнет платком.

Темно. Холодно. Время тянется нестерпимо медленно. По Сониным расчетам, поезду пора показаться, а его все нет и нет. Что это? Уж не решил ли царь после ареста Гольденберга-Ефремова поехать другим путем? В том, что Гольденберг арестован, Соня теперь уже не сомневается.

Вдруг резко прозвенел сигнальный колокол у переезда. Железнодорожный сторож закрыл шлагбаум. Донесся гудок. Протяжный, тоскливый, как зевота. Неподвижный огонек вдалеке, там, где сходятся рельсы, стал расти, разделился на три огня. Поезд все ближе и ближе. Сыплются искры из-под паровоза, освещая щебень и шпалы. Пахнуло горячим ветром, запахом машинного масла. Соня махнула платком, невольно сделала шаг назад.

Страшный грохот потряс землю. Соню с такой силой толкнуло в грудь, что она едва устояла на ногах. Что-то рушилось вокруг с гулом и скрежетом. Когда внезапно наступила тишина, ей показалось, что она оглохла. Прямо против нее колесами вверх лежал багажный вагон. Дальше виднелась нестройная куча сошедших с рельсов вагонов.

Откуда-то сразу появились люди. Железнодорожники засуетились у опрокинутых вагонов. Соня замешалась в толпу.

— Стекла-то все вылетели, — услышала она. — Здорово помяло.

— Гляди, путь как разворотило. И чья это работа?

— Известно чья, в царя метили, да промахнулись. Царский-то поезд на всякий случай пустили пораньше.

Соня почувствовала резкую слабость. Она с трудом заставила себя вспомнить о собственной безопасности и медленно пошла по направлению к вокзалу.

Глубокая ночь. Одни за другими гаснут огни. Москва погружается в темноту, в сон. И только в окне второго этажа маленького домика на Собачьей площадке горят две свечи.

Это Галина Чернявская поджидает Соню. Давно уже прошло назначенное время, а ее все нет и нет. Наконец послышался скрип калитки и еще через несколько секунд едва уловимый звонок. У Сони такой измученный вид, что еще до того, как она отрывисто в немногих словах рассказывает о происшедшем, Чернявской ясно: случилось недоброе.

Сколько раз, лежа на огромной кровати «супругов Сухоруковых», они строили планы, как поедут вместе на всю жизнь в деревню. А сейчас им обеим не до планов и не до сна. Они сидят рядом молча в углу дивана и думают одну и ту же невеселую думу.

Все осталось по-старому. Нет, хуже, чем по-старому. Царь жив, здоров, невредим, а вместо него погибли ни в чем не повинные люди.

Соня рада была бы хоть на минуту избавиться от мыслей, забыться. Но стоит ей только закрыть глаза, как она снова и снова, в который раз, видит перед собой у самых своих ног словно вырытую заступом черную,

зияющую яму. И поперек ямы — перевернутый багажный вагон.

Только утром, после того как Михайлов приносит бюллетени, выпущенные по случаю покушения, Соня вздыхает с некоторым облегчением. Случилось то, на что она и надеяться не смела: крушение обошлось без человеческих жертв. Во взорванном поезде оказался буфет и всего несколько человек из свиты, а царь проехал раньше, чем было объявлено, в неосвещенном поезде, который сами железнодорожники приняли за пробный. Среди мер, принятых Третьим отделением в связи с прибытием его величества в первопрестольную, не обошлось и без комических. Михайлов своими глазами видел, как городовые, стоявшие в два ряда на всем пути следования кареты его величества, едва только карета показывалась, поворачивались лицом к публике, спиной к самому императору.

Картина в его описании получилась смехотворная, но Соня даже не улыбнулась. То, что император оставался в Москве и внимание Третьего отделения во главе с самим Дрентельном было отвлечено охраной его особы, значило, что ей самой следует выбираться из Москвы как можно скорее.

Можно было не сомневаться, что в домике Сухоруковых уже был обыск. Ведь он был связан проводами с местом взрыва. А то, что брошенный дом, несмотря на все предосторожности, не наведет на след тех, кто его бросил, поручиться было трудно. Гартмана-Сухорукова Михайлов предусмотрительно переправил в Петербург еще до взрыва. Ширяева никто в округе не видел, и он не значился в доме даже под вымышленным именем, а вот с Соней обстояло хуже.

Вокзал освещен ярче, чем обычно. Перрон наполнен жандармами, полицейскими, частными агентами. Первый звонок. Второй звонок. Пассажиры прощаются, садятся в вагоны. Провожающие собираются возле окон. Жандармы и полицейские исчезают, как по мановению жезла.

Третий звонок. Соня, переодетая, преображенная искусной рукой так, что сама себя не узнает, быстрым шагом подходит к вагону, подымается на площадку. Свисток. И вот поезд уже движется вдоль опустевшей платформы.

Кажется, обошлось. Но нет! Радоваться рано. Слышится звон шпор. Из противоположных концов вагона идут навстречу друг другу исчезнувшие с перрона жандармы. Нижние чины держат в руках зажженные фонари. Агенты в погонах и без погон внимательно всматриваются в лица пассажиров. При свете фонаря Соня вдруг видит купца Никиту

Тимофеевича. Но он, по счастью, не узнает в разряженной даме свою простоватую соседку Марину Семеновну Сухорукову.

Розыски московских «взрывателей» идут полным ходом. Уже в два часа ночи с 19 на 20 ноября Дрентельн отдал приказ почте и телеграфной станции относиться с особым вниманием к поступающей корреспонденции. К этому времени он уже знал из донесения полицмейстера, что хозяин дома — «молодой человек лет 25, блондин», а «жившая с ним женщина тоже блондинка, лет 18 и очень хороша собой». В донесении говорилось, что дом, из которого велся подкоп, оставлен совсем недавно. Догадаться об этом было нетрудно. И самовар, стоявший на столе, и протопленная утром печь к приходу полиции еще не успели остыть. Свеча на окне в светелке и та еще не догорела.

В дальнейшем Третье отделение установило, что «злоумышленники» перед тем, как переехать в «проклятый домик», проживали в Кривом переулке, на Чистых Прудах, и учинило строжайший допрос хозяйке квартиры Александре Васильевне Кузьминой. Та объяснила, что жильцы ее были люди уважительные, тихие, непьющие, подтвердила, что Марина Семеновна совсем девочка, лицо имеет красивое, розовое, волос белокурый. Про самого Сухорукова сказала, что волосы и борода у него русые, но впадают в рыжину и что на шее у него имеются шрамы.

Кроме характеристики Сухоруковых и описания их наружности, от Кузьминой ничего добиться не удалось. Но на первых порах и этого оказалось достаточно. В появившихся вскоре и в Москве и в Петербурге объявлениях обещалась большая награда за головы «злоумышленников» и давалось подробное описание примет.

Позади бессонная ночь. Поезд, вагон, жандармские осмотры на каждой станции; пьяный выкрик в коридоре: «Попались бы они мне в руки, да я бы им, злодеям, все косточки переломал, жилы бы из тела повытаскал!» И вот уже Соня разыскивает на петербургских улицах дом, в котором, по словам Михайлова, она будет в относительной безопасности.

По мастерски сделанному описанию Соня сразу узнает четыре окна над входом и условленный знак безопасности, видный еще с улицы, лестницу. Она едва успевает постучать, как перед ней распахиваются двери. Товарищи ждут ее уже давно с нетерпением, волнением, страхом.

Соня, насколько может спокойно, крайне сдержанно дает им отчет о случившемся. А потом, когда идет в соседнюю комнату помыться и остается наедине с Гесей Гельфман и Ольгой Любатович, уже совсем иначе,

взволнованно, торопливо, прерывающимся голосом, стоя с намыленными руками перед умывальником, рассказывает о том, что ей пришлось пережить. Ольге не верится, что всего год прошел с того времени, как она впервые увидела Перовскую улыбающуюся, оживленную, счастливую. Только год... А все стало другим. Где те, которые собрались тогда у Малиновской? Кравчинский за границей, Коленкина, Лешерн и сама Малиновская в крепости, Валериана Осинского уже и на свете нет. А сама Соня, как она изменилась! Лицо ее выражает глубокое страдание. Она вся дрожит. Ольга не может понять отчего. От холода ли, охватившего ее мокрые обнаженные руки, или от тяжелого чувства неудачи и долго сдерживаемого волнения.

Концы нитей

Борьба между правительством и революционерами пошла не на жизнь, а на смерть. Царь приказывает во что бы то ни стало поймать и наказать «московских взрывателей». Но «московские взрыватели» скрылись бесследно и где-то в своих никому не известных лабораториях готовили новые взрывы. После 19 ноября они выпустили воззвание к народу. Под воззванием стояла подпись: «Исполнительный Комитет «Народной воли».

Никто не знал, где находится Комитет. Что это за таинственный трибунал, присуждающий к смерти царей?

Чтобы распутать клубок, надо схватить конец нитки. Теперь, после взрыва на Московско-Курской железной дороге, как на конец нитки или на ключ к тайне стали смотреть на человека, арестованного в Елисаветграде с динамитом. Следственные органы не сомневались в том, что между ним и «московскими взрывателями» имеется прямая связь. Нужно было только заставить его заговорить.

Но это оказалось нелегкой задачей. Он, хоть и заявил при аресте, что «имеет честь принадлежать к числу членов социально-революционной партии в России», продолжал давать ложные биографические сведения и именовать себя явно не своим именем.

Аресту Ефремова придавалось настолько большое значение, что в Елисаветград будто бы проездом, а в действительности специально для того, чтобы допросить преступника, прибыли одесский генерал-губернатор Тотлебен и его правая рука Панютин. В ход были пущены и обещания помилования и угрозы, но Гольденберг оставался непоколебимым, хоть очень хорошо знал, что угрозы в устах этих прославившихся своей жестокостью людей имеют самый реальный смысл.

К тому дню, когда преступника по приказу Тотлебена перевели в Одессу, его псевдоним уже был открыт. Жандармский полковник Новицкий, знавший Гольденберга еще по киевским делам, опознал его по фотографической карточке, присланной ему, как и другим начальникам губернских жандармских управлений.

Пока Третье отделение изобретало способы для получения показаний от Гольденберга, конец нитки нашелся совсем в другом месте.

24 ноября в полицейский участок на Загородном проспекте пришел человек с поднятым воротником, в картузе, надвинутом на глаза, и сказал дежурному околоточному:

— Господина пристава по очень важному делу.

Пристав приехал хмурый. Кто посмел его будить ночью? Но когда человек в картузе протянул ему листок с заголовком «Народная воля», глаза пристава заблестели под седыми бровями. И сразу же перед ним мелькнула эмаль ордена Святой Анны 3-й степени.

Человеку в картузе учинили допрос. Он показал, что листок ему дала дочь священника Боголюбская. Немедленно произвели обыск у Боголюбской. Она призналась, что получила листок от Евгении Побережской. Отправив Боголюбскую в участок, пристав сразу же поскакал в адресный стол. Зажгли свечи, принялись рыться в списках. И, наконец, нужный адрес нашелся: Лештуков переулок, дом № 13.

— Недурно, — сам себе говорил пристав, запахивая полость саней, — Анна и чин полковника. Полковник Кулябко! Звучно...

В Лештуковом переулке оказался склад «возмутительных листков». Хозяева квартиры — молодой человек и барышня — смущенно переглядывались. Видно было, что они хотели переговорить между собой, но пристав приказал городовым не допускать никаких разговоров.

Кроме листков, нашли кинжал, револьвер и какие-то аппараты, похожие на бомбы. Пристав побледнел, увидев эти страшные вещи. Орден Святой Анны вдруг потускнел. Но ничего не взорвалось. Все шло благополучно.

Под самый конец обыска пристав увидел в углу комнаты скомканную бумажку. На бумажке было изображено в нескольких видах здание, похожее на Зимний дворец. Кое-где виднелись таинственные значки: кружки, крестики, квадраты.

Если бы пристав Кулябко оказался подогадливее, быть бы ему генералом, а не только полковником. Но ни он, ни другие чины полиции не проявили должной сообразительности. Обитателей квартиры на Лештуковом — отставного-учителя Чернышева и Евгению Побережскую — посадили под замок и на этом успокоились.

Нитка, попавшая в руки пристава Кулябко, оборвалась, и клубок до поры до времени оставался нераспутанным.

25 ноября Соня, забыв всякое благоразумие, прибежала при свете дня на Знаменскую площадь, где под именем инженера Хитрово с супругой проживали Морозов и Любатович.

— Не ходите к Квятковскому, у него сегодня должен быть обыск, — сказала она, задыхаясь. — Я попробую его предупредить. Может быть, еще не поздно.

— Ну, уж нет! — возразила Ольга решительно. — Это дело не для тебя. Ты отсюда не вырвешься.

Это дело, правда, не для Сони, но и не для них обоих тоже. Морозову пришло в голову отправить на разведку Ошанину. Соня не возразила, мысль разумная: Мария Николаевна никогда не судилась, не была у жандармов на подозрении, да и жила на Николаевской совсем близко от Невского.

Соня осталась ждать возвращения Морозова. Ей хотелось убедиться, что он застал Марию Николаевну дома. В том, что она не откажется выполнить любое самое опасное поручение, не могло быть сомнений.

Прошло полчаса. Разговор не клеился. Трудно сидеть сложа руки и разговаривать, когда знаешь, что каждая потерянная минута грозит людям гибелью. Соня, хотя ей и не хотелось оставлять Ольгу, обеспокоенную затянувшимся отсутствием мужа, дольше ждать не могла. Она торопилась предупредить тех, кто должен был в этот день посетить квартиру в Лештуковом.

Через каких-нибудь два часа Соня узнала от Марии Николаевны, что Квятковского и Евгению Фигнер, живших по документам Чернышева и Побережской, арестовали еще накануне вечером. И что вдобавок к этому в оставленную у них засаду попала Ольга, которая, так и не дождавшись Морозова, сама отправилась в Лештуков переулок.

Мария Николаевна попала бы в ту же засаду, если бы, встретив на лестнице Ольгу в сопровождении полицейских, не догадалась подняться этажом выше. Она уже успела предупредить Морозова, чтобы он ушел из квартиры, как только очистит ее от всего, что могло бы дать нить для дальнейших расследований.

Но не тут-то было. Морозов, вместо того чтобы уйти, остался ждать, пока Ольга, решив, что он успел замести следы, приведет полицию по правильному адресу. Этих двух людей связывала самая нежная, самая романтическая любовь. Забыв, что, кроме рыцарских чувств, существует революционный долг, Морозов решил попытаться выручить Ольгу, а на худой конец разделить ее судьбу.

Его расчеты оказались правильными, в результате их супруги Хитрово теперь уже вдвоем очутились под домашним арестом. Для Ольги, бежавшей из Сибири, и Морозова, бывшего одним из «московских взрывателей», это приключение могло окончиться особенно плохо.

Настали тревожные дни. Исполнительный Комитет вызвал для наведения порядка Михайлова. Александр Дмитриевич приехал

взволнованный, удрученный. Он знал, что Квятковскому в лучшем случае не избежать каторги. Но его еще больше, чем личная судьба друга, волновала судьба связанного с ним предприятия. Что это было за предприятие, Соня не знала. Она слышала как-то слова Квятковского: «Пока мы делаем все эти приготовления, личная храбрость одного человека может все покончить разом»; знала, что речь идет о взрыве дворца, но только в самых общих чертах, во всяком случае роли Квятковского себе не представляла.

Позднее выяснилось, что Квятковский пострадал из-за Евгении Фигнер. Она по неопытности при знакомстве с людьми называлась фамилией, под которой была прописана.

Прошло несколько дней, и «Народная воля» понесла еще одну потерю: арестовали Ширяева. Узнав, что Ширяев был арестован в квартире невесты, в том месте, где ему по правилам конспирации ни в коем случае не следовало показываться, Михайлов сказал: «Несчастливая русская революция». Эти слова он говорил всегда, когда провал происходил из-за неосторожности самих революционеров.

Так как супругам Хитрово удалось каким-то чудом убежать из-под домашнего ареста, Михайлов именно на них вылил весь накипевший в нем гнев. В данном случае поговорка «Победителей не судят» не оправдалась. И Ольге Любатович и Николаю Морозову, несмотря на все их оправдания, пришлось выслушать много горьких истин по поводу «авось да небось», «широкой русской натуры» и «преступной халатности», после чего их для так называемого «карантина» водворили в типографию.

Во избежание дальнейших провалов Михайлов прежде всего нанял на Гороховой улице, в доме между Садовой и Екатерининским каналом, очень удобную в конспиративном отношении квартиру. В ней, конечно под другим именем, прописался Йохельсон, который был тесно связан с Квятковским и нуждался в том, чтобы как можно скорее переменить местожительство. На Бассейную, где он жил до сих пор, уже приходили наводить о нем справки. Гесю Гельфман решили поселить там же под видом гражданской жены Йохельсона. Она только что вышла из рабочего дома, где в ужасающих условиях отбывала наказание по делу пятидесяти, и теперь скрывалась.

Соню, нуждавшуюся в безопасном убежище еще больше, чем они оба, Исполнительный Комитет тоже устроил на Гороховой, но без прописки. Время было такое, что считалось опасным прописывать даже самый лучший паспорт.

Перед тем как переехать на новую квартиру, Йохельсон сдал на

Николаевский вокзал в камеру хранения чемодан с «паспортным бюро». Оттуда по квитанции на предъявителя его получил Мартыновский.

После напряжения последних месяцев для Перовской наступил отдых. Она покидала дом только по вечерам, да и то под густой вуалью.

Каждое утро Владимир Йохельсон выходил на улицу около десяти часов, когда служащие обыкновенно уходят на частную службу, и возвращался в те же часы, что и они, с типографскими красками, бумагой, бутылками азотной кислоты от Штоль и Шмидта, с покупками, как он сам говорил, «не для мирного обихода».

За бутылками приходил Тихомиров, за бумагой — Софья Иванова. Она уносила бумагу в черном коленкоре, так, как портнихи обыкновенно носят заказы, в том же черном коленкоре, в котором приносила на Гороховую несброшюрованные номера «Народной воли».

Софья Иванова — «Ванечка», как ее прозвали товарищи за веселый, мальчишеский нрав, работала когда-то в типографии у Мышкина, а теперь она стала хозяйкой народовольческой типографии.

— Искали для роли хозяйки кого-нибудь посолиднее, — улыбаясь, сказала она Соне, — но, видно, солиднее меня в партии не нашлось.

Она шутила, но в ее словах слышалась горькая правда. Почти вся «Народная воля» состояла из очень молодых людей — те, которым удалось проработать на революционном поприще несколько лет подряд, считались счастливым исключением.

Раньше квартира, в которую приходила Ванечка, сразу наполнялась смехом, весельем, жизнью. Одновременно с ней из другого дома приходил за паспортами для нелегальных Квятковский. Товарищи знали, что Софья Иванова и Александр Квятковский муж и жена. По правилам конспирации он не имел возможности лишний раз прийти в типографию, и никого не удивляло, что они пользовались каждым случаем для лишней встречи.

Изредка Ванечка приносила на Гороховую вести из Приморского — Варвара Степановна и Василий Львович писали теперь Соне письма на адрес одной из легальных приятельниц Ванечки.

Соня не была членом «Народной воли» и все-таки участвовала в ее деятельности. В первые дни своего пребывания на Гороховой она удовлетворялась тем, что помогала по хозяйству Гесе Гельфман. Но хозяйство отнимало совсем мало времени, а сидеть сложа руки было не в Сонином характере. И уже через несколько дней она стала наравне с другими брошюровать «Народную волю», надписывать адреса на конвертах, предназначенных для рассылки воззваний и прокламаций,

выписывать из принесенных Михайловым листков имена людей, которым предстоит арест, и имена людей, которых следует остерегаться.

В этих листках сообщались вкратце не только приметы и характеристики тайных агентов, но и полученные от них сведения. И самое ценное, что в них было, это предположения и планы самого Третьего отделения. Александр Дмитриевич берег того, кто доставлял ему эти сведения, как только мог, встречался с ним лично на совершенно безопасной квартире у сестры Ошаниной — Наташи Оловенниковой — верного и вполне «легального» человека.

Когда хозяин типографии Бух задал по поводу источника всех этих сведений какой-то недостаточно скромный вопрос, Александр Дмитриевич оборвал его словами:

— У нас, кроме адреса нашей типографии, только две тайны: подробности взрыва и имя полицейского чина. К чему праздное любопытство?

Соня ни о чем не спрашивала и не считала себя вправе спрашивать.

Через десять дней после ареста Квятковского полиция произвела облаву в меблированных комнатах дома № у на Гончарной и арестовала Мартыновского — того самого, который взял к себе для хранения чемодан с «паспортным бюро». Этот арест был для полиции случайной удачей. Не желая делить лавры с кем-либо, она передала найденное не в Третье отделение, как полагалось, а в градоначальство.

Среди бумаг приставу сразу бросились в глаза черновые проекты документов отставного учителя Чернышева, тех самых, которые предъявил при обыске молодой человек, арестованный одновременно с Побережской. Улик оказалось достаточно, для того чтобы привлечь Квятковского и Мартыновского к одному и тому же делу.

Провал Мартыновского вызвал переполох. Всем нелегальным пришлось спешно менять и имена и адреса, а без «паспортного бюро» это стало особенно трудной задачей.

В Москве, в домике у переезда, Соня часто, говорила себе: «Только бы кончить начатое, а потом уехать в деревню».

Но, вернувшись в Петербург, она увидела, что в лагере чернопередельцев — мертвая тишина. Многие из них уехали за границу, «деревенщичики» «закрыли лавочку», как про них говорила Ошанина.

Народовольцы, после того как Соня проявила себя во время московского подкопа смелым, деятельным и находчивым работником, буквально жаждали привлечь ее на свою сторону. Они доказывали ей, что у

чернопередельцев нет в народе никаких «зацепок», что работать сейчас в деревне — это все равно, что «наполнять бочки Данаид», совершать «сизифов труд».

И больше всего Соню огорчало, что сами сторонники «Черного передела», с которыми она повидалась, как только вернулась в Петербург, в ответ на ее вопрос: есть ли у них какое-нибудь «дело в народе», стали уговаривать ее ехать за границу и там дожидаться лучших времен.

— Нет, — ответила она резко, — я предпочитаю быть повешенной здесь, чем жить за границей.

Однажды, когда в ответ на слова Желябова, полные веры в свержение самодержавия, в народное восстание, Соня сказала: «Сколько еще поколений погибнет, пока это сбудется!», кто-то из народовольцев дал ей тот же совет, что и чернопередельцы.

Но не такой был у Сони характер, чтобы спокойно ждать за границей, пока товарищи ценой собственных жизней добьются того, что работа в народе станет возможной.

Уехать, отказаться от революционной работы или присоединиться к единственной действующей партии — другого выхода Соня не видела.

— Нет, нет, — решительно ответила она, — я останусь погибать с борющимися товарищами.

На следующий день Желябов с необычайной радостью сообщил чернопередельцам, что Софья Львовна уже формально присоединилась к «Народной воле».

В нелегкие дни вступила она в «Народную волю». И полиция работала во всю мощь, и Третье отделение не дремало. Во всяком случае, дело о московском покушении не оставалось без движения.

«Обвиняемый положительно отказывается от всяких объяснений, которые могли бы служить к разъяснению дела», — написал 5 декабря в Третье отделение одесский жандармский полковник Першин и тут же сообщил, что «Гольденберг причастен к делу взрыва полотна железной дороги под Москвой, что в числе 6 человек он работал в минной галерее и жил в том доме, откуда выведен подкоп, что вместе с ним жила какая-то женщина, имя которой от Гольденберга еще не дознано» и что «дом был куплен на имя Сухорукова за 2 500 рублей и тотчас же заложен какой-то купчихе за 1 000 рублей...».

Откуда же он все это знал, если Гольденберг не давал объяснений? Да очень просто — от самого Гольденберга. Он на допросах стоически выдерживал натиск жандармов, а у себя в камере вел откровеннейшие беседы с Курицыным, посаженным к нему по приказу самого Тотлебена.

Не только он, но и его товарищи на воле считали Курицына честным революционером и своим человеком.

Получив некоторые сведения о Сухоруковых, Третье отделение снова вызвало на допрос Кузьмину. Она теперь уже знала из казенных объявлений, какие страшные «злодеи» проживали у нее на квартире, и стала более словоохотливой. Рассказала, что, зайдя как-то в отсутствие жильцов на их половину, увидела, что у них, у совсем простых людей, на столе лежали нерусские ученые книги, а в углу задней комнаты стоял огромный сундук, из которого торчала какая-то тесьма.

— Сундука этого, — объяснила она, — я при переезде Сухоруковых не видела. Его потом, когда они съезжали с квартиры, четыре человека с трудом вынесли.

После допроса жандармский офицер вытащил фотографическую карточку, на которой был изображен человек в арестантской шапке и арестантском халате, протянул карточку Кузьминой и спросил:

— Узнаете?

Она ответила: «Не узнаю», но после того, как офицер прикрыл шапку на фотографии бумагой, неожиданно для самой себя воскликнула:

— Да это они самые и есть!

Утро. Соня и Геся Гельфман пьют чай в комнате, которую Иохельсон в разные часы дня величает то спальней, то салоном, то кабинетом. Но сейчас ему не до шуток. Он торопится — дворники думают, что на частную службу, а на самом деле — в динамитную мастерскую. Иохельсону всего девятнадцать лет, но выглядит он старше и по паспорту числится отставным чиновником.

Вдруг раздается отрывистый звонок, потом еле слышный стук.

— Не стряслась ли новая беда? — говорит с тревогой Геся.

Соня успокаивает ее. Она теперь в курсе происходящего, знает, что пришел Михайлов, и знает, зачем он пришел.

— Владимир, — наскоро поздоровавшись, обращается Михайлов к Иохельсону, — надо переправить Алхимика за границу. Поедешь?

Ответа он не ждет. Знает, что в таком деле отказа быть не может.

— Да, да, — подтверждает Перовская, — Алхимику необходимо уехать, успокоиться.

На Гартмана произвело потрясающее впечатление то, что в новых «объявлениях» сообщается его подлинное имя и, главное, появилась его фотография. Он решил не даваться полиции живым, но, вместо того чтобы

удвоить осторожность, нервничает и ведет себя крайне подозрительно: при малейшем шуме в гостинице громоздит перед дверью в свой номер баррикады из столов и стульев.

Иохельсон выходит из дому в обычное время. Вслед за товарищем, чтобы проверить, не установлена ли за ним слежка, уходит и Михайлов. Но не успевают Соня и Геся перемыть посуду и привести в порядок комнаты, как опять раздается условный звонок. На этот раз является Гартман. Его баки выкрашены в черный цвет, а рыжеватые волосы тщательно запрятаны под форменную фуражку. На шее у него широкий вязаный шарф. «Громадные шрамы на шее от перенесенной в детстве золотухи» указаны в объявлении как особые приметы.

После того как возвращается и Михайлов, Соня снимает специально для них обоих выставленные знаки безопасности.

Теперь жандармы стали опытнее: запрещают хозяевам во время обыска подходить к окнам. Но революционеры тоже приобрели опыт и употребляют уже не один простой, а несколько сложных, периодически повторяемых знаков безопасности. Жандармы могут не подпустить к форточке или не разрешить переставить цветок, но не могут догадаться, через какой именно промежуток времени требуется переставлять этот цветок, открывать и закрывать форточку, отдергивать и задергивать занавески.

Конспирация за короткое время была значительно улучшена. И обязана этим «Народная воля» Александру Михайлову — Дворнику, Хозяину, Всевидящему оку организации. Он составил перечень всех проходных дворов Петербурга и Москвы, всех лестниц, имеющих выход на две улицы. В Третьем отделении его не знают, а Михайлов знает в лицо великое множество тайных сотрудников, доносчиков, филеров. Изучил их повадки и манеру следить. Он превратил конспирацию в искусство, разработал как науку.

Дом на Гороховой, в котором Соня нашла приют, иллюминирован. У ворот вереница карет. В квартире домовладельца на верхнем этаже музыка, пение, танцы. Шум такой, что кажется: вот-вот обвалится потолок.

Но и они, жители нижнего этажа, не теряют времени даром. Они воспользовались чужой свадьбой, чтобы «под шумок» устроить Гартману торжественные проводы. Соня накрыла на стол, Геся испекла пироги, купила колбасу, сыр. Гости сами принесли пиво и даже вино. Водку революционерам пить не полагается и в самых торжественных случаях.

Сегодня у них тоже пение и танцы, но поют все вполголоса, а танцуют,

чтобы не было шума, в чулках и носках. Их веселье — это веселье на вулкане. В квартире на случай обыска хранятся разрывные снаряды.

Среди гостей и Ольга Любатович, и Николай Морозов, и рабочий Пресняков, и Баранников с женой (он по фальшивым документам женат на Мария Николаевна Ошаниной), и младшие сестры Марии Николаевны — Наташа и Лиза Оловенниковы, и сам великий конспиратор — Александр Дмитриевич Михайлов. Проводы устроены с его благословения. Среди гостей и Софья Иванова. Она весела, как всегда. Соню поражает выдержка этой женщины: она хорошо знает, как сильно Ванечка любит Квятковского, как много горя принес ей его арест.

Гости, собравшиеся в конспиративной квартире, разошлись поздно, одновременно со свадебными гостями, которые спяна даже не заметили присоединившихся к ним у ворот незнакомых людей.

На следующее утро Соня еще не совсем проснулась на своей узкой кушетке за огромной кафельной печкой, как вдруг до ее слуха донесся взволнованный голос Гартмана. Она прислушалась.

— Я не уеду, — говорил Гартман, — уехать сейчас — значит дезертировать.

— Как ты не понимаешь, Алхимик, — возражает Михайлов сурово. Соне показалось, даже чересчур сурово, — что сейчас нам некогда с тобой нянчиться. Тут ты будешь для нас только обузой.

Она поспешно оделась и вышла в соседнюю комнату, где Пресняков, прославившийся среди товарищей как отличный гример, делал при помощи оловянных трубочек с красками, кисточек, бритвы и ножниц все, что только мог, чтобы превратить Гартмана в не Гартмана.

— Послушай, Алхимик, — сказала Соня, — Дворник прав: надо переждать, пока утихнут розыски. Здесь тебе все равно придется сидеть сложа руки, а за границей ты сможешь влиять на общественное мнение.

Гартман не стал спорить. Что-то неуловимо мягкое в Сонином тоне, в самом звуке ее голоса подействовало на него успокоительно.

В тот же вечер Гартман, больше похожий на английского денди, чем на русского нигилиста, простился с Соней и в сопровождении Михайлова отправился на вокзал. Иохельсон должен был ждать его в вагоне.

Перед тем как Иохельсон вышел из дому, Михайлов отобрал у него прописанный вид на жительство, вручил ему новый, приготовленный специально для дороги, и сказал, указывая на Соню:

— Помни, сейчас ты должен особенно беречь свою квартиру.

Вступив в «Народную волю», Соня не прекратила дружеских отношений с чернопередельцами. У одного из них она как-то встретила Ковальскую. Они обрадовались друг другу, вспомнили прошлое, общих друзей, но, как только заговорили о настоящем, разговор сразу увял. Соня была членом «Народной воли», Елизавета Ивановна — «Черного передела», и это помимо их воли стало между ними стеной.

Тут же был Плеханов. Он пришел, чтобы продолжить с Желябовым все тот же нескончаемый спор. Желябов опоздал. Плеханов стал отпускать по этому поводу какие-то шутки. Соню оскорбил его тон. У нее было такое чувство, будто ее собственная семья разбивается. Она подняла на Плеханова глаза, полные укора, взяла со стола книгу и стала читать.

Пришел Желябов, и начался «словесный бой». Соня жаждала услышать что-нибудь новое, увидеть какой-то выход. Но нет! Опять повторялись те же мысли: индивидуальный террор противопоставлялся работе в народе, политический переворот — социалистической революции.

Заколдованный круг оставался заколдованным кругом.

Перед уходом Соня подошла к Ковальской и спросила ее вполголоса:

— Когда вас можно увидеть одну?

В маленьком ресторане, наполненном учащимися, шум, гам, суета. Соня и Ковальская устроились за отдельным столиком.

— Я позвала вас сюда, — сказала Соня вполголоса, — потому что мне очень хочется перетащить нас к нам.

— Вся моя боевая натура рвется к вам, — ответила Ковальская так же тихо, — но, оторвавшись от народа, вы совершите политический переворот, а не социалистическую революцию.

— Но у вас же нет ничего реального.

Она была бы счастлива услышать возражения, но Ковальской нечего возразить, Соня тоже молчит. Она вспоминает, как хотела когда-то втянуть Елизавету Ивановну в кружок чайковцев, потом в дело освобождения «центральных». В первый раз Елизавета Ивановна внезапно заболела, во второй раз должна была спастись из Харькова бегством. Что же мешает им вместе работать сейчас? Разница во взглядах? Но полно, так ли разнятся их взгляды? Разве Соня сама не боится оторваться от народа?

— Если бы у вас было живое, серьезное дело, — сказала она, — я пошла бы с вами, но я у вас, к сожалению, такого дела не вижу.

Год тысяча восемьсот восемьдесятый

Ночь на 1 января 1880 года. Морозная, звездная, бессонная. Петербургу не до сна. Он встречает не только Новый год, но и новое десятилетие.

Сколько тостов и пожеланий! Люди пьют за здоровье друг друга, за благоденствие России, во дворцах и в официальных местах — за искоренение крамолы и восстановление законного порядка, в частных собраниях — за новые реформы и, оглядываясь по сторонам, за какую ни на есть конституцию.

В конспиративной квартире на Гороховой, где собрались только свои и оглядываться не приходится, провозглашают тост за то, чтобы выпитая в эту Ночь чаша была последней чашей неволи.

Свечи в комнате погашены. В суповой миске над сахаром, лимоном и разными специями голубоватым пламенем горит ром. Из-за отблесков этого пламени и люди, собравшиеся в комнате, и сама комната принимают фантастический, причудливый вид. Любитель оружия Морозов кладет на суповую миску, которая в этот вечер торжественно именуется чашей, кинжал, за ним другой, третий. И все, словно по уговору, запевают вполголоса, чтобы не услышали в соседней квартире, гайдамацкую песню:

Гей, не дивуйтесь, добрые люди,
Що на Украине повстанье...

Потом:

Я видел рабскую Россию перед святыней алтаря;
Гремя цепями, склонивши выю, она молилась за царя...

После ужина поэты — Морозов и Саблин — выступают со своими произведениями. В них говорится все о том же — о беспросветной народной жизни, о борьбе за благо народа. Саблин читает стихи особенно хорошо: напевно, несколько монотонно, но необыкновенно выразительно.

Стихи навевают грусть, но Андрей Желябов весел и хочет, чтобы все вокруг были веселы. Он сам поет и пляшет, он заставляет петь и плясать других. Гости, кроме Желябова и Колодкевича, все те же, которые были на

проводах Гартмана, но настроение у них на этот раз другое: приподнятое, веселое. Геся Гельфман, оживленная, похорошевшая, с прищелкиванием и пристукиванием отплясывает какой-то своеобразный танец, а потом играет на гребенке, как на настоящем музыкальном инструменте.

Соня не поет, не танцует, не читает стихов. Она чинно сидит у самовара и разливает чай, но ей хорошо, лучше, чем когда бы то ни было.

Она не может понять: все ли собравшиеся веселятся оттого, что с ними полный жизни и огня Желябов, или присутствие этого человека так важно, так необходимо только ей одной?

Расходятся гости по одному, когда дворник, словно сторожевой пес, уже спит по своему обыкновению поперек калитки. На прощанье еще тише и проникновеннее, чем другие песни, поют «Марсельезу».

1880 год начался с затишья, но это было затишье перед грозой.

«...Поздравляю тебя и всех нас с Новым годом и русской революцией, которая в наступающем году, наверно, придет в движение и тотчас изменит облик всей Европы», — написал 10 января Фридрих Энгельс Вильгельму Либкнехту в Лейпциг.

В России чувствовалась напряженная атмосфера. По Петербургу бродили зловещие слухи. Третье отделение получило откуда-то «точнейшие сведения», что цареубийство назначено на 6 января, и по этому поводу был даже отменен обычный в праздник крещения выход царской семьи на набережную Невы.

Вспомнив о найденном у отставного учителя Чернышева плане, жандармы учинили на всякий случай обыск в самом дворце. Но и обыск ничего не дал, и покушения не последовало. Третье отделение успокоилось. Успокоились и народовольцы. Им казалось, что все обошлось.

Но это им только казалось. Когда в градоначальстве, не торопясь, разобрались в полученных на Гончарной трофеях, то обратили особенное внимание на черновой проект метрической выписки о бракосочетании Луки Афанасьевича Лысенко с Софьей Михайловной Рогатиной.

Документ был фальшивый, но мог дать для выяснения истины больше, чем любой настоящий. Ведь и прописывались «злоумышленники» тоже не по настоящим, а по фальшивым документам.

Узнав в адресном столе, где проживают супруги Лысенко, полиция в ночь с 17 на 18 января нагрянула в Саперный переулок, д. № 10 и в квартире № 9 нашла такое, чего и сама не ожидала, — знаменитую Петербургскую Вольную типографию.

Полиция ни с кем не хотела делить лавры и проделала все это втайне

от Третьего отделения. Человек, которого Михайлов называл полицейским чином, не мог предупредить ни о чем, так как в действительности никакого отношения к полиции не имел.

Несмотря на то, что приход незваных гостей был для работников типографии полной неожиданностью, они не растерялись и встретили пришельцев выстрелами.

Приставу пришлось сделать то, чего ему меньше всего хотелось, — отступить и обратиться за помощью во все то же Третье отделение.

Типографчики, воспользовавшись промедлением, сняли знаки безопасности, разбили в окнах стекла и вышибли рамы. Они старались произвести как можно больше шума, чтобы предупредить об опасности товарищей.

Приставу пришлось вызвать не только жандармов, но и пожарных. В квартире № 9 пылали костры. Там жгли то, что только можно было сжечь, пытались уничтожить все, что поддавалось уничтожению.

В конце концов у осажденных кончились патроны, и им волей-неволей пришлось сдаться. Третий номер «Народной воли» конфисковали. Четырех человек — связанных и избитых — увезли. Пятого и связывать не пришлось: он застрелился.

Но и на этом не кончилось. Извещение редакции «Народной воли», в котором сообщалось, что «знаменитая Петербургская Вольная типография, уже третий год с такой честью служившая делу русской революции, погибла», тоже не получило распространения. Она была напечатана в типографии «Черного передела» как раз в тот день, когда по доносу предателя Жаркова властями была раскрыта и эта типография. Перестали, наконец, появляться извещения, разоблачения, обвинительные акты.

Правительство торжествует, но торжествует слишком рано. Россия не осталась без вольного слова. О провале революционных типографий сообщил не только «Правительственный вестник», но и «Листок» «Народной воли», выпущенный вновь организованной летучей типографией.

Его императорское величество недоволено Третьим отделением собственной его величества канцелярии. Учреждение, имеющее целую армию гласных и негласных сотрудников, на содержание которых ассигнуются немалые средства, оказывается беспомощным в борьбе с крамолой, тогда как полиция умудряется вылавливать и воров, и грабителей, и важнейших государственных преступников.

Но Третье отделение, когда в его руках находятся пусть и не его руками взятые преступники, не теряет надежды вернуть себе царскую

милость. Оно не сомневается, что следствие наведет на след тех, которые еще находятся на свободе. Оно уверено, что и Гартману, которому удалось с фальшивым паспортом выехать во Францию, не избежать виселицы. Недаром префект французской полиции знаменитый Андрие сам взялся устроить его арест.

И больше всего надежд Третье отделение возлагает все на того же Гольденберга. По записке, составленной с его слов Курицыным, уже ведется на местах следствие. Курицын уже получил в награду за свои услуги полное помилование. Гольденберг все еще продолжает отмалчиваться. И участники «злодеяния» все еще на свободе.

Жандармский полковник Першин пишет в Киев жандармскому полковнику Новицкому:

«...Григорий Гольденберг, задержанный в Елисаветграде с динамитом, упорно отказывается от всяких показаний. Не дадите ли вы мне, дорогой друг Василий Дементьевич, товарищеский совет и указание, каким путем расположить Гольденберга к даче показаний...»

«Мною отправлены к вам из Киева отец и мать Гольденберга, — отвечает полковник Новицкий. — Я убедил их воздействовать на сына, который до беспредельности любит мать. Советую вам не только допустить Гольденберга к свиданию с родителями, но и разрешить им жить с сыном и иметь ночлег у сына в камере...»

Все средства пущены в ход, чтобы заставить Гольденберга выдать сообщников. Каждое утро товарищ прокурора Добржинский входит в камеру и ровным, рассудительным голосом принимается его убеждать:

— Ну хорошо, вас не пугает виселица, но ваша мать... неужели вы ее не пожалеете? Ведь вы знаете, что она не переживет вашей смерти. Выдав сообщников, вы сохраните жизнь и ей и себе.

— Нет, нет, — говорит Гольденберг, стараясь не смотреть на своего мучителя. — Я не могу, не хочу погубить товарищей.

— Но ведь их все равно ждет смертная казнь. Правительство не остановится перед самыми суровыми мерами.

— Пусть так, но по крайней мере моя совесть останется чиста.

Добржинский обдумывает новый план атаки, Елисаветград, Одесса, Петербург, Киев изыскивают способы добиться показаний от Гольденберга. Москва тоже действует, но в другом направлении. Анну Васильевну Кузьмину, которая стала уже понемногу забывать своих таинственных жильцов, вдруг вызывают в Московское жандармское управление. Ей предлагают выехать на казенный счет в Париж, чтобы, если понадобится, опознать Сухорукова.

Перовская вступила в «Народную волю» в декабре 1879 года, а в трудные дни января 1880 года она уже была не только членом Исполнительного Комитета, но и одним из трех членов Распорядительной комиссии.

Строг и суров был устав Исполнительного Комитета: отдать все силы свои на дело революции; забыть ради нее все родственные узы, любовь и дружбу; отдать, если нужно будет, и свою жизнь; не иметь никакой собственности, ничего своего; подчинить свою волю воле большинства; хранить молчание о всех делах Комитета.

Соня давно уже не имела ничего своего, давно целиком отдала себя делу революции, не думала о собственном счастье, личной жизни, семье. Она дала все эти обещания, и с этого дня ее жизнь сливается с жизнью Исполнительного Комитета «Народной воли».

Правительство, которое знает о деятельности «Народной воли» в основном со слов Гольденберга, имеет о ней далёко не полное представление. Террор. Цареубийство. Вот о чем ему больше всего известно, но террор и цареубийство не исчерпывают ни программы партии, ни ее практической деятельности. «Народная воля» занята организацией всех революционных сил. Она ведет пропагандистскую и агитационную работу среди военных, рабочих, студенчества.

Руководители ее уже не верят, что восстание возникнет стихийно, и готовятся совершить переворот путем заговора.

У своей старой, еще симферопольской знакомой, Ольги Евгеньевны Зотовой, Соня встречается с ее братом Николаем Евгеньевичем Сухановым и его товарищем Штромбергом. На Николая Евгеньевича, блестящего морского офицера, Желябов возлагает большие надежды.

— Штромберг человек готовый, — сказал он как-то Вере Николаевне Фигнер, — обрати внимание на Суханова.

Агитировать Суханова против существующего строя не приходится. Он настроен революционно, мечтает о баррикадах. Ему понятен открытый бой, но террор отталкивает его.

И Соня не осуждает Николая Евгеньевича. Она помнит, как трудно было Кравчинскому решиться совершить покушение на Мезенцева, как мучительно трудно было ей самой перебороть в себе отвращение к революционному террору. Но теперь Соня считает, что Михайлов прав, когда говорит:

— Против опирающейся на военную силу централизованной власти может бороться только силой централизованная и притом тайная

организация.

Вот Морозов — тот против централизации. По его мнению, она только связывает местные силы и сдерживает инициативу героев.

Военные принимали участие в революционной деятельности и во времена кружка чайковцев. Кравчинский, Рогачев, Шишко, Кропоткин и многие другие были военными. Но тогда, становясь революционерами, они уходили в отставку. Теперь же от них требовалось, чтобы они помогли партии, оставаясь на военной службе. Народовольцы ждут от них не только пропаганды, но, в случае требования Исполнительного Комитета, и вооруженного выступления или чисто военного переворота.

— Вы на своем посту сможете принести большую пользу, — сказал Желябов полковнику Ашенбреннеру.

«Народная воля» не просто вербует новых членов партии среди военных и рабочих. Ее цель создать военную и рабочую организации. Права и обязанности военных еще не ясны. Программа для рабочих членов партии только задумана. Характер обеих организаций едва намечен, и многое приходится решать тут же, на ходу.

На рабочих «Народная воля» смотрит уже не только как на пропагандистов и агитаторов для деревни. Она ждет от них сознательного содействия перевороту, сознательного участия в предвыборной борьбе.

Рабочие должны выставлять свои требования учредительному собранию. В случае, если правительство, испугавшись бунта, даст конституцию, рабочие должны отстаивать свои интересы, добиться избрания своих представителей в парламент.

«По основным своим убеждениям мы социалисты и народники, — сказано в программе Исполнительного Комитета. — Мы убеждены, что только на социалистических началах человечество может воплотить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее материальное благосостояние и полное всестороннее развитие личности, а стало быть, и прогресс. Мы убеждены, что только «Народная воля» может санкционировать общественные формы, что развитие народа прочно только тогда, когда каждая идея, имеющая воплотиться в жизнь, проходит предварительно через сознание и волю народа. Народное благо и народная воля — два наших священнейших и непрерывно связанных принципа».

Рабочим отводится в программе «Народной воли» очень большая роль, но все-таки не главная. Исполнительный Комитет считает себя представителем всего народа, всех работников. Под словом «работник» одинаково подразумевается и крестьянин и рабочий. В «Программе

рабочих, членов партии «Народной воли» говорится: «Городским рабочим следует только помнить, что отдельно от крестьянства они всегда будут подавлены правительством, фабрикантами и кулаками, потому что главная народная сила не в них, а в крестьянстве».

Никто в России не предвидел в те годы судьбы только еще нарождавшегося рабочего движения. Но чтобы люди могли увидеть возможности этого движения, чтобы Россия могла прийти к марксизму — найти единственно правильную дорогу к революции, пригодился и опыт первых рабочих союзов и опыт рабочих кружков, основанных чайковцами, «Землей и волей» и «Народной волей».

На то, чтобы как следует поставить «рабочее дело», не хватает ни времени, ни людей. Содержание большого числа конспиративных квартир, изготовление подходящих документов, своевременный выход каждого из номеров «Народной воли», снабжение материалами динамитных мастерских и в обычное время требуют много труда, забот, денег. Теперь же, после провала «паспортного бюро» и типографии, налаживание всего заново требует столько сил, что людям и дышать некогда.

Чтобы пополнить свои ряды, партия принимает новых членов, но новые члены не сразу делаются полноценными работниками.

Соня не раз с тоской вспоминает тех, с кем вместе начинала революционную работу. Где чайковцы Сергей Синегуб, Саша Корнилова, Натансон, Волховской? Где большинство ее товарищей по «Земле и воле»? Не прошло и полугодия с тех пор, как создана «Народная воля», а ряды народовольцев уже успели поредеть.

Стоит Соне полюбить новых товарищей, сработаться с ними, как и их поглощает все та же бездна. Давно ли Ширяев, Квятковский, Софья Иванова работали с ней рука об руку? Теперь и они в крепости.

Когда Перовская взялась быть хозяйкой «проклятого домика», ей казалось, что вот-вот цареубийство будет совершено и она возьмется за пропаганду в народе. Уже будучи членом Исполнительного Комитета, она написала в Киев Родионычу, что ждет не дождется того дня, когда сможет вернуться в деревню.

Не одна Соня вынашивала такие планы. О том же самом тогда написал Родионычу Баранников, которого многие считали отъявленным террористом.

Время шло. Неудачи словно преследовали их. Покушение, которое партия готовила сейчас, было наиболее дерзким по замыслу. Соня, как член Исполнительного Комитета, знала о нем во всех подробностях.

Зимний дворец. В кабинете Александра II торжественная тишина. На стенах старинные ятаганы, сабли, пищали, пистолеты, картины в огромных рамах. Не комната, а музей.

Дворцовый столяр Степан Батышков, присев на корточки около кресла, лакирует выгнутую ножку. Он занимается своим делом усердно и с удовольствием: не красит ножку, а ласкает ее кисточкой.

Готово! Батышков собирает инструменты и на цыпочках (не попортить бы сапожищами паркета!) идет к другому креслу.

Вдруг вдали раздаются четкие шаги. Батышков испуганно вытягивается. Входит царь. Не глядя на Батышкова, он подходит к столу, наклоняется над какой-то бумагой, опираясь руками о край стола.

«Эта рука могла бы вернуть из Сибири тысячи людей», — думает Батышков, но эту мысль сразу же перебивает другая: «Если ударить молотком по темени, все будет кончено сразу».

Запах лака ударяет в голову. Сердце начинает биться в груди судорожной. Батышков протягивает руку к молотку...

Царь круто, поворачивается и уходит. Случай пропущен.

Степан Батышков выходит из ворот Зимнего дворца на площадь. Под фонарями прыгают по снегу голубые огоньки. Александровская колонна уходит темной вершиной в небо. Степан идет через площадь к арке Генерального штаба. У самой колонны из темноты выходит высокий человек в черном полушубке, в картузе, в высоких сапогах.

Батышков проходит мимо него и на ходу, не здороваясь, не поворачивая головы, отчетливо произносит: «Нельзя было».

Степан Батышков живет в подвале Зимнего дворца. Огромный, всегда запертый сундук в углу комнаты — его собственность.

Дворцовая полиция во время обыска в комнате столяров почему-то не догадалась заглянуть в этот сундук. А если бы заглянула, то нашла бы в нем два пуда динамита. И тогда выяснилось бы, что Батышков совсем не Батышков, а основатель Северного союза рабочих и агент Исполнительного Комитета «Народной воли» Степан Халтурин. И тогда вспомнили бы, что кружок на том плане, который нашли у Квятковского, стоит как раз над комнатой столяров.

5 февраля. Вечер. На втором этаже в покоях его величества, в желтой комнате, накрыт обеденный стол. Яркий свет люстры играет в граненом хрустале. Проходя сквозь вино, отбрасывает на скатерть красные тени.

Лакеи, переговариваясь вполголоса, расставляют закуски. Обедать будут: царь, наследник престола и принц Гессенский, который только что прибыл в Петербург.

Этажом ниже — караульные помещения. Тусклый свет, винтовки, серые шинели. Запах дегтя. А еще ниже — комната столяров.

Темный подвал. Полукруглые окна с чугунными решетками. На столе грязный чайник, раскрошенный хлеб. Здесь уже пообедали. Столяры — Батышков и Разумовский — пьют чай. В дверь заглянул печник.

— Что вы впотьмах сидите?

— Да нам сейчас на работу идти, — отвечает Батышков.

Через несколько минут Разумовский встает, берет лампу.

— Где тут у меня были петли? Не видать ничего.

— Не тронь лампу! — кричит Батышков. — Керосину нет. Выпустишь фитиль, стекло лопнет.

— Засвети хоть огарок.

Батышков нехотя зажигает огарок. Разумовский берет петли и выходит из комнаты.

Дворцовая площадь. Метель бьет в лицо, слепит глаза. Из снежной мглы опять выходит высокий человек в черном полушубке.

— Готово, — говорит ему, проходя мимо, Батышков-Халтурин.

И сейчас же вслед за этим позади раздается удар грома. Как будто из снежной мглы ударила во дворец небывалая зимняя молния.

Александр II твердым шагом прошел через комнату, в которой был накрыт стол, и остановился в дверях. Вдруг пол заколебался под его ногами. Погас свет. Что-то с грохотом и гулом валилось, рушилось. Смерд наполнил комнату. Александр II едва устоял на ногах, ухватившись за косяк двери.

Раздались крики. Кто-то зажег свет, и трепетный огонь осветил бледное, перекошенное лицо императора всероссийского.

Несколькими часами позднее человек в полушубке и картузе, весь занесенный снегом, вошел в квартиру на Гороховой. Это Желябов. После ареста Квятковского связь с Халтуринным держит он.

— Пока вы здесь сидите, — говорит Желябов, — произошло одновременно два события: взрыв в Зимнем и убийство Жаркова.

Желябов знал уже, что взрыв цели не достиг. Но на чьи-то слова: «Сколько сил потрачено и опять напрасно!» — возразил со страстью:

— Не напрасно! Такие события не проходят даром. Они показывают

нашу силу, а царь своей участи не избежит. Главное то, что все участники целы, и спрятаны в надежных местах.

В Петербург введены дополнительные войска. На бирже паника. Курс бумаг падает. Многие богатые и знатные семейства собираются выехать за границу, а пока что переправляют туда свои ценности.

События развиваются. Правительство с часу на час ждет восстания. Вооруженные дубинами дворники предупреждают население, чтобы оно запасалось водой на случай, если мятежники взорвут водопровод.

По стране ходят слухи один неправдоподобнее другого. В иностранных газетах печатаются самые фантастические известия. Правительство, которому сначала казалось приличнее объяснить взрыв несчастным случаем (результатом неисправности газовых труб), не торопится давать официальных сведений.

Во дворце каждый день собираются комитеты, советы, совещания, на которых обсуждают все те же вопросы. Говорят все о том же: о необходимости принять исключительные, особо действенные меры.

— «События во дворце ложатся прежде всего на ответственность дворцовых властей... — пишет у себя в дневнике граф Валуев. — Ответственность за размеры крамолы и ее глубокие корни принадлежит всему правительству, быть может кроме меня одного».

Россия притаилась, ждет, что предпримет правительство, а члены правительства заняты главным образом тем, чтобы снять ответственность за случившееся со своей головы и возложить ее на чужую.

Либералы надеются, что Александр II, напуганный красным призраком, пойдет на какие-то уступки. Что только не творилось до сих пор: казнили людей, которых по закону нельзя было и ссылать; ссылали тех, чья вина не была доказана, — а покушения становились все более дерзкими; и вот дошло до того, что император всей России уже не чувствует себя в безопасности даже в собственном дворце. Либералам кажется: дальше в сторону репрессий и идти некуда.

Но, оказывается, еще не все испробовано. 14 февраля Россия узнает, что «для поддержания государственного порядка и общественного спокойствия» учреждена Верховная распорядительная комиссия, которой подчинены и административные власти, включая военное министерство, и генерал-губернаторы, и само Третье отделение.

За сосредоточение всей полноты власти в руках одного человека, ответственного только перед императором, высказался наследник. Участники совещания предполагали, что роль диктатора он приберегает

для себя. Может быть, так оно и было, но император распорядился иначе. Во всяком случае, председателем Верховной комиссии он назначил генерал-адъютанта графа Лорис-Меликова.

Не бывает войны без убитых и раненых. И все-таки Перовская схватилась за голову, когда прочла в «Правительственном вестнике», что во время взрыва убито на месте десять нижних чинов дворцового караула, ранено тридцать три.

— Ничего нельзя было сделать, — сказал Желябов. — Халтурин настаивал на том, чтобы положить побольше динамита. Я противился, хотел, чтобы было как можно меньше жертв. Теперь он не может мне этого простить, говорит, если бы динамита хватило, все было бы кончено.

«Новая неудача», — думала о взрыве. Соня. Но в глазах всего мира это была победа. Агенты Исполнительного Комитета пробрались даже в Зимний дворец и не были разысканы, несмотря на все усилия Третьего отделения и полиции.

«На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти», — обратился новый диктатор со страниц «Правительственного вестника» к жителям столицы и обещал, с одной стороны, «не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими мерами для' наказания, с другой — успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части».

От воззвания Лорис-Меликова на Соню сразу повеяло чем-то знакомым. Одним — обещания и поощрения, другим — угрозы и наказания. Это было так похоже на харьковского генерал-губернатора. В политике «разделяй и властвуй» она не видела ничего нового по существу.

Правительство сообщило о пересмотре дел административно-ссылных. Лорис-Меликов уверял всех, что будет править мягко. В газетах появились статьи, приветствующие в восторженных выражениях «диктатуру сердца».

А между тем как раз при Лорис-Меликове стала особенно частой высылка людей из Петербурга в административном порядке. И уже первый месяц его диктаторства был ознаменован смертными казнями, В Киеве повесили Лозинского только за найденную у него прокламацию; гимназиста Розовского — за то, что он хранил у себя напечатанную литографическим способом листовку и некрасовский «Пир на весь мир».

В ответ на проникшие в газеты сведения о закрытии Третьего отделения начальник его Шмидт разослал по губернским жандармским управлениям письмо, в котором заявил, что все «газетные сообщения

ничего общего ни с правительственными намерениями, ни с личным взглядом его сиятельства на этот предмет не имеют» и что он вполне уверен, что члены жандармского ведомства будут действовать с прежней энергией и твердостью.

Одно из таких писем попало не по адресу, а на страницы «Народной воли», где его поместили рядом со статьей Михайловского, в которой говорилось о «лисьем хвосте и волчьей пасти» диктатора.

Позднее Желябов написал Драгоманову:

«В расчете лишить революцию поддержки Лорис родит упования, но, бессильный удовлетворить их, приведет лишь к пущему разочарованию».

«Народная воля» устанавливает дипломатические отношения с Европой

Кузьминой предложили выехать в Париж в середине января, а уже в начале февраля стало известно, что французской полицией под именем Эдуарда Мейера арестован участник московского покушения на Александра II Лев Гартман.

Договора о выдаче по политическим делам между Французской республикой и Российской империей не существовало. Поэтому царское правительство в своей ноте потребовало выдачи Гартмана как уголовного преступника, «подвергнувшего опасности железнодорожный поезд».

В Париж на помощь русскому послу с бумагами, удостоверяющими, что Николай Сухоруков, Эдуард Мейер и Лев Гартман — одно и то же лицо, спешно выехал юрисконсульт правительства Николай Валерьянович Муравьев.

Главный доброжелатель царя префект французской полиции Андриэ считал дипломатические переговоры ошибкой. Он полагал, что мог бы сам, пользуясь правом избавляться от подозрительных иностранцев, выслать Гартмана за германскую границу. А если бы Германия, говорил он, воспользовавшись тем же правом, переправила бы преступника «за следующую границу, он попал бы в руки законного правосудия без излишнего шума».

Из хитроумного плана префекта полиции ничего не получилось бы. Франция, не желая осложнять отношений с Россией, может быть, и пошла бы на то, чтобы выдать Гартмана втихомолку, но о том, чтобы ничего не было сделано втихомолку, позаботились народовольцы.

Прежде всего они написали президенту Французской республики письмо, в котором напоминали, что «Народная воля» борется за те права, которые во Франции уже давно узаконены.

В своем обращении «Ко всей Франции, ко всем любящим свободу и ненавидящим деспотизм» Русский революционный Исполнительный Комитет (так было подписано обращение) утверждал, что целью партии «была цель культуры и человечества», что ее «единственным оружием была пропаганда прогрессивных идей». «Только дикое насилие, — говорилось в обращении, — принуждает нас взяться за оружие».

«Народная воля» обращалась к французским гражданам, как к нации, провозгласившей великие принципы свободы, равенства и братства.

Французский язык, который Соня и Анна Павловна изучали в детстве, пригодился им для перевода и редактирования писем. Чтобы письма не подвергались перлюстрации и не попали в Третье отделение, Иохельсон по заданию Исполнительного Комитета сам отвез их в Берлин и только оттуда разослал по адресам. Кроме обращения, к французскому народу и к президенту Франции, он отправил еще одно письмо на русском языке. Письмо это было адресовано Лаврову. В нем «Народная воля» просила его и других эмигрантов оказать помощь Гартману.

Петербург иллюминирован. Домовладельцам приказано освещать дома. Квартиранты обязаны выставить на окнах по две свечи. Празднуется двадцатипятилетие восшествия на престол Александра II.

После взрыва в самом дворце и еще не законченного инцидента с Гартманом правительство принимает все меры к тому, чтобы торжество носило народный характер. Владельцам фабрик и заводов предписано отпустить рабочих на три дня без всяких вычетов из жалованья. Не мудрено, что петербургские улицы полны не одной только нарядной публикой.

19 февраля, в первый день празднества, все проходит гладко, но когда граф Лорис-Меликов во второй день праздника выходит на Большой Морской из кареты, в него почти в упор стреляет какой-то молодой человек. Пуля пробивает шубу и мундир, но сам Лорис-Меликов остается невредим. Говорят, что у него под мундиром надета кольчуга.

Следствие ведется ускоренным темпом. Покушение совершено 20 февраля в 2 часа дня, а уже 21 февраля в час дня военный суд приговорил Ипполита Млодецкого к смертной казни. 22 февраля в 11 часов утра приговор должен быть приведен в исполнение.

Либералы, уверовавшие в Лорис-Меликова, увидевшие в его обращении к жителям столицы исполнение всех своих желаний, обращаются к нему с советами помиловать преступника хотя бы по стратегическим соображениям. Вот, кажется им, подходящий момент, чтобы показать свое истинное лицо. И всесильный диктатор действительно показывает свое истинное лицо, вернее — свои два лица. Он отвечает, что как человек готов помиловать преступника, но как государственный деятель не может этого сделать потому, что, направляя оружие против его личности, преступник направлял оружие против государственного строя.

Последний проситель приходит к Лорис-Меликову за несколько часов до того, как должна совершиться казнь. Приходит он не в министерскую приемную и не в назначенное для приема время.

Ему удается в шесть часов утра прорваться мимо швейцара на лестницу, мимо слуг в спальню того, кого многие называют вице-императором. Он стоит перед ним на коленях, умоляет, просит, заклинает не предавать преступника смертной казни.

Это писатель Гаршин. Человек не чиновный, но к слову которого прислушиваются в России. Он пришел к Лорис-Меликову не из политических, а из этических соображений, пришел потому, что мысль о непрекращающемся и в мирное время пролитии крови для него непереносима.

Генерал-адъютант граф Лорис-Меликов подымает просителя с колен, говорит ему что-то туманное о сложной политической обстановке, о тяжести власти, о своей доброй воле. И, в конце концов, убедившись, что от этого просителя не отделаешься ссылками на государственные соображения, обещает пересмотреть дело.

Гаршин уходит успокоенный, а через несколько часов, узнав, что казнь по приговору, утвержденному самим Лорис-Меликовым, совершилась, сходит с ума и попадает в больницу для душевнобольных.

Пока и России происходили все эти события, письма Исполнительного Комитета дошли до адресатов. Газеты поместили на своих страницах «Обращение к французскому народу», русские эмигранты развили бурную деятельность, а левые депутаты французского парламента сделали своему правительству запрос «по поводу произвольного и незаконного ареста русского политического эмигранта».

— Честь Франции, — заявил самому премьеру Гамбетте Сергей Кравчинский, — зависит от решения этого вопроса.

И письма Исполнительного Комитета и дружные действия русских эмигрантов вызвали во Франции тот взрыв политических страстей, которого больше всего хотело избежать русское правительство. Поднялся шум. Начались демонстрации, многолюдные митинги, посылались петиции. Виктор Гюго написал:

«Вы честное правительство. Вы не можете выдать этого человека. Вы не можете, ибо закон между вами и им. И поверх закона есть право».

Французское правительство постаралось найти выход, при котором и волки были бы сыты и овцы остались бы целы. Ссылаясь на утверждения прокурора республики, генерального прокурора и министра юстиции, оно сообщило России, что Гартман и Мейер — разные лица.

Все было сделано вполне дипломатично: поскольку Гартмана не оказалось в пределах Франции, о выдаче его не могло быть и речи, а

Мейера освободили, и ему во избежание дальнейших осложнений предложено было немедленно выехать в Англию.

Николай Валерьянович Муравьев, посланный во Францию, чтобы добиться от правительства республики нарушения «права убежища», чуть не окончил на этом свою карьеру. В сражении с Исполнительным Комитетом «Народной воли» он потерпел поражение: вернулся в Петербург ни с чем. Царское правительство было посрамлено. Оно, как тогда говорили, получило «звонкую всеевропейскую пощечину». Вдобавок к тому правительство само расписалось в этой пощечине, опубликовав в газетах материалы, из которых каждому становилось ясно, что усомниться в том, что Мейер и Гартман одно лицо, было невозможно.

Сразу после освобождения Мейера князь Горчаков составил ноту, призывавшую все европейские правительства стать на защиту христианской цивилизации. В ноте говорилось о международном характере заговора, о зловещем единодушии, проявленном всеми членами «международной ассоциации» (включая в нее и французских радикалов), об опасности, грозящей монархии, народу и человеческому обществу.

Словно в противовес этой ноте, французские газеты напечатали прокламацию «Врагам выдачи», в которой Лавров, Кравчинский, Плеханов и Жуковский (друг Герцена) выражали правительству Франции благодарность за защиту от «русских неистовств».

После обращения «Народной воли» к президенту Франции спор между русским правительством и русскими революционерами перестает быть внутренним, «домашним» делом. «Народная воля» устанавливает дипломатические отношения с Европой. Она делает своим представителем Гартмана, пожалуй самого известного сейчас русского эмигранта, и одновременно обращается к Карлу Марксу с просьбой оказать Гартману содействие в ознакомлении Европы с истинным положением дел в России.

В письме к Карлу Марксу говорится о восторге, с которым интеллигентный прогрессивный класс в России принял появление его научных трудов, о политической борьбе, связанной с его именем, о том, что сочинения его запрещены, а сам факт их изучения является в стране «византийского мрака и азиатского деспотизма» признаком политической неблагонадежности.

«Что касается нас, многоуважаемый гражданин, — пишет Исполнительный Комитет, — мы знаем, с каким интересом вы следите за всеми проявлениями деятельности русских революционеров, и мы счастливы, что можем заявить теперь, что эта деятельность дошла до самой

высокой степени напряженности».

Маркс всюду рекомендует Гартмана как своего друга, читает посетителям письмо Исполнительного Комитета, посылает в ответ на него свою фотографическую карточку с надписью.

Трагическая, полная жертв и неудач история «Народной воли» тогда только начиналась, а первые ее удачи заставили верить в дальнейший успех. Маркс был восхищен героизмом народовольцев, и бывали минуты, когда ему казалось, что самодержавие вот-вот рухнет под их ударами.

Исполнительный Комитет «Народной воли» не видел теоретических расхождений между собой и Марксом, а Маркс хотя и видел их, но ему казалось, что революция в России, которая в те годы могла быть только крестьянской, поможет рабочей революции на Западе, а затем рабочий класс развитых стран по может русскому крестьянству превратить свои общины в ячейки коммунизма.

Гартман счастливо избежал расправы. Но по-прежнему в опасности остальные участники покушения. Третье отделение знает, что провода во время московского покушения соединял Ширяев. В Третьем отделении имеется циркуляр «О розыскании студента 5-го курса Медико-Хирургической академии Гришки, по фамилии неизвестного» и «о задержании дочери статского советника Софии Перовской». В департаменте полиции о ней имеется следующая путаная справка:

«Перовская София Михайловна, дочь действительного статского советника, она же Мария Перовская, Марина Семеновна Сухорукова, жена саратовского мещанина, и Мария Семенова, ярославская мещанка; приметы ее: блондинка, малого роста, около 22 лет, одевалась весьма прилично, лицо чистое, красивое, брови темные, в разговоре прибавляет слово «таки», имеет малороссийский акцент...»

Гольденберг выдает. Гольденберг оговаривает. Соне трудно этому поверить. Она знает, что Гольденберг не раз рисковал жизнью, что он не только бесстрашен, но и бескорыстен. И ей непонятно, как, каким способом можно превратить в предателя человека, которого нельзя ни запугать, ни купить.

Правда, она знает и то, что Гольденберг безмерно честолобив, что в голове у него теоретический сумбур. Но от теоретического сумбура до оговаривания друзей — безмерная дистанция.

После свидания с матерью Гольденберг, наконец, заговорил, «за что я обязан исключительно и только вам», — сообщил в середине марта

полковник Першин полковнику Новицкому.

Но всю ли правду написал Першин? Или это уже сам Новицкий предпочитает не касаться в своих воспоминаниях некоторых деталей, щекотливых даже для жандармов.

Письмо, посланное тем же Першиным в Третье отделение, несколько разъясняет дело. «Не скрою от Вашего превосходительства, — говорится в письме, — что меры, употребленные нами для убеждения Гольденберга, не могут быть названы абсолютно нравственными...»

Ведь о том, что делается за стенами тюрьмы, Гольденберг мог узнать только от товарища прокурора и, конечно, не то, что там делается в действительности, а то, что товарищу прокурора нужно, чтобы он знал.

В представлении Гольденберга революционное движение разбито. «Народная воля» разгромлена. Арестованы не только действующие в России революционеры, но и политические эмигранты, выданные на основании будто бы подписанной недавно международной конвенции.

Добржинский хорошо изучил психологию своего пленника. Он убедился в том, что фраза: «Я считаю для себя честью и счастьем умереть за это дело на виселице», — для него не просто фраза и не грозит ему больше смертной казнь. Его политика тоньше — ухватившись за вырвавшееся как-то у Гольденберга восклицание: «Из тюрьмы своей взываю я к правительству и говорю: «Пусть, наконец, прекратится эта братоубийственная война; пора, наконец, прекратить эту страшную десятилетнюю кровавую Варфоломеевскую ночь». Добржинский дает понять, что не кто иной, как сам Гольденберг, может при желании не только избавить товарищей от казни, но и заслужить великую славу — вернуть стране мир и спокойствие.

— Как только, — говорит он в один из очередных допросов, — правительство из ваших показаний узнает истину, все политические будут освобождены по амнистии и Россия получит конституцию. Подумайте. Я к вам завтра зайду.

Да что конституция? Оставаясь с глазу на глаз с Гольденбергом, Добржинский не скупится на обещания. То, что происходит, когда он остается наедине с обвиняемым, похоже не на допрос, а на тайный сговор членов преступного сообщества. Если бы речи, которые ведет в таких случаях товарищ прокурора, не были санкционированы высшей властью, они привели бы его самого на скамью подсудимых, а там и на каторгу.

Добржинский еще и еще раз заходит в камеру, еще и еще раз говорит: «Подумайте!» И вот игра доведена до конца. Гольденберг рассказывает все, выдает всех, подробно излагает планы народовольцев.

В Третьем отделении кипит работа. Составляются предписания: арестовать таких-то и таких-то, проживающих там-то и там-то. Помощник делопроизводителя Клеточников, черненький, смуглый, худощавый, с утра до вечера составляет секретные записки, шифрует и расшифровывает телеграммы, исписывает мелким бисерным почерком десятки листов бумаги. Еще несколько дней, и все члены Исполнительного Комитета «Народной воли» (а много ли их? — всего несколько десятков человек) будут пойманы, арестованы, заключены в тюрьму.

Но почему-то все эти предписания и секретные постановления остаются на бумаге. Исполнительный Комитет неуловим. Революционеры исчезают накануне обыска, за несколько часов до облавы. Что это? Неужели у них в Третьем отделении есть свои люди?

Производится секретное расследование. Нет, все благополучно. Все чиновники ведут себя примерно, особенно Клеточников, всегда трезвый, трудолюбивый, исполнительный.

И младший помощник делопроизводителя Клеточников продолжает в Третьем отделении свою работу агента Исполнительного Комитета.

Клеточников предложил себя «Земле и воле» для совершения террористического акта еще в конце 1878 года. Но Михайлову, которому давно уже представлялось необходимым иметь в Третьем отделении своего человека, показалось, что Клеточников, легальный, не слишком молодой, имеющий к тому же чин, вполне подходит к этой роли. Легче было найти революционера, готового пожертвовать жизнью, чем такого, за которого можно было бы поручиться, что, находясь в самом омуте, он не запутается сам и не запутает других.

Скрепя сердце согласился Клеточников. Отдать жизнь — на это он шел. Но одно дело — умереть сразу, и совсем другое — отдавать жизнь день за днем, час за часом.

Пока Третье отделение разыскивает Софью Перовскую, участвовавшую под именем Марины Сухоруковой в покушении на царя, Софья Перовская уже не в Москве, а в Одессе с паспортом на имя Марии Прохоровской участвует в новом подкопе — на этот раз под мостовую улицы, соединяющей вокзал с паровой пристанью.

Днем она вместе с Саблиным, который числится ее законным мужем Петром Прохоровским, торгует в бакалейной лавочке, а ночи чуть ли не целиком отдает подготовке нового покушения. Кроме Сони и Саблина, в этом деле участвуют Златопольский, Вера Николаевна Фигнер и ее знакомый — рабочий Меркулов. Технической стороной ведают Исаев и

Якимова.

Группа небольшая, потому что сначала предполагалось действовать только буравом. Но земля оказалась глинистая, бурав все время засорялся, и волей-неволей пришлось взяться за лопаты. Землю участники подкопа сначала бросают в соседнюю комнату, а потом в корзинах, узелках и пакетах уносят в квартиру Веры Фигнер.

Работы на каждого досталось непомерно много, а тут еще из числа участников выбыл Григорий Исаев. С ним случилась беда: ему во время изготовления запала оторвало три пальца. Пришлось тут Соне вспомнить старую специальность и оказать ему помощь.

Товарищам очень не хотелось отправлять Исаева в больницу, ведь он был тот самый «Гришка — студент 5-го курса Медико-Хирургической академии, по фамилии неизвестный», которого так усиленно разыскивало Третье отделение. Но ранение оказалось серьезным, и без больницы обойтись не удалось.

И все-таки благодаря исключительной выдержке Исаева и тому, что взрыв чудом прошел незамеченным, полиция ни о чем не узнала.

В разгар работы, когда большинство трудностей уже было преодолено, пришло известие, что император через Одессу не поедет.

Столько сил, бессонных ночей было отдано подкопу, и все напрасно!

После того как вынутую землю высыпали обратно, Соня вернулась в Петербург.

Популярность партии растет. Растет обаяние ее имени. Слова «Исполнительный Комитет», «Народная воля» производят магическое впечатление. Молодые люди рвутся в бой, оказывают партии всевозможные услуги, предлагают себя для совершения террористических актов. Среди рабочих, офицеров, студентов, гимназистов, курсисток, гимназисток идут денежные сборы в пользу «Народной воли».

Либералы и те передают деньги тому же Исполнительному Комитету. Им не нужно царевубийство, но они не против того, чтобы покушения совершались чаще. Среди них ходят слухи (многие утверждают, что эти слухи исходят от самого Лорис-Меликова), будто бы после каждого нового покушения царь рыдает и торопит с проектом конституции, а как только все успокаивается, он забывает собственные распоряжения и спрашивает:

— Разве я что-нибудь говорил об этом? Предоставим лучше это моему преемнику. Это будет его дар России.

Руководители «Черного передела» уехали в Женеву. «Народная воля», по существу, единственная революционная партия в России. И хочет

правительство или не хочет, ему приходится с ней считаться.

Чем дальше, тем большее число людей понимает, что игра в либерализм только потому и затеяна, что существует грозный, неуловимый Исполнительный Комитет. А то, что либерализм всего-навсего игра, видно хотя бы из того, что после упразднения Третьего отделения и сообщения самой Верховной комиссии о прекращении своего существования Третье отделение возрождается под именем Департамента государственной полиции министерства внутренних дел, а главный начальник Верховной комиссии Лорис-Меликов становится министром внутренних дел, переезжает в здание тайной канцелярии и получает права шефа жандармов.

Соня видит, что никаких изменений ждать не приходится, хотя бы на примере того же Клеточникова, который, перейдя в ведение департамента полиции, исполняет там те же обязанности по службе, что и в Третьем отделении.

Благодаря Клеточникову новых арестов нет. Исполнительный Комитет торопится воспользоваться передышкой и занимается организационными делами.

Покушение. Подготовка к покушению. Соня не позволяет себе думать о том, легко или трудно ей это дается. Так нужно. Раз она посылает на цареубийство других, ее долг в первую очередь брать это дело в свои руки.

И сама Соня, и Вера Фигнер, и Геся Гельфман, и Софья Иванова, и много других добрых женщин, таких, про которых принято говорить: «и мухи не обидит», считали бы себя вправе отказаться от террора, если бы могли не когда-нибудь потом, а сейчас, сию минуту найти другой выход из тупика. Но в том-то и было их горе, что этого другого выхода они не видели и не могли тогда увидеть.

Сейчас, летом 1880 года, Соня чувствует прилив сил, прилив бодрости, может быть, еще и потому, что не делает того, что ей несвойственно по натуре.

Занятия с рабочими, пропаганда среди военных и студенческой молодежи, налаживание связи с провинциальными отделениями, создание новой типографии... Каждого из этих дел достаточно, чтобы заполнить дни, а Соня наряду с Желябовым, который считает ее одним из лучших работников, старается заниматься сразу и тем, и другим, и третьим. В теории они оба за специализацию, но что же делать, когда не хватает ни рук, ни голов?

А ведь, кроме революционных, у Сони есть и самые обычные обязанности. Она ходит на рынок, готовит обед. Она зарабатывает

перепиской и переводами, чтобы тратить на себя как можно меньше денег из фонда партии.

В жаркий июльский полдень Желябов, Исаев, Баранников и Соня, отбросив от себя все заботы, отправляются навестить Анну Павловну, которая сломала ногу и, не желая утруждать Соню, обычно бравшую на себя заботы о больных товарищах, решила лечь в больницу.

Народу в палате много, и посетители волей-неволей говорят не о том, что их волнует, а о самых обыкновенных вещах. Соня — прирожденная сестра милосердия. Она старается развлечь не одну Анну Павловну, а сразу всех больных, рассказывает какие-то смешные истории, шутит и сама смеется так заразительно и звонко, как не смеялась уже очень давно. Анне Павловне этот смех напоминает давние времена, Аларчинские курсы, а Баранников, Исаев и особенно Желябов видят вдруг Соню с новой, неизвестной им до сих пор стороны.

Когда, распрощавшись со всей палатой, гости уходят, соседка Анны Павловны по палате, молоденькая, безнадежно больная швея, оборачивается к ней и говорит взволнованно:

— В первый раз в жизни вижу таких людей. Откуда вы их взяли? Не скажешь ведь, кто из них лучше. Все хороши, один лучше другого; все умны, все веселы и, главное, добры, добры, добры!

Лето идет к концу, а люди, арестованные прошлой осенью и зимой, все еще томятся в своих одиночных камерах. Никто из них не рассчитывает на оправдание. Многих в лучшем случае ждет бессрочная каторга. И все же они с нетерпением ждут суда. Так уж устроен человек, что самое тяжелое, но заранее известное предпочитает неопределенности.

Народовольцы, которые находятся на свободе, тоже не понимают, почему суд все время откладывается. Ведь все выданы.

Все выданы. Но репутация Верховной распорядительной комиссии требует, чтобы материал на суде был юридически оформлен. А от Гольденберга не добиться формальных показаний. Он почему-то уверен, что сделанные им до сих пор признания никому повредить не могут, и боится, что суд использует формальные показания для смертных приговоров.

Теоретический сумбур в его голове превращается в безумие, а честолюбивые планы — в манию величия. Он считает свой план — выдать товарищей Лорис-Меликову, чтобы спасти их от Тотлебена, Панютина, Черткова, — гениальнейшим, свое предательство — самопожертвованием,

надеется на благодарность и благословение потомства.

«Желая положить предел всему ныне существующему злу, — пишет Гольденберг, — желая многих спасти от угрожающей им смертной казни, я решился на самое страшное и ужасное дело — я решился употребить такое средство, которое заставляет кровь биться в жилах и горячую слезу выступить на глазах».

День за днем. Допрос за допросом. И вот уже все не только записано, но и подписано.

Теперь от Гольденберга требуется только одно, чтобы он подтвердил свои показания на суде. Для поддержания в нем необходимой для этого «бодрости духа» и в надежде завербовать еще одного предателя, Добржинский устраивает ему с разрешения Лорис-Меликова свидание с Зунделевичем.

И только тут, услышав вместо похвал своему «гениальнейшему плану», своему «громаднейшему самопожертвованию» всего одно, но самое для него страшное слово — «предатель», Гольденберг вдруг начинает понимать весь ужас того, что совершил.

— Вот кто меня погубил! — восклицает он, указывая на дверь, в которую за мгновение до этого вышел Добржинский.

Чем ближе к суду, тем беспокойнее становится Гольденберг. Он пытается сам, наедине с собой, разобраться в случившемся и в своей «Исповеди», похожей на бред горячечного больного, изображает себя то последним из предателей, то спасителем человечества.

В разговорах с Добржинским и в письмах к Лорис-Меликову он умоляет помиловать им же самим выданных сообщников и предать смертной казни только его одного.

«Дорогие друзья, не клеймите меня; знайте, что я тот же ваш честный и всей душой вам преданный Гришка. Я не желал и не желаю себя спасти; я три раза готов был отдать за вас жизнь, а теперь отдаю больше, чем жизнь, — свое имя; любите меня, как я люблю вас. Ваш Гришка».

«Дорогие друзья, умоляю вас — не клеймите и не позорьте меня именем предателя: если я сделался жертвой обмана, то вы — моей глупости и доверчивости».

Гольденберг пишет одно и то же в разных вариантах на полях книг, на мундштуках от папирос, на чем попало. Но записки его попадают не в руки товарищей, а на стол к прокурору.

Во время каждого вызова в комиссию, каждого допроса Гольденберг еще и еще раз требует подтверждения данных ему обещаний.

— Помните, — не устает он повторять, — вы сказали, что ни один волос не упадет с головы моих товарищей.

До поры до времени Добржинский не ленится подтверждать старые клятвы не скупится на новые. Но однажды, решив, что и так уже слишком долго церемонился с этим помешанным, говорит, постукивая мундштуком о портсигар, улыбаясь и подмигивая:

— Волос-то не упадет, а что головы попадают, в этом я вам ручаюсь.

На следующее утро Гольденберга находят в его камере мертвым. И Добржинскому приходится собственными глазами убедиться в том, что Гольденберг был совершенно искренен, когда сказал ему еще в Одессе: «Если бы я хоть на минуту пожалел о своей откровенности, то на другой же день вы не имели бы удовольствия со мной беседовать».

Узнав о самоубийстве Гольденберга, его товарищи на воле в первый раз за долгое время вспоминают о нем не одно только плохое.

— Он правильно понял то единственное, что ему оставалось делать, — говорит Александр Михайлов.

В день рождения Софьи Ивановой — Ванечки — Соня на авось с первым попавшимся на улице посыльным передает ей в предварилку цветы и вкусные вещи. К своей радости, она узнает через несколько дней, что все посланное попало по назначению.

Ванечка пишет бодрые письма. С нежностью рассказывает в них о своем сыне, который родился в заключении, растет без свежего воздуха и солнечного света и все-таки радуется жизни. Сестра Квятковского хлопочет о разрешении взять мальчика на воспитание, а пока что вместе с Соней и другими приятельницами Ванечки шьет все те крошечные вещицы, без которых невозможно вынести ребенка на свободу.

Наступает осень. Возвращаются из дальнего плавания морские офицеры. Все чаще ездят в Кронштадт Желябов и Колодкевич. Все чаще Вера Николаевна, Соня и тот же Желябов проводят на Николаевской у сестры Суханова длинные темные вечера. И, наконец, после долгих колебаний, размышлений, споров Суханов передает Желябову то, что называет конституцией. (В этой конституции определены отношения Центрального военного кружка к Исполнительному Комитету.)

Помощь военных — это очень много. Партия, которая думает о политическом перевороте, не может обойтись без крепкой военной организации. Не может она обойтись и без организации рабочих.

Народ! Соня боится от него оторваться. О работе в крестьянстве она

теперь уже не говорит, но рабочие... И Соня и Андрей Иванович придают особое значение их сознательному участию в революции.

Сейчас речь идет о том, чтобы создать централизованную рабочую организацию, состоящую из отдельных законспирированных кружков. Соня и Желябов во главе центральной агитационной группы. Желябов и Коковский пишут программу рабочих, членов «Народной воли».

Но с этой программой знакомят далеко не всех рабочих. В кружках низшего разряда учителя обучают своих учеников грамоте, арифметике, начаткам географии, а революционных вопросов касаются только вскользь. С теми, которые переходят в следующий разряд, занимаются историей, рассказывают им о социалистическом движении на Западе. Лишь в кружках высшего типа, в агитационных группах, куда попадают только проверенные люди, речь идет не о том, что делается в других странах, а о том, что они сами должны делать в России.

Раз в неделю учителя встречаются, чтобы поделиться впечатлениями и выработать единую программу. Соня — член центрального учительского кружка и, как бы она ни была занята другими делами, не пропускает ни одного заседания.

Способность рабочих схватывать социалистические идеи сейчас еще больше, чем во времена чайковцев, поражает их учителей. Но народники остаются народниками: они не понимают того, что капитализм сам толкает рабочих на революционный путь, и продолжают говорить о «язве пролетариата».

25 октября в Петербургском военно-окружном суде начинаются заседания по делу шестнадцати. Судебное следствие по каждому делу начинается с чтения показаний Гольденберга. На его показаниях построено почти все обвинение.

Хоть Перовской нет на скамье подсудимых, ее имя повторяется неоднократно и в обвинительном акте и в речи прокурора. Гольденберг столько похвал расточил ее уму, храбрости, ловкости, что ей теперь, только она попадет в руки жандармов, уж не избежать смертной казни.

Но Соня думает не о себе. Она пока на свободе, а вот в том, что Квятковскому, Ширяеву, Зунделевичу и всем тем, которые были хоть сколько-нибудь связаны с Гольденбергом, его «гениальнейший план» обойдется недешево, она не сомневается с первого же дня суда.

Подсудимые пользуются правом «последнего слова», чтобы сказать о себе, о своем деле не в подпольной газете, а вслух, громко, с трибуны суда.

«Нас давно называют анархистами, но это совершенно неверно, мы

отрицаем только данную форму государственности», — заявляет Квятковский и противопоставляет государству, которое блюдет интересы немногих, государство, служащее интересам большинства, «что, — утверждает он, — может быть создано только при передаче власти народу».

— Чтобы сделаться тигром, не надо быть им по природе, — говорит Квятковский, — бывают такие общественные состояния, когда агнцы становятся ими... — и доказывает, что террор имеет в виду защиту и охранение членов партии, а не достижение целей ее. — Полная невозможность какой бы то ни было общественной деятельности на пользу народа, полная невозможность пользоваться свободой своих убеждений, свободой жить и дышать, — продолжает он, — заставила русских революционеров, русскую молодежь, по своим наклонностям самую гуманную, самую человечную, пойти на такие дела, которые по самому существу своему противны природе человека... В этом, — заканчивает Квятковский, — заключается только реакция природы против давления. Так лучше смерть и борьба, чем нравственное и физическое самоубийство.

Не один Квятковский, все народовольцы ведут себя смело, спокойно, мужественно. Не ждут и не просят снисхождения.

— Я не касался и не буду касаться вопросов своей виновности, — говорит Ширяев, — потому что у нас с вами нет общего мерил для решения этих вопросов. Вы стоите на точке зрения существующих законов, мы — на точке зрения исторической необходимости.

— Единственное мое желание, — заявляет Софья Иванова, — чтобы меня постигла та же участь, какая ожидает моих товарищей, хотя бы даже это была смертная казнь.

Наконец суд выносит решение. Квятковский и Пресняков присуждены к виселице. Ширяев, Зунделевич, Окладский и Тихонов — к бессрочной каторге. Софья Иванова (которая не обвинялась в покушениях) приговорена к четырем годам каторги, но Соня жалеет ее не меньше, чем других. Ей понятно, что легче самой взойти на эшафот, чем знать, что смертная казнь предстоит самому близкому тебе человеку — отцу твоего ребенка.

Уже после утверждения смертного приговора Квятковский просит товарищей «не считать Гольденберга злостным предателем».

Соня судит строже. Для нее непереносима мысль, столько людей, сильных духом, смелых, по-настоящему преданных революции, погибли из-за одного «о, ничтожного. Ей все равно, что, сделало предателя предателем. Бывают минуты, считает она, когда человек не имеет права ни ошибаться, ни быть слишком доверчивым, ни даже сходить с ума.

Александр Михайлову удастся передать в крепость письмо.

«Братья! — обращается он к осужденным. — Пишу вам по поводу последнего акта вашей общественной деятельности... Сильные чувства волнуют меня. Мне хочется вылить всю свою душу в этом, может последнем приветом. Некоторым из вас суждено умереть, другим быть оторванными от жизни и деятельности на многие годы. У нас отнимают дорогих сердцу. Но тяжелый акт насилия не подавляет нас. Вы совершаете великий подвиг. Вами руководит идея. Она проявляется могучей нравственной силой. Она будит во всем честном в России гражданский долг, она зажигает ненависть к всеподавляющему гнету.

... Последний поцелуй, горячий как огонь, пусть долго, долго горит на ваших устах, наши дорогие братья.»

Время идет. Давно ли землевольцы утверждали, что террористические акты объясняются только мезтью и необходимостью самозащиты?

Теперь считаются устаревшими и объяснения народовольца Квятковского. Во всяком случае, редакция «Народной воли» сообщает своим читателям, что взгляд на террор изменился за время, прошедшее с его ареста, и сейчас партия смотрит на террор именно как на средство для достижения цели.

Вот и 1880 год уже на исходе, а цареубийство, которое стояло между Соней и тем, что она считала своим настоящим делом, все еще не было совершено. Оно отодвигалось все дальше и дальше, и вместе с ним отодвигалось исполнение Сониных самых заветных надежд. У нее все еще не было полной уверенности, что путь, по которому они шли так стремительно, правильный, единственно возможный путь, но что останавливаться на полпути — значило все и всех погубить, она знала твердо.

Лидия Антоновна Воинова

1-я рота Измайловского полка, дом № 18, квартира № 23. Две, комнаты и кухня. На окнах кисейные занавески, на столе самовар со сломанной ручкой. На кроватях подушки, набитые сеном, старые байковые одеяла. В углу — покосившаяся этажерка со всяким книжным хламом: роман «Любовь погубила», сочинение Лукьянова «Самоохранительные вздохи» и тому подобный вздор.

Живут в этой квартире дворянин Слатвинский и его сестра Лидия Антоновна Воинова. Слатвинский — широкоплечий человек с красивой, откинутой назад головой и смелыми серыми глазами. Его сестра рядом с ним кажется ребенком. У нее вдумчивые, немного усталые глаза, высокий лоб. Неужели это она в свободные минуты читает «Самоохранительные вздохи»? Конечно, нет. И «Самоохранительные вздохи», и кисейные занавески, и паспорт на имя Войновой — все это маскировка. Под именем Слатвинского и Войновой живут в квартире № 23 Желябов и Перовская.

Соня всегда считала, что личная жизнь, семья несовместимы с жизнью революционера. Мысли ее и теперь не изменились. О какой семье могла идти речь? Будущее? Ни у нее, ни у Андрея Ивановича не было будущего. Оба они очень хорошо знали, что недолго им осталось быть на воле, а там — конец. Смерть или каторга.

И все-таки любовь делала свое дело. Как трава, которая умудряется вырасти среди камней, так и радость жизни давала себя чувствовать Соне во все те совсем редкие мгновения, когда голова была хоть немного меньше заморочена, когда удавалось хотя бы на минутку очнуться от непрерывной спешки, от невозможного перенапряжения сил.

«Собственно говоря, в таком положении, в каком находились они оба, довольно смешно говорить о супружеском счастье, — рассказали позднее те, которые близко знали обоих. — Вечное беспокойство не за себя, а за другого отравляет жизнь, бесчисленные дела и делишки, превышающие в общей сложности силы человеческие, не дают подчас и слова сказать, особенно со своим человеком, с которым не «нужно», (с чужим говорится хоть по обязанности, а свой и так обойдется). Серьезное чувство едва ли способно при таких условиях дать что-нибудь, кроме горя. Но на Желябова с женой иногда все-таки было приятно взглянуть в те минуты, когда «дела» идут хорошо, когда особенно охотно забываются неприятности».

Давно ли Михайлов передал прощальное письмо осужденным? Теперь он сам заточен в Петропавловской крепости, а Преснякова и Квятковского уже нет в живых.

Александр Дмитриевич особенно тяжело пережил гибель друзей и изо всех сил старался, чтобы хоть память о них сохранилась. Собирал сведения об их жизни для биографических брошюр. Разыскивал и давал переснимать их фотографические карточки.

Однажды он рассказал на заседании Распорядительной комиссии, что, когда фотограф попросил его прийти за готовым заказом на следующий день, жена фотографа незаметно для мужа провела рукой по шее.

— Может быть, мне все это только почудилось, — закончил свой рассказ Михайлов.

Почудилось ему или нет, но Распорядительная комиссия взяла с него слово, что в фотографию он больше не пойдет.

И когда в квартиру Анны Павловны, туда же, где они заседали накануне, кто-то принес весть о его аресте, всем хотелось думать вопреки очевидности, что вот-вот раздастся условный стук, и Александр Дмитриевич собственной персоной войдет в комнату. Ведь был уже случай, когда ему удалось ускользнуть от жандармов среди бела дня. Они преследовали его с криками: «Держи, лови!» А он убегал от них с теми же криками, чем и ввел в заблуждение окружающую публику.

Позднее выяснилось, что Михайлова арестовали недалеко от фотографии, куда он все-таки отправился после того, как легальные студенты, которым это мало чем грозило, отказались пойти туда вместо него.

Слова «несчастливая русская революция», которые Александр Дмитриевич сам произносил с горечью в подобных случаях, не могли не вспомниться Соне теперь, когда наиболее осторожный из них был арестован из-за собственной неосторожности.

Чем меньше становилось испытанных работников, тем большая тяжесть ложилась на их плечи.

Покушение на царя, к подготовке которого «Народная воля» приступила после казни Преснякова и Квятковского, требовало особенно много сил. Чтобы действовать наверняка, чтобы опять не произошло осечки, Исполнительный Комитет составил сложный план, состоявший из трех частей. Прежде всего решено было выполнить в Петербурге то, что не удалось закончить в Одессе, — снять какое-нибудь помещение на одной из улиц, по которым ездит царь, вырыть подкоп и заложить мину. Предполагалось, что неподалеку от подкопа будут находиться четыре

метальщика в полной боевой готовности. Если же и они не достигнут цели, выступит Желябов с кинжалом в руке.

Соня настаивала на том, чтобы ей дали роль хозяйки магазина, но Исполнительный Комитет рассудил иначе — поручил ей организовать отряд для наблюдения за царскими выездами.

Покушение требовало большого числа проверенных людей. В это дело было вовлечено много членов Исполнительного Комитета. В наблюдательный отряд и на роли метальщиков решено было подбирать людей в основном из народовольческой молодежи.

Правда, когда совсем еще юный революционер Желваков предложил себя в метальщики, Желябов отказался от его услуг. Отказался не потому, что не доверял Желвакову, а потому, что был о нем особенно высокого мнения, берег его для будущего.

Путь следования царя был буквально усеян шпионами. Чтобы одни и те же люди не попадались им слишком часто на глаза, Соня разделила отряд на пары. Пары дежурили по очереди. Сегодня одна пара, завтра другая, послезавтра третья.

Соня не только руководила этим отрядом, но и сама участвовала в наблюдениях. Она дежурила в паре с Лизой Оловенниковой, сестрой Ошаниной, Тырков — с Сидоренко, Гриневицкий — с Рысаковым. Раз в неделю наблюдатели собирались на квартире у Оловенниковой. И Соня из отрывочных сведений выясняла маршруты и часы царских выездов.

Прежде всего она установила, что Александр II чаще всего ездит из дворца по Невскому, потом по Малой Садовой. Баранникову удалось найти на углу Малой Садовой подходящее помещение. И после того как Александр Михайлов это помещение одобрил, оно было снято. Подготовка паспортов для хозяев магазина была его последней услугой партии.

«Как общественный деятель я пользуюсь ныне представившимся случаем дать отчет русскому обществу и русскому народу в моих поступках и ими руководивших мотивах и соображениях».

Трудно представить себе, что с таким чувством собственного достоинства пишет не признанный и прославленный современниками человек, а пленник, замурованный в Петропавловской крепости. Рассказать обо всем и в то же время не произнести ни слова, которое может повредить твоим товарищам, — вот что считает теперь, сидя в тюрьме, своим долгом Александр Михайлов. Он хочет запечатлеть происшедшее, хотя бы в форме показаний, чтобы об их деятельности, когда откроются архивы, могли узнать и следующие поколения. В том, что департамент полиции не вечен,

он не сомневается.

А его оставшиеся на свободе товарищи торопятся действовать.

Сонино время настолько заполнено, что она не успевает оглянуться, как проходит неделя и наступает суббота.

В субботу она приходит домой раньше, чем в другие дни, особенно тщательно убирает комнату, потом накрывает на стол, ставит самовар. Гости — работники новой типографии Ивановская и совсем юная Лиля Терентьева не заставляют себя долго ждать. Их жизнь — это жизнь затворников. Субботний вечер, проведенный в квартире у Войновой и Слатвинского, — единственное дозволенное им развлечение.

И не только развлечение. Соня рассказывает им о том, что творится на свете, вводит их в курс дел, старается в один вечер вознаградить их за целую неделю затворничества. При каждой встрече Лиля снова и снова просит Соню дать ей боевую работу.

— Неужели вы думаете, Лиля, — говорит как-то Соня, поглаживая ее по голове, — что работа печати меньше нужна партии, чем бросание бомб?

И Соня и Андрей Иванович придают огромное значение новой, только что организовавшейся рабочей газете.

Рабочая организация вовлекает в себя все большее число членов. Ее разветвления имеются на всех крупных заводах Петербурга, она растет быстро, но все-таки гораздо медленнее, чем хотелось бы.

Создать газету для рабочих, которую будет читать множество людей, — вот что кажется сейчас Исполнительному Комитету первоочередной задачей. Газета создается интеллигенцией при участии рабочих.

В одну из ближайших суббот Желябов при гостях торжественно вручает Соне первый оттиск «Рабочей газеты».

— Всеми силами будем мы в «Рабочей газете», — произносит она взволнованным голосом, — разрушать ввевшуюся идею царского авторитета и возраstim в народе веру в собственные силы, сознание мощи трудового народа.

И вот уже прошли не только недели и месяцы, но и год. 31 декабря на Забалканском проспекте, в помещении динамитной мастерской, собрались народовольцы, но не для очередного заседания, а для встречи Нового года.

Новый год! Что Соня могла от него ждать? Все того же — чтобы кошмар, который давил их, оказался, наконец, позади. Она огляделась вокруг. Гости собрались все свои — те, которых ей приходилось видеть почти каждый день. Но сейчас, когда мысли ее не были поглощены делом, она заметила то, что давно уже перестала замечать: как молоды все собравшиеся и как много среди них по-настоящему красивых.

На столе вкусные вещи, вино. Все, как у всех. Музыка, пение, танцы. Лиля Терентьева, у которой прекрасное контральто, поет украинские песни. Желябов подпевает ей с увлечением. Пародируя настоящий бал, он не пропустил ни одной дамы и ни одного танца. Начал с лансье и кадрили и кончил тем, что пошел вместе с Саблиным плясать трепака.

Соня невольно улыбнулась ему. Он был сегодня еще красивее, чем всегда, отплясывал с особенным задором. Этот человек ничего не умел делать наполовину и сейчас веселился от души. Но Соня очень хорошо знала, что и на него порой нападала тоска. Террор выкачивал из них все силы.

— Мы проживаем капитал, — не раз говорил Андрей Иванович.

Террор оказался страшным божеством: он целиком завладевал людьми, занимал все их помыслы, заставлял забывать обо всем. А она и ее Андрей старались не поддаваться этому, старались находить в себе силы для другой работы.

— Я докажу им, что можно заниматься террором и работать в народе, — сказал как-то Желябов о чернопередельцах, которые жаловались, что террор мешает их работе.

Он действительно успевал и то и другое, но Соня видела, сколько это ему стоило сил. У него, который гордился своим здоровьем, бывали обмороки.

Желябов участвовал во всех предприятиях. Его знали под именами Тараса, Захара, Бориса. У него было много имен, и он один исполнял работу многих людей. А она, Соня, изо всех сил старалась не отставать от него.

— Господа, сегодня вечер без дел, — предупреждали устроители каждого вновь приходящего.

Но не говорить было легче, чем не думать. Несмотря на оживленные разговоры, дружные взрывы смеха, то на одном, то на другом лице вдруг без видимой причины исчезала улыбка, хмурились брови.

Чем больше Соня старалась освободиться от тяжелых мыслей, тем больше они ее преследовали. И не она одна была грустна в эту новогоднюю ночь. Ведь люди, собравшиеся здесь, были обречены и, главное, знали о своей обреченности.

Окончившийся год невольно заставлял подводить итоги, а итоги были невеселые. Далекое не все те, которые встречали его вместе, были теперь на свободе. И кто мог сказать с уверенностью, многим ли из собравшихся здесь сегодня удастся встретить следующий, 1882 год.

В доме на углу Вознесенского проспекта и Екатерининского канала

собралось несколько человек. В их числе — Соня. Квартира холодная, неуютная и вдобавок к тому еще не обжитая. Но у нее есть несомненные достоинства: из балконной двери открывается вид сразу на две улицы, двор проходной, и, что главное, в нем всегда легко затеряться — множество людей все время идет в баню или из бани.

Сегодня здесь первое заседание Исполнительного Комитета. Квартира снята специально для этих заседаний. Люди понемногу собираются. Вдруг в комнату, весь в снегу, не отряхиваясь, не снимая шапку, входит хозяин квартиры Исаев. По его виду все сразу понимают: случилось нечто необычайное. Исаев кладет на стол письмо и говорит:

— От Нечаева из рavelина.

Слова его звучат так же дико, как если бы он сказал: «От Степана Разина с того света».

Нечаев пишет не как пленник, не как человек, вырванный от жизни, а как борющийся революционер. Он в курсе всех дел «Народной воли». Он дает советы, задает вопросы, строит планы.

Его не согнуло почти десятилетнее пребывание в Алексеевском рavelине. Взаперти, в кандалах, прикованный цепью к стене, он сумел подчинить своей воле всю команду Алексеевского рavelина. Те, которых считали его стражниками, на самом деле давно уже стали его слугами. Они доставляли ему «Народную волю» и прокламации, приносили в его камеру письменные принадлежности. С помощью этих людей Нечаев вступил в переписку с Ширяевым, а теперь по указанному Ширяевым адресу и с Исполнительным Комитетом.

Нечаев... Соня много думала о нем когда-то и осудила его в своей душе. А сейчас, как и все ее товарищи, поражена стойкостью этого человека, силой его духа. «Освободить», — думает она

— Освободить! — решают все прежде, чем успевают дочитать письмо.

ДЕЛО ПЕРВОГО МАРТА



Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызывали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть.

В. И. Ленин

Февраль месяц

24 января арестовали Фриденсона. 25-го в устроенную у него в квартире засаду попал Баранников.

Близится решительное сражение. Идет агитация среди рабочих. Готовится новое, седьмое по счету, покушение на царя.

Позади двадцать одна смертная казнь, мрак тюрем и каторги, впереди — последний бой. А что дальше?

Соня и Желябов идут вместе к Технологическому институту. На ней коричневое пальто с черным меховым воротником и круглая бархатная шляпа с пером. Соня устала. Днем и ночью мысли все об одном и том же. И сейчас, в этот воскресный, праздничный для всех день, она может говорить только о деле. Желябов слушает ее, задумчиво глядя вперед.

Ослепительный снег. Медленно прогуливаются люди. Пронесется легкие санки по накатанной дороге. Проходят, весело смеясь, две девушки с коньками. Соня видит все это и не видит. По белому снегу прыгают темные пятна. Голоса доносятся как будто издалека.

Вот и конка. Вагон, громыхая, трогается. Они остаются на площадке. В случае чего можно соскочить. До Невского вместе, а дальше в разные стороны.

Сегодня Сонина очередь дежурить на пути из манежа во дворец. Ей удалось уже установить, что в выездах царя есть известная закономерность. Она знала, что в будни он направляется около часа в Летний сад, возвращается всегда в разное время и разными путями, а по воскресеньям ездит большей частью по Невскому и Малой Садовой в Михайловский манеж, делает там смотр войскам и на обратном пути иногда заезжает в Михайловский дворец.

Простившись с Желябовым, Соня пошла по Большой Садовой и Инженерной. У Михайловского дворца уже ждала царская карета с придворным кучером и конвойным казаком на козлах. По тротуару прогуливались знакомые фигуры переодетых полицейских. Их на царском пути всегда было множество. Следить так, чтобы тебя при этом не выследили.

Соня сделала крюк, вышла на Инженерную перед дворцом у Михайловского театра и пошла вдоль Екатерининского канала.

Вскоре ее обогнала царская карета. Двое конвойных казаков на вороных конях впереди, двое — по бокам, двое — сзади. Заломленные

папахи, красные черкески, серебряные кинжалы. Позади в санках полицмейстер и еще какой-то военный.

Соня едва успела заметить, что, поворачивая на Екатерининский канал, карета замедлила ход.

«Так и есть, — подумала она, — на повороте кучер, конечно, должен сдерживать лошадей. Вот удобное место для нападения — узкое, пустынное. Здесь могло бы обойтись без лишних жертв».

Соня шла в глубокой задумчивости. И так, все было ясно — надо выбрать для покушения воскресный день. Если мина на Малой Садовой не взорвется, в резерве четыре метальщика, в крайнем случае — Желябов с кинжалом. Если же царь не поедет по Малой Садовой, придется обойтись без мины и встретить его именно здесь, на повороте.

Несколькими часами позднее Желябов подошел по Невскому к углу Малой Садовой и спустился в подвал, над которым висела вывеска: «Склад русских сыров Кобозева».

С виду сырная лавка Кобозева ничем не отличалась от других таких же лавок. У стен, как полагается, стояли ящики и бочки, на полках лежали огромные круги сыра. Половину жилой комнаты занимала широкая кровать с горой подушек. На стене висел портрет царя. В углу перед иконой теплилась лампадка.

Из этой лавки велся подкоп, а под именем Кобозевых проживали члены Исполнительного Комитета Богданович и Якимов.

Казалось бы, хозяин лавки — широколицый, с рыжей окладистой бородой — купец как купец. Хозяйка — скуластая, с челкой, с вятским говорком — под стать мужу. Тем не менее соседи торговцы и, главное, старший дворник скоро стали замечать что-то неладное. Кобозев хвастался барышами, а соседи видели, что торговец он никудышный и торговля у него идет из рук вон плохо. А тут еще кто-то приметил, что жена его как-то не ночевала дома и, что совсем не годилось для купчихи, курила папиросы.

Когда Желябов вошел в жилую комнату лавки, деревянная обшивка передней стены была частью снята и в обнаженном месте стены зияло черное отверстие. На полу стоял зажженный фонарь. Кроме хозяев, в комнате находился Суханов. Его волосы слиплись и свисли на лоб, рубашка на нем была мокрая, вся в грязи. Никто бы не мог узнать в этом чернорабочем блестящего морского офицера. Суханов наравне с другими участвовал в земляных работах и, как знаток минного дела, руководил всем предприятием.

— Мы наткнулись на деревянную водосточную трубу, — сказал он

Желябову. — Новое препятствие... Труба размером аршин на аршин.

— А нельзя ее обойти, как тогда железную, водопроводную?

— Невозможно. Если копать ниже, выступит подпочвенная вода. Нас зальет. Копать выше — может обвалиться мостовая... Нужно сделать вот что, — прибавил он, подумав, — пропилить отверстие в верхней части трубы, а через эту дыру просунуть бурав и продвинуть мину. Вода, конечно, до самого верха не доходит.

Суханов взял фонарь и полез в галерею. Сначала пилил он, потом Желябов. Вдруг Желябов выполз из галереи бледный, с искаженным лицом.

— Гадость какая! — сказал он. — Дышать невозможно.

Через несколько секунд вся комната наполнилась запахом сероводорода. Зловонный газ, скопившийся в трубе, нашел теперь выход.

Якимова по совету Суханова сделала респиратор — намочила кусок ваты в растворе марганцовки и положила на лицо Желябова. Он опять полез в галерею, но не выдержал и десяти минут. Работа в подкопе и раньше была трудной, а теперь стала просто невыносимой.

— В квартире Баранникова арестован Колодкевич, — сказала Соня Желябову, когда он, еле живой от усталости, вернулся, наконец, домой. — Клеточникова до сих пор не удалось предупредить.

Этот арест был большим ударом для «Народной воли» и тяжким горем для жены Колодкевича — Геси Гельфман. Но сейчас и она в первую очередь думала не о том, кому уже нельзя было помочь, а о Клеточникове. Ведь квартира Колодкевича была та самая, куда он после ареста Михайлова приносил свои драгоценные сведения.

С тех пор как градоначальство получило право самостоятельно производить аресты, о некоторых из них Клеточников узнавал только задним числом. Вот и сейчас вполне могло случиться, что, получив сведения об аресте Баранникова, он поспешит предупредить Колодкевича и сам при этом попадет в засаду из-за того, что Клеточников был очень близорук, знаки безопасности для него не существовали.

Несмотря на все принятые меры, предотвратить несчастье не удалось — и на другой день случилось то, чего Исполнительный Комитет больше всего боялся: в квартире Колодкевича арестовали Клеточникова — верного часового «Народной воли».

Аресты делались уверенной рукой. Ясно было, что кто-то предает. Людей хватали одного за другим, и в то же время никто не замечал за собой слезки.

Соня жила в вечной тревоге за Тараса, как она и ее товарищи называли

теперь Желябова. Судьба Геси Гельфман и Софьи Ивановой легко могла стать и ее, Сониной, судьбой. Желание не пустить любимого на верную гибель — это такое естественное желание, но Соня не позволяла себе ему поддаваться. Она знала: Тараса никто заменить не может, и волей-неволей он должен рисковать.

— Мы погубим все силы, — говорил Тихомиров, — уложим всех своих и погибнем, может быть, раньше Александра Второго.

А приготовления к покушению между тем шли своим чередом. Члены Исполнительного Комитета не придавали значения туманным рассуждениям Лорис-Меликова, зато хорошо знали, что тот же Лорис-Меликов ухудшил положение каторжан и несколько недель назад отдал приказ вновь бросить в тюрьмы всех вышедших на поселение да еще надеть на них кандалы. «Далее жалких заплат он не пойдет, — говорил Желябов. — А ими не зачинить русское дырявое рубище».

Исполнительный Комитет не видел ни малейшего предлога отступить с честью, считал, что бросить сейчас начатое — значит сдать, признать свое бессилие. И Желябов, по словам Тихомирова, «совершенно закусил удила и, конечно, считая себя обреченным, думал только о том, чтобы возможно больше успеть, торопил цареубийство, как опьяненный гашишем, всем рискуя, на все закрывая глаза».

— Чего нам бояться? — сказал как-то Желябов. — Не станет нас, найдутся на наше место другие.

Мысль «теперь или никогда» будоражила, прибавляла силы, превращала обыкновенных людей в героев и в то же время отрывала этих героев от обыкновенных людей, от народа.

Наступили лихорадочные дни. Работа в подкопе не прекращалась ни днем ни ночью.

Людей не хватало. Желябов вызвал из Одессы друга детства, опытного революционера Тригони. Тот приехал и сразу же впрягся в работу. Соня написала Морозову. Он все еще ратовал за способ Вильгельма Телля и возражал против централизации. Но Соня не сомневалась, что Морозов вернется в Россию по первому же зову и возьмет на себя любую, самую трудную и опасную задачу.

Соня не ошиблась. Через короткое время Исполнительный Комитет получил сведения, что Морозов возвращается, а еще через несколько дней — что его под именем Лакьера арестовали на границе.

Исполнительный Комитет сразу же послал на разведку Иохельсона. Не узнав ничего в пограничном городке, Иохельсон переправился через границу и поехал в Кларан к Кравчинскому. Он надеялся, что Кравчинский,

участвовавший в проводах Морозова, имеет о нем сведения от контрабандистов...

«Смена! Что будет, когда нас не станет?» Вот вопрос, который волнует всех членов Исполнительного Комитета. Трудно быть одновременно и руководителями, и организаторами, и исполнителями. И сейчас уже одним и тем же людям приходится брать на себя непомерно много. А что, если и эти попадут в крепость? Ведь в Третьем отделении их знают поименно, ищут с фотографическими карточками в руках.

Чтобы наметить людей, способных вести дело общей организации в случае гибели «стариков», и, главное, представить себе, на кого можно опереться в случае переворота, Исполнительный Комитет вызывает в Петербург представителей местных групп.

Люди, лозунгом которых было «Все для народа и все посредством народа», давно уже не верили, что народ может чего-либо добиться сам, а теперь убедились, что и на революционеров надежда плохая.

Результат приблизительных подсчетов получился невеселый: выяснилось, что положиться можно только на пятьсот человек, близко связанных с Исполнительным Комитетом.

На людей, считающих себя народовольцами, но не состоящих в обязательных отношениях с организацией, нельзя было рассчитывать, а просто сочувствующих невозможно было и учесть.

Вялые отчеты провинциальных делегатов произвели на петербуржцев тягостное впечатление. Такое же, а может быть, и еще более тягостное впечатление осталось у Теллалова и Ошаниной, приехавших сейчас как представители Москвы, от лихорадочных заседаний Исполнительного Комитета.

«Чувствовалось, — писала Ошанина, — страшное напряжение нервов, некоторая усталость и развинченность. Все внимание было поглощено террором... Террору отдавалось столько сил, потому что иначе его вовсе не было бы».

— Мы затерроризировались, — признавался Желябов.

Он, которого всегда на все хватало, еще жаловался иногда, что некогда «книжку почитать». А другие о книжках и думать забыли. Динамит, бомбы — вот что у всех было и на уме и на языке. Террор настолько захватил людей, что они ни о чем, кроме него, не могли говорить.

На одном из заседаний Суханов развил план бомбардировки Петербурга Кронштадтским флотом.

— Погодите годик, другой. Увидите, — ответил он на чье-то

скептическое замечание.

Но его никто не поддержал. Не поддержала его и Соня.

Ей столько раз казалось: вот еще одно последнее напряжение, царевубийство останется позади, а там, а потом начнется настоящее. А что там и что потом, она теперь и думать не решается.

Расширить организацию, раскинуть ее сети во всех слоях, добиться возможности вести борьбу хоть в сколько-нибудь сносных условиях. На большее ни она, ни Желябов на надеются. И то только в том случае, если не все выйдут из строя.

— Помни, Мария Николаевна, — сказал Желябов на прощанье Ошаниной, — если твоя Москва не выручит, будет плохо.

Партии нужны сейчас не помощники, а полноценные работники, революционеры, привыкшие к большим масштабам, способные все охватить сразу.

По словам Лизы Оловенниковой, комната Сергея Андреевича Иванова безопасна. Его предупредили, что к нему зайдет агент «Народной воли», и он ждет.

— Напоите меня чаем. Страх как пить хочется, — говорит Соня, входя к нему так просто, словно они век до этого были знакомы.

По документам Соня числится Лидией Антоновной Войновой; в одних кругах ее знают как Надежду Осиповну; в других — как Софью Павловну, а Сергей Иванов назвал ее Софья Львовна, обратился к ней по имени, от которого она уже успела отвыкнуть. Случайный разговор об общих знакомых раскрыл для него ее псевдоним.

— Ну, хорошо, — призналась Соня, — раз догадались, то знайте, но знайте про себя и, пожалуйста, никогда больше меня так не называйте.

«...И мы пили чай, разговаривая, как старые знакомые, — вспоминал потом Сергей Иванов, — и я без малейшего стеснения отвечал на ее вопросы о моем прошлом и настоящем. Есть такие люди, обладающие редкой способностью привлекать к себе симпатии и вызывать полное доверие с первых же минут знакомства. В этих людях обыкновенно очень мало показного, бьющего на эффект. Все в них просто и естественно. Но за этой простотой чувствуется какая-то особенная сила, сила, привлекающая и подчиняющая себе других. Мне кажется, что тогда я исполнил бы все, что ни предложила мне Софья Львовна. Но она именно ничего не навязывала, не пыталась оказать какое-нибудь давление на чужую волю силой своего авторитета. Я слышал, что Перовская была очень популярна между петербургскими рабочими, среди которых она вела в это время деятельную

агитацию. И подобная популярность вполне понятна. Именно такие люди, одаренные естественною простотою и свободные от претенциозности, столь обычной у интеллигента, попадающего в рабочую среду, могут пользоваться в ней наибольшим и притом прочным успехом».

В одну из встреч Иванов попросил Соню объяснить ему, что партия подразумевает под захватом власти. Соню поражало, что этот вопрос всегда задавали посторонние, тогда как внутри партии его считали не имеющим значения для настоящего времени.

Предупредив, что высказывает свое личное мнение, она объяснила, что пункт о захвате власти введен в программу для того, чтобы создать после падения самодержавия такую обстановку, при которой весь народ имел бы возможность свободно выразить и осуществить свою волю.

— Наши цели и тактика, — пояснила она, — не имеют ничего общего с якобинским принципом, с идеей о насильственном разрешении сверху главных вопросов общественной жизни. Наш девиз — «Народная воля» — не является пустым звуком, а действительно выражает собой сущность нашей программы. За собой мы оставляем лишь одно безусловное право — право свободной пропаганды своих идей, а в остальном готовы подчиниться верховной воле народа.

— Будьте настороже, скоро будет большой полицейский переполох, — предупредила она Иванова.

Она не имела права сказать о готовящемся покушении, но о взглядах партии на террор высказалась очень охотно, назвала его могучим средством агитации, наиболее действенным способом дезорганизовать правительство и, держа его под дамкловым мечом, принудить к действительным, а не призрачным уступкам.

— Мечь — дело личное, — возразила она против объяснения террористической деятельности побуждениями мести, — около знамени мести невозможно было бы собрать политическую партию... Первый грянувший выстрел — выстрел Веры Засулич был не мечью, а возмездием за поруганное человеческое достоинство.

Недели идут. В воскресенье 15 февраля царь проехал в манеж по Малой Садовой. Подкоп к этому дню был уже вырыт, царские маршруты установлены, но мина еще не заложена и снаряды не готовы.

Исполнительный Комитет созвал своих членов на внеочередное заседание. Заседание приняло постановление: «Больше никаких промедлений. К 1 марта все во что бы то ни стало должно быть закончено».

Прошла еще неделя. 22 февраля царь по настоянию графа Лорис-

Меликова и княгини Юрьевской не выезжал из дворца. В городе ходили слухи, что готовится покушение, называли даже место — Малую Садовую.

26 февраля. В меблированных комнатах г-жи Мессюро на Невском сидит плотный седой человек, по форме — отставной капитан, и пишет:

«Утром сего числа была у Тригони какая-то молодая дама, лет двадцати, блондинка, лицо круглое, как бы опухлое, в круглой бархатной шляпке с серым пером, пальто коричневое с отделкой вроде котиковой. Она по выходе от Тригони поехала до Адмиралтейской площади и у магазина Дациаро, очевидно, кого-то ожидала с час времени».

Отставной капитан кладет перо, встает, подходит к шкафчику и наливает что-то в пузатую рюмку. Полюбовавшись на свет темно-красной жидкостью, он запрокидывает голову, выливает жидкость в рот, трясет головой, фыркает и, обтерев седые усы, садится опять за стол.

«Перейдя затем к магазину, — продолжает он писать, — по Невскому же встретилась с двумя, по-видимому, гимназистками; с ними отправилась к Эрмитажу, но как таковой был закрыт, то вернулись, посидели около Александровского сада, пошли в Исаакиевский собор, очевидно, только для препровождения времени и пробыли тут более часа. Затем направились в 1-ю роту Измайловского полка в дом № 18, в тот самый, где был вчера Тригони. Меры к положительному выяснению личности упомянутой женщины приняты. По приходе в дом № 18 по 1-й роте Измайловского полка дамы, бывшей у Тригони, с нею на лестнице встретился мужчина высокого роста, брюнет, который и помешал агенту проводить даму до дверей».

Брюнет высокого роста, сам того не зная, оказал «упомянутой женщине» большую услугу. Во всяком случае, в доносе отставного капитана не говорится ни слова о том, что Софья Перовская в тот же вечер 26 февраля была вместе с высоким красивым человеком и еще двумя мужчинами на Выборгской стороне в гостях у скромного конторщика Ельникова.

Под именем Ельникова проживал на Симбирской улице Выборгской стороны Игнатий Гриневицкий. В сражении, к которому они все готовились, ему предстояло быть одним из четырех метальщиков.

Соне последнее время приходилось с ним часто встречаться. И чем больше она его видела, тем больше он ей нравился.

27 февраля. Сумерки. Соня и Желябов вместе вышли из дому. Доехали на извозчике до Публичной библиотеки и здесь расстались.

Желябову надо было переговорить с Тригони. Войдя в коридор меблированных комнат г-жи Мессуро, он заметил подозрительную суету и сквозь приоткрытую дверь не занятого никем номера разглядел нечто похожее на полицейский мундир.

— Послушай, Михаил Николаевич, — сказал Желябов, входя в комнату. — У тебя, кажется, в доме полиция.

Тригони вышел в коридор.

— Катя, принесите самовар... — едва успел проговорить он. Но ему не дали закончить. На него набросилась толпа людей.

Желябов осмотрелся — хотел бежать, но было поздно.

Это произошло 27-го вечером, а утром 28-го на столе у Александра II уже лежал доклад, в котором Лорис-Меликов сообщил: «Предполагаемый Желябов наотрез отказывается назвать свою квартиру... К полудню надеюсь разъяснить его личность через Складского». Еще через несколько часов император узнал, что арестованный действительно оказался Желябовым.

Окладский выполнил то, что от него ждали. Он, которого товарищи считали мучеником, сказал жандармам все, что знал, а теперь, глядя в «глазок» двери, опознавал арестованных, выведывал от соседей по камере о том, что делалось на воле после его ареста, ездил по петербургским улицам между двумя переодетыми жандармами и указывал дома, точные адреса которых не знал или забыл.

Кому бы пришло в голову заподозрить в предательстве человека, не побоявшегося сказать в глаза судьям: «Я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи, напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление».

А может быть, сделка совершилась до суда, и само «последнее слово» было произнесено с ведома и благословения господина прокурора.

Жандармы предоставили Окладскому роль Курицына. И с этой ролью — ролью предателя — он справился отлично. С ним сладить было проще, чем с Гольденбергом. Он знал цену деньгам, цену свободе и выбрал свой путь в твердой памяти и ясном разуме.

Вечером 27 февраля Перовская вернулась домой еще более измученная, чем все последние дни. В груди пряталась тупая, ноющая боль. Что это была за боль, она не знала, но знала очень хорошо, что сейчас не время болеть.

В этот день ее преследовали неудачи. Нужно было спешно достать деньги. Соня решила пойти к Ленину. Он раз в месяц вносил в кассу

«Народной воли» сто рублей, собранные им среди сослуживцев. По дороге за ней увязался какой-то отставной капитан. Соня села на извозчика. Капитан нанял лихача и поехал следом. Соня вошла в магазин, пробыла там минут пять. Когда она вышла, капитан стоял у витрины и внимательно изучал дамские шляпы.

Соня переменяла несколько извозчиков, потом пешком переулками, закоулками и проходными дворами добралась, наконец, до квартиры Оленина. Войдя в комнату, она сразу легла на кушетку.

Кроме Оленина, тут была Анна Михайловна Эпштейн, которую Соня не раз встречала раньше — во времена «Земли и воли». Анна Михайловна тогда вместе с Зунделевичем «держала границу» — перевозила людей и книги в Россию и из России. После раздела «Земли и воли» она уехала в Швейцарию, потому что была против террора, а сейчас по просьбе Сергея Кравчинского вернулась в Петербург. Анна Михайловна надеялась, пользуясь старыми связями, вызволить Морозова и увезти с собой. Но ей не удалось даже разыскать его.

Узнав, что Соня пришла за деньгами, Оленин схватился за голову.

— Вот досада! Они еще не внесены. И у меня самого наберется сейчас не больше рубля.

— У меня есть чужие сто рублей, но дня на два я могла бы их вам дать, — предложила Анна Михайловна.

— Нет, я не уверена, что смогу вам вернуть их так скоро, — ответила Соня, с трудом поднимаясь с кушетки. — Надо идти. За мной весь день гнался шпион. Я все деньги истратила на извозчиков и все-таки не уверена, что замела следы. На всякий случай пообчистите квартиру.

— У меня-то ничего нелегального нет, — сказал Оленин. — Но вам, Софья Павловна, надо уйти как можно скорее.

Он вынул кошелек и высыпал все, что там было, в Сонино портмоне. То же самое сделала Анна Михайловна.

— У меня несколько номеров «Народной воли». Сжечь их? — спросила она.

— Давайте мне. Если меня арестуют с ними, мне от этого не будет ни тепло ни холодно. Прощайте! С вами, Рина, — Соня назвала Анну Михайловну так, как ее называл Оленин, — я бы очень хотела еще повидаться, если, конечно, жива буду.

И вот Соня, наконец, доплелась до дома. Разделась, легла в постель, съезжилась под холодным байковым одеялом. Ее поразило, что Желябова еще не было. Он как раз в этот вечер хотел вернуться рано.

Усталость взяла свое, и Соня заснула. Ночью вдруг проснулась,

прислушалась, встала, заглянула в соседнюю комнату. «Что ж это? — Она похолодела. — Нет, нет, не может быть!»

Соня отогнала от себя мысль, для которой даже не успела еще найти нужного слова. Но это слово уже само стучалось в голову.

И как ей ни хотелось уверить себя, что Андрей Иванович просто задержался и вот-вот вернется, в глубине души она не сомневалась, что он арестован. Было уже около двух часов ночи, а хозяева конспиративных квартир не имели права без предупреждения приходить домой позже двенадцати.

Сон ушел без следа. Казалось, ночи не будет конца. И когда, наконец, загудели протяжные фабричные гудки, Соня обрадовалась. День приближался. А днем можно будет что-то сделать.

28 февраля рано утром Соня пошла на Вознесенский. Вера Николаевна еще ничего не знала. Вскоре пришел Суханов. Он был бледен.

— Тараса и Тригони арестовали вчера вечером, — сказал он, остановившись в дверях комнаты.

Соня ждала этого. И все-таки ей показалось, что в одно мгновение весь мир стал другим. У нее потемнело в глазах. Но она взяла себя в руки и сказала:

— Надо собрать всех. Теперь надо действовать быстро и решительно!

Начали собираться те члены Комитета, которых удалось оповестить. Пришел Кобозев-Богданович и стал торопливо рассказывать о том, что произошло только что на Малой Садовой.

Утром в лавку постучали. Приподняв край занавески и увидев серые шинели, он перед тем, как открыть двери, наспех накинул сено и войлок на кучу земли, которая осталась неубранной. Вошел какой-то военный в генеральской шинели, вслед за ним пристав и дворник.

— У вас тут сырость, — сказал генерал, — надо осмотреть стены.

Прошли в жилую комнату. Генерал велел зажечь свечу, осмотрел стены, пихнул носком блестящего сапога войлок на полу.

Все шло хорошо, но генерал заметил вдруг деревянную обшивку, которая прикрывала подкоп. Он подергал ее брезгливо двумя пальцами и спросил коротко:

— Для чего это?

— От сырости, — так же коротко ответил Богданович.

— Напрасно, в щель будут попадать остатки сыра и разлагаться.

Вернулись в лавку. Там стояли бочки с мокрой землей. Рядом на полу была лужа. Генерал подошел к одной из бочек и, стараясь не запачкать

шинели, прочел на верхнем дне: «Е. Кобозеву».

— Что у вас тут?

— Сыры, ваше превосходительство.

— А сырость почему?

— На масленице сметану пролили.

Все сошло благополучно, но ясно было, что кто-то донес на Кобозевых. Дело было на волосок от гибели. Желябов арестован, лавка взята под подозрение. Неужели провал, катастрофа, когда все почти готово для последнего боя?

Соня сразу почувствовала прилив сил. Боль, тоска — все забылось.

— Надо действовать, — сказала она, — во что бы то ни стало завтра же действовать.

— Но мина не заложена, — возразил Суханов. — И снаряды не готовы.

— Они должны быть готовы. И мина должна быть заложена к утру.

Все чувствовали, что в промедлении — гибель.

— А если царь не поедет по Малой Садовой, — спросила Соня, — не действовать ли одними снарядами?

— Да, да, действовать!

Решение совершить покушение при любых обстоятельствах было новым по существу. В свое время Сонин план действовать на Екатерининском канале не получил одобрения. При Желябове на метальщиков смотрели как на резервную силу. Им полагалось действовать на Малой Садовой и то лишь в том случае, если мина почему-либо не взорвется.

В три часа дня Исаева отрядили на Малую Садовую заложить мину. Суханов пошел с Соней очистить квартиру «дворянина Слатвинского» от всего подозрительного и, главное, забрать динамит. Для него это предприятие было менее рискованным, чем для других. Офицерский мундир пока еще пользовался уважением полиции.

Чтобы не попасться с вещами на глаза дворнику, Соня на обратном пути зашла со двора в лавочку, купила там коленкору на платье и парадным ходом вышла прямо на улицу. Хоть она и не сомневалась, что Желябов не назвал ни адреса, ни фамилии, под которой прописан, личность его уже могла быть установлена. У жандармов для этого существовал способ, правда громоздкий, но дающий реальные результаты. Арестованного выставляли напоказ, а мимо него пропускали рядами всех петербургских дворников. Шествие продолжалось до тех пор, пока кто-нибудь из них опознавал своего жильца.

В пять часов Соня и Суханов вернулись на Вознесенский. Вскоре туда пришли Кибальчич и Грачевский. Они принялись заряжать снаряды. Члены Комитета то приходили, то уходили. Настроение было тревожное.

Вечером Соня еще раз забежала к себе домой, на Первую роту. Чуть ли не сразу вслед за ней в квартиру позвонил дворник. Он спросил хозяина, а когда Соня ответила: «Братца нет дома, он на службе», передал листки и сказал:

— Вот тут надо заполнить, кто чем занимается.

Было ясно, что дворник нанес визит неспроста. Соня поторопилась уйти. Вышла она на улицу опять через лавочку. На этот раз купила шесть аршин серой тесьмы, будто бы для отделки платья.

Убедившись, что за ней не следят, она поспешила на Тележную. Туда еще по сговору с Желябовым пришли Кибальчич, Рысаков и Тимофей Михайлов, чтобы дать отчет о результатах пробного взрыва снарядов. Опыт, по словам Кибальчича, прошел удачно.

Рысаков, увидев, что Желябова нет, стал выражать недовольство. Соня и Саблин промолчали. А Гесья Гельфман, обычно тихая, возмутилась:

— Если Захара нет, — сказала она резко, — значит, он не мог прийти.

Соня вернулась на Вознесенский совсем без сил. Вера Николаевна уговорила ее лечь, а сама осталась помогать техникам.

Всю ночь горели лампы, трещали в камине дрова. Окна, чтобы свет не проникал наружу, завесили клеенками Большой стол посреди комнаты был завален жестянками, стеклянными трубками, бутылками с серной кислотой, склянками с бертолетовой солью, с нитроглицерином. За столом сидели трое — Кибальчич, Суханов и Грачевский.

Бледное лицо Кибальчича при свете лампы казалось совершенно безжизненным. Он работал спокойно и ловко, точно ставил опыт, а не делал бомбы. Лицо Грачевского дергалось от напряжения. Чувствовалось, что это для него не первая бессонная ночь. Вера Николаевна обрезала жестянки для оболочек, отливала свинцовые грузики, делала все, что не требовало специальных знаний. Время от времени она подходила к балконной двери и смотрела на улицу. Ночь была светлая. Если бы к дому шел отряд городских, его легко было бы заметить.

В два часа Вера Николаевна тоже легла спать. Просыпаясь ночью, она видела сквозь открытую дверь склонившиеся над столом фигуры товарищей и слышала лязг жести и стук молотка.

Первое марта

Настало утро. Хмурое, серое, сырое. Когда Вера Николаевна и Соня встали, мужчины еще продолжали работать. Две жестянки самого мирного вида уже стояли на столе готовые. Трудно было поверить, что это разрывные снаряды страшной силы.

Соня завернула их в салфетку и, простившись с товарищами, вышла на улицу. Снаряды были тяжелые — весом по 5–6 фунтов каждый. Узел оттягивал руки. Осторожно, чтобы не поскользнуться на подтаявшем снегу, она пошла по Садовой. Только там наняла извозчика, села в санки и положила узел на колени.

Полозья скрипели по изъезженной дороге, подпрыгивая на ухабах. Соня держала узел почти на весу, чтобы предохранить его от толчков. Не доезжая до места, она отпустила извозчика и осторожно, уже пешком пошла дальше. Дверь на Тележной улице ей открыл Саблин.

— Вот, братцы, и снаряды, — сказала Соня, входя в угловую комнату. — Только не все, не успели остальные наготовить.

— Всего два? — спросил Гриневицкий.

— Что ж делать, надо довольствоваться малым. Может быть, еще принесут. Всю ночь работали. Не арестовали бы Захара, не было бы такой спешки.

— А разве Захар арестован? — испуганно спросил Рысаков.

Соне безотчетно не нравился Рысаков с его толстыми губами и низким лбом. Тырков во время одного из первых собраний наблюдательного отряда обратил ее внимание на то, что Рысаков нервничает, смеется как-то некстати. Но Желябов ему верил, его рекомендовал, и, кроме того, на этот раз ему хотели только дать «понюхать пороху».

— Да, арестован, — сухо сказала она. — Исполнительный Комитет поручил мне руководить вами. Сейчас я вам все объясню

Соня взяла со стола какой-то конверт и стала набрасывать план.

— Вот эта линия — Невский. Здесь — Екатерининский канал. Здесь — Малая Садовая. Этот круг — Михайловский сквер, а это — Михайловский дворец. Михайловский манеж — вот здесь. Царь ездит из Зимнего дворца в манеж по Невскому, Малой Садовой и Большой Итальянской. На Невском должны быть два человека, один может стать у памятника Екатерины, а другой на противоположной стороне. На углу Малой Садовой и Итальянской тоже должны расположиться двое, но не вместе.

Все четыре поста Соня отметила на конверте точками. Потом нарисовала кружок на углу Малой Садовой и Невского.

— Это что за кружок? — спросил Тимофей Михайлов.

— Это то место на Малой Садовой, — пояснила Соня, — где государя уже ждут (метальщики не знали и не должны были знать о подкопе). Звук взрыва будет сигналом идти туда и действовать снарядами. Если же царь по какой-либо причине не поедет по Малой Садовой, идите на Михайловскую. Я тоже приду туда. И если выну носовой платок и поднесу к лицу, это будет сигналом идти на Екатерининский канал, действовать там.

— А где кому стать? — спросил Емельянов.

— Пусть Котик^[6] и Михаил Иванович^[7] станут на углу Итальянской. Вы, Николай^[8], у памятника Екатерины, а вы, Михаил^[9], на противоположном углу. Первым бросит снаряд Михаил Иванович, если он промахнется — Котик, потом Михаил, а последним — Николай.

Пока Соня объясняла план покушения, Кибальчич принес еще два снаряда и сказал:

— Это иллюзия, что со снарядами придется действовать.

Он выразил общее мнение. Трудно было рассчитывать на недостаточно проверенное оружие.

Соня и Геся Гельфман завернули жестянки в платки, придали им вид безобидных свертков.

Все было в полной боевой готовности, но уверенности в том, что царь не станет отсиживаться во дворце и удастся совершить покушение именно в этот день, у Сони не было.

Первого марта Александр II встал, как всегда, в половине девятого. Усевшись в кресло перед туалетным зеркалом, он с неудовольствием увидел в блестящем чистом стекле отекающее лицо, мешки под глазами, морщинистую шею в разрезе распахнувшейся ночной рубашки. Запах одеколона, которым камердинер вытер ему лицо, несколько возбудил его.

«Ехать или не ехать?» — спрашивал он себя в то время, как камердинер хлопотал над ним, превращая старика в ночной рубашке и шлафроке в молодцеватого зятянутого генерала.

Закончив свой туалет, Александр II пошел в кабинет. На столе лежали доклад Лорис-Меликова и полученная накануне копия показаний Желябова.

«Служу для освобождения родины... Жил на средства из фонда для освобождения народа. Жил под многими именами; называть их считаю неуместным», — прочитал царь. Слова «зовут меня», «от роду», «служу»

были напечатаны, остальное вписано от руки.

«Для освобождения родины», — перечитал Александр и опять, как всегда при мысли о революционерах, почувствовал прилив ярости.

Дрожащей рукой он отложил показания и пошел из кабинета в покой своей жены, княгини Юрьевской.

В церкви во время обедни Александр рассеянно слушал слова богослужения. «Отчего же не ехать?» — думал он снова, решая все тот же вопрос: ехать ли на развод в Михайловский манеж? Лорис-Меликов уговаривал не ехать, но сказал:

— Все, что в человеческой возможности, сделано для предохранения вашего величества от опасности.

— Поеду, — решил, наконец, Александр. — Не хватает только, чтобы меня держали под домашним арестом.

Он решился, наконец, на призыв выбранных от земств и городов в законосовещательную комиссию, и это придало ему смелости.

В час дня лейб-кучер подал карету к дворцовому подъезду* защищенному со всех сторон деревянной стеной с двумя воротами.

И император в шинели темно-синего сукна, в каске с белым султаном сошел с крыльца. Отворяя дверцу кареты, он приказал кучеру:

— В Михайловский манеж через Певчевский мост.

На Невском у Гостиного двора оживленное движение. Шумно, тревожно. Звякают колокольчики конок. Обгоняя друг друга, проносятся легкие санки. По широким тротуарам непрерывной процессией движутся нарядные, праздные люди. Мелькают фуражки с кокардами, треуголки, белые султаны, бобровые шапки, блестящие цилиндры.

На углу Большой Садовой, у Публичной библиотеки, стоит изящно одетая дама. Она пристально вглядывается вперед, как будто боится пропустить кого-то в потоке людей и экипажей. В руках она теребит тонкий белый платок. Кого она поджидает с таким волнением?

Это Анна Павловна Корба, первая в цепи сигнальщиков. Когда она поднесет платок к лицу, следующий сигнальщик пойдет быстрым шагом от угла Малой Садовой к лавке сыров. В лавке у окна сидит Якимова. Она передаст сигнал Фроленко, который стоит в глубине комнаты у батареи. В тот миг, когда царская карета поравняется с лавкой, Фроленко соединит провода. Взрыв потрясет Невский, перемешает в панике праздную, разряженную толпу. Если же царь и тут уцелеет, из толпы выбегут люди с бомбами.

Метальщики уже на своих местах. У памятника Екатерины

прогуливается Рысаков. Порыжелая шапка из выдры нахлобучена на уши, под мышкой узелок. На другой стороне — Емельянов. Еще дальше, на Итальянской, — Гриневицкий и Михайлов.

Кто бы сказал, глядя на праздничную улицу, что это поле сражения, фронт, на котором расставлено и приготовлено к бою войско?

Соня чувствует прилив сил, бодрости. Ум ясен и работает с особенной остротой. Сердце бьется, как часы, заведенные до отказа.

«Волнуется, — думает она, проходя мимо Рысакова. — Нехорошо это. Впрочем, до него очередь не дойдет, вероятно».

Гриневицкий издали едва заметно улыбается ей. Этот человек поражает Соню своим самообладанием. Когда они, чтобы не обращать на себя внимание долгим ожиданием на улице, зашли в кофейню, он один из всех позавтракал совершенно спокойно.

Обойдя метальщиков, Соня идет на Малую Итальянскую.

Анна Павловна нервничает. В глазах рябит от мелькания лошадей, людей, экипажей. Но вот, наконец, улица пустеет. Околоточные и городовые на углу заставляют извозчиков сворачивать.

— Проезжай, проезжай! — кричит высокий околоточный, указывая рукой в белой перчатке в сторону Сеяной.

А вдали уже показались всадники в черкесках на вороных конях. За ними — карета, на козлах — кучер в придворной ливрее с красной пелеринкой и конвойный казак. Они все ближе и ближе.

Но что это? Жандармы, которые с приближением царской кареты становились все напряженнее и, наконец, совсем окаменели, вдруг начали свободно двигаться. Прерванное движение возобновилось. Царь проехал. Но не тем путем, каким ездил всегда, — казаки, царская карета, санки с полицмейстером свернули на Большую Садовую.

Как только Соня увидела, что царь изменил маршрут, она, не теряя ни минуты, пошла на Михайловскую и, убедившись, что он заехал в Михайловский дворец, подала метальщикам знак — идти на Екатерининский канал.

Она знала: на ней теперь вся ответственность. Если и тут ничего не выйдет, тогда конец. Придется ждать целую неделю, а за неделю арестуют многих, и сражение будет проиграно.

Соня перешла на другую сторону канала и остановилась у решетки против Инженерной улицы. Внизу под ее ногами, как белая постель, лежала снежная гладь канала. Засыпанная снегом баржа возвышалась у другого берега, под гранитной стеной набережной. А еще дальше —

чугунная решетка и черные оголенные деревья за оградой Михайловского сада. У ворот дворники сгребали снег.

Соня разглядела на другой стороне канала фигуру Рысакова, его нахлобученную шапку, шагах в ста от него прогуливались порознь Гриневицкий и Емельянов. Не было почему-то Михайлова. Она посмотрела на часы. Ждать осталось буквально минуты. Царь никогда не оставался в Михайловском дворце больше получаса.

Рысаков медленно шел вдоль набережной. Страх, который ему удалось превозмочь, снова им овладел. Но узелок как будто прилип к руке, и ноги сами шли вперед, к углу Инженерной улицы.

«Не мне начинать, — старался он себя успокоить, — Котик раньше меня подойдет к углу».

Проехали на извозчике два офицера, прошел солдат. Сторож в тулупе и рукавицах сбивает киркой обледенелые ухабы посреди дороги. С Инженерной улицы вышел на набережную взвод моряков.

И вдруг из-за угла показались казаки, за ними карета. Раздалась барабанная дробь — это взвод отдает честь царю.

Рысаков вздрогнул. Он неожиданно оказался на первой линии боя. Котик далеко, Михаил еще дальше, Михаила Ивановича не видно. Неужели же начинать ему, Рысакову? Он растерянно посмотрел на другую сторону канала.

Соня подносит платок к лицу — сигнал действовать.

Карета приближается. Топот лошадей все громче. Сторож бросил кирку, снял шапку. Мальчишка с санками остановился поглазеть.

Промелькнули казаки, блестящее дышло кареты, черные бока лошадей. Думать поздно. Рысаков быстрым движением подымает узелок и бросает вперед — под ноги лошадям.

Короткий миг тишины, и потом что-то рвануло, толкнуло, ударило. Валятся с седел оглушенные казаки. Взвились на дыбы лошади. Кто-то кричит, барахтается в снегу. Но царская карета цела, только задняя стенка разбита в щепки.

Из кареты выходит царь. Он бледен. Вокруг быстро собирается толпа. С другой стороны канала бегут по льду какие-то офицеры. Подошел и остановился взвод моряков.

— Задержали преступника? — спрашивает царь.

Ему показывают на Рысакова. Рысакова держат городской и двое солдат. Он без шапки, пальто в снегу. Рыжие волосы всклокочены. У городского, который его держит, расстегнута шинель, оторвана портупья —

очевидно, во время борьбы. Царь подходит ближе, спрашивает:

— Этот стрелял?

— Так точно, ваше императорское величество, — отвечают, перебивая друг друга, городской и солдаты.

Царь вполоборота смотрит сверху вниз на Рысакова. Он как будто хочет понять что-то, разрешить какую-то задачу.

— Кто ты такой?

— Мещанин Грязнов.

— Хорош, — говорит царь и идет назад, к карете.

Ему навстречу движется густая толпа. Впившись в него глазами, неподвижно стоит взвод моряков. Станный, необычный парад!

Прислонившись к решетке канала, стоит какой-то молодой человек. Он держит руки за спиной. Это Гриневицкий. Царь приближается к нему, не зная о новой страшной опасности, которая ему грозит на глазах сотен людей, сотен зрителей. Сколько хранителей, сколько шашек, винтовок, кортиков! Но на этот раз они не спасут.

Первый шаг, второй, третий; молодой человек подымает над головой что-то белое и бросает между собой и царем.

Опять удар в барабанные перепонки. Черное облако дыма, ключев одежды. Смятение, ужас! Толпа бежит, оставляя на снегу тела оглушенных, контуженых. Крики, свалка, ничего не понять.

Но вот дым рассеивается. Прислоненный к решетке канала, с раздробленными ногами, в луже крови полусидит Александр II. А в нескольких шагах от него в другой луже крови лежит ничком, раскинув руки, израненный насмерть Гриневицкий.

Царя увозят во дворец. Гриневицкого вместе с другими ранеными — в придворный госпиталь Конюшенного ведомства.

Врачам после долгих усилий удается привести Гриневицкого в сознание, но все ухищрения следователей выведать от него, кто он и кто его сообщники, остаются тщетными. Им не удается добиться от умирающего ничего, кроме слов: «Не знаю».

После смерти Гриневицкого его забальзамированную голову показывают Желябову и Рысакову. Ее выставляют для опознания в одном полицейском участке.

Соня видела, как Рысаков бросил бомбу, слышала, как позади нее посыпались от оглушительного удара стекла. Вот Рысаков побежал, падает. За ним бегут. Его хватают, — Карета разбита, но царь невредим. Новый взрыв. Облако дыма, крики, смятение.

Она всмотрелась, напрягая зрение, и вдруг, закрывая лицо руками,

шатаясь, отошла от решетки.

Кто знает, о чем она думала, что чувствовала в эти минуты. Настало время, когда и она могла сказать вслед за Верой Засулич: «Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать».

Мимо нее промчался донской казак, дико выкрикивая что-то. От Аничкова дворца проскакал на маленькой лошадке коренастый человек с длинными ногами, которые неуклюже болтались в стременах. Соня узнала наследника Александра. За ним казаки с шашками наголо, с пиками наперевес. Их вызвали в Зимний по телеграфу.

С трудом пробиваясь сквозь толпу, она вошла в маленькую кофейню на Владимирской. Там в задней почти всегда пустой комнате у нее было назначено свидание с товарищами по наблюдательному отряду — Тырковым и Сидоренко. Хотя Соня пришла прямо с Екатерининского канала, Тырков на ее лице не заметил волнения. Ему показалось, что оно, как всегда, серьезно-сосредоточенное, с оттенком грусти. Тихими, неслышными шагами она подошла к столику, села и, наклонившись вперед, стала говорить. Ее голос прерывался.

— Кажется, удачно, если не убит, то тяжело ранен... Бросили бомбы сперва Николай, потом Котик... Николай арестован. Котик, кажется, убит.

«Разговор, — вспоминал потом Тырков, — шел короткими фразами, постоянно обрываясь. Минута была очень тяжелая. В такие моменты испытываешь только зародыш чувств и глушишь их в самом зачатке. Меня душили подступавшие к горлу слезы, но я сдерживался, так как во всякую минуту мог кто-нибудь войти и обратить внимание на нашу группу».

Из кофейни Соня пошла на Николаевскую к Зотовой. Там, кроме самой Ольги Евгеньевны и ее брата Суханова, она застала членов военной организации Штромберга и Завалишина. Суханов бросился к ней навстречу, но сразу почувствовал, что его восторженные поздравления не находят в ней отклика, может быть, даже не доходят до ее сознания.

Ольга Евгеньевна, увидев, что Соня смертельно бледна, уложила ее на кушетку. Завалишин принес ей для подкрепления стакан красного вина.

И тут вдруг случилось то, чего никто не мог ожидать, чего не ожидала сама Соня. Из ее глаз полились слезы, и она, которая была всегда такой мужественной и стойкой, как ни старалась, не сумела их сдержать.

Теперь, когда Соня выполнила то, что считала своим долгом, и дело, требовавшее от нее не только напряжения, но и перенапряжения всех сил, было закончено, возбуждение, поддерживавшее ее в последние дни, вдруг резко оборвалось, сменилось непреодолимой слабостью.

Через несколько мгновений, справившись как-то с налетевшим на нее

приступом слез, Соня заговорила о том, что казалось ей сейчас самым важным — об освобождении Желябова. Она хотела организовать нападение на конвои при переводе Желябова из Третьего отделения в суд.

Желябова никто не называл вождем, но все понимали, что он — душа дела. Понимали, что он, сего умением вести за собой людей, может быть, сейчас только и смог бы развернуться во всю ширь своей натуры. Члены военной организации тоже считали, что необходимо сделать все возможное и невозможное для его освобождения. Но они больше, чем Перовская, представляли себе, с какими трудностями это сопряжено, ясно видели препятствия, с которыми ей сейчас совсем не хотелось считаться.

В четыре часа дня на Вознесенском собрался Исполнительный Комитет. Товарищи встретили-Соню, когда она с некоторым опозданием пришла туда, поздравлениями, объятиями, слезами. Счастливые и возбужденные, они наперебой восхищались ее «хладнокровием, несравненной обдуманностью и распорядительностью».

«День спасла она, — писала впоследствии Вера Фигнер, — и заплатила за него жизнью... Я плакала, как и другие. Тяжелый кошмар, на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван, ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников — все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России».

Студенческая молодежь шла в своих надеждах еще дальше. Медичка В. Дмитриева вспоминала потом об этих днях: «Казалось, что вот сейчас что-то должно начаться... Революция, баррикады. Надо что-то делать, куда-то спешить, бежать...»

Предводитель дворянства граф Бобринский записал 2 марта в своем дневнике: «...чем защищаться против этой — несчастной группы убийц, видимо решившихся на все? Конституция или по меньшей мере народное представительство, по-видимому, есть средство защиты, указанное провидением...»

Каждый думал свое, думал по-своему, но одно было ясно всем: после того, что свершилось на Екатерининском канале, управлять так, как управляли раньше, невозможно. Перемены не заставят себя ждать. Поворот будет. Вопрос только в том, в какую сторону.

Несмотря на общую растерянность, в правительственных кругах нашлись люди, которые не прочь были сами ухватиться за колесо истории. 1 марта поздно вечером Победоносцев явился в Аничков дворец и умолял

императора прогнать Лорис-Меликова.

«Боже, как жаль его, нового государя! Жаль, как бедного ошеломленного ребенка. Боюсь, что воли у него не будет. Кто поведет его? Покуда все тот же фокусник Лорис-Меликов», — писал он несколькими днями позднее Тютчевой, бывшей фрейлине при дворе Александра II.

Одни призывали революцию. Другие искали способа отвлечь от себя эту грозу. То, что ни баррикад, ни революции не будет, горестно сознавали одни только революционеры.

1 марта Валуев находился у Лорис-Меликова, когда услышал звук взрыва.

— Attentat possible^[10], — сказал он по-французски.

— Невозможно, — ответил Лорис-Меликов и поехал узнавать, в чем дело.

Через пять минут ни у него, ни у кого другого сомнения не было.

Узнав о случившемся, весь Петербург устремился к Зимнему дворцу, сотни карет и экипажей протискиваются к Салтыковскому подъезду. Толпа молчит. У всех одна мысль: что будет дальше?

В Зимнем растерянность и еще большая тревога.

Внутри дворца не пускают никого, кроме членов царской фамилии. Он оцеплен конными казаками и конными жандармами. Во дворе батальон преображенцев.

В Аничковом дворце караул лейб-гвардии Павловского полка. В эскадронах конногвардейского полка людям розданы боевые патроны. Лошади оседланы и замундштучены.

Войскам отдан приказ: день и ночь оставаться в казармах, офицерам — находиться при своих частях. На солдат правительство не рассчитывает. Сейчас, в минуту паники, силы революции кажутся ему неисчислимыми.

В 3 часа 35 минут медленно спустился со шпиля штандарт. По толпе пронесся вздох; чей-то бабий голос жалостливо закричал:

— Кончился наш голубчик, царство ему небесное! Доконали, злодеи...

«Никто, — по словам Дмитриевой, — не отозвался на этот вопль. «Народ безмолвствовал», не выражая ни особенной скорби, ни радости — ничего, кроме самого обыкновенного обывательского любопытства... Больше ничего не было: ни баррикад, ни революции...»

Мысль: «Теперь или никогда» — продолжает держать революционеров в сверхъестественном напряжении.

«Сегодня, 1 марта 1881 года, согласно постановлению

Исполнительного Комитета от 26 августа 1879 года, — печатает в ту же ночь, не теряя ни одной минуты, типография «Народной воли», — приведена в исполнение казнь Александра II. Отныне вся Россия может убедиться, что настойчивое и упорное ведение борьбы способно сломить даже вековой деспотизм Романовых... Обращаемся к вновь воцарившемуся Александру III с напоминанием, что историческая справедливость существует и для него, как для всех... Россия не может жить так далее. Она требует простора, она должна возродиться согласно своим потребностям, своим желаниям, своей воле. Напоминаем Александру III, что всякий насилователь воли народа есть народный враг... и тиран. Смерть Александра II показала, какого возмездия достойна такая роль... Исполнительный Комитет обращается к мужеству и патриотизму русских граждан с просьбой о поддержке, если Александр III вынудит революционеров вести борьбу с ним. Только энергичная самодеятельность народа, только активная борьба всех честных граждан против деспотизма может вывести Россию на путь свободного и самостоятельного развития».

Соня избрана в Бюро прокламаций. Ей, Богдановичу и Исаеву поручено написать воззвание «К честным мирянам, православным крестьянам и всему народу русскому». «К русскому рабочему люду» обращаются рабочие — члены партии «Народной воли». Составить обращение к правительству и к европейскому обществу поручено Грачевскому и Тихомирову.

Поздно вечером Петербург производит жуткое впечатление. Он точно замер. Театры, рестораны, трактиры закрыты. Люди заперлись в своих домах. Патрули и те показываются только изредка.

«Улицы были полны народа до десяти часов вечера, — заносит в дневник Валуев, — но потом опустели».

«Были люди, — пишет И. И. Попов, — которые считали, что если бы у революционеров были бы небольшие организованные группы рабочих и их вывели на улицу, то результаты могли бы получиться самые неожиданные».

Когда позднее об этом мнении сообщили члену Исполнительного Комитета Теллалову, он сказал:

— Очень вероятно, что это справедливо. К сожалению, мы этого не могли сделать.

Встречи. Соборания. Постановления. Кажется, что 1 марта будет длиться вечно. И вот, наконец, день кончился, и Соня в постели. В чужом доме, у чужих людей. Положение создалось такое, что она не может две ночи подряд переночевать в одном месте

Теперь бы заснуть, чтобы хоть немного восстановить силы. Но разве ей до сна! Она не может не думать о том, что будет с Россией, не может не думать о том, что будет с ним, с ее Андреем.

За последний год не было, кажется, мысли, которой они не продумали бы вдвоем, а сейчас, когда его присутствие нужнее, чем когда-либо, его нет, и, может быть, он даже не знает о том, что свершилось.

Но Андрей Желябов не такой человек, чтобы выйти из игры.

В два часа ночи с 1 марта на 2-е, узнав о цареубийстве, он говорит, не скрывая своей радости:

— Теперь на стороне революционной партии большой праздник — совершилось величайшее благодеяние для освобождения народа... Со времени казни Квятковского и Преснякова дни императора были сочтены.

И в ту же ночь Желябов пишет на имя прокурора палаты следующее заявление:

«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.

Андрей Желябов.

2 марта 1881 г., д. пр. закл.

P. S. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.

Андрей Желябов».

Мартовские дни

Петербург в трауре. Балконы, фонари, окна задрапированы черным и белым. Газеты выходят в черных рамках. На руках чиновников и военных черные повязки. Петербург в тревоге. По улицам разъезжают патрули. Во дворце ждут новых покушений.

Люди передают друг другу шепотом, ссылаясь на самые достоверные источники, известия одно фантастичнее другого. И самое удивительное, что все эти известия ни в ком почти не возбуждают сомнений.

Вокруг Зимнего дворца роют канаву, чтобы проверить, не ведется ли под дворец подкоп. Уверяют, что удалось уже перерезать семнадцать проводов от мин. По ночам происходят повальные обыски и облавы. Днем прохожих сгоняют с панели, запрещают собираться кучками. Вокруг города — заставы, кавалерийское оцепление. Петербург — осажденная крепость, в которую прорвался неприятель.

Грозный призрак Исполнительного Комитета встал над городом. Одни ненавидят его, другие ждут с нетерпением его победы, но все притаились.

Многое ли может сделать один, сам по себе, без поддержки масс, героический Исполнительный Комитет? Собрания следуют за собраниями. Типография печатает все новые и новые воззвания. Студенты, сочувствующие «Народной воле», вкладывают эти воззвания в конверты и отправляют их в провинцию по заранее заготовленным адресам.

Прокламации развешивают и в самом Петербурге. В центральных кварталах — обращения к обществу, на окраинах — к рабочим.

Рабочие волнуются. Ждут призыва к восстанию.

«Что нам теперь делать? — спрашивают они Соню. — Веди нас куда хочешь». Соню радует и в то же время смущает их готовность. И в самом деле — куда она может их повести, ведь их так мало.

Хоть суда еще не было, Лорис-Меликов не сомневается в приговоре.

«Упустил доложить Вашему императорскому величеству, — докладывает он 3 марта новому императору, — что необходимо отсрочить открытие суда на некоторое время (2–3 дня). По мнению моему, это тем более необходимо, что в пятницу 6-го числа назначено перенесение тела в бозе почившего государя императора в Петропавловскую крепость, а потому казнь в этот день была бы неуместна. По всей вероятности, казнь придется отложить до понедельника 9 марта, дабы исполнение приговора не совпало с воскресным днем».

Царь испуган. И люди, отнюдь не революционно настроенные, хотят этот испуг использовать в своих целях. 3 марта Победоносцев пишет своему бывшему воспитаннику:

«Ради бога, в эти первые дни царствования, которые будут иметь для Вас решительное значение, не упускайте случая заявить свою решительную волю, прямо от Вас исходящую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу», или: «Я не хочу и не допущу»... Гнетет меня забота о Вашей безопасности. Никакая предосторожность — не лишняя в эти минуты... Сегодня были у меня несколько простых людей, которые все говорят со страхом и ужасом о Мраморном дворце...»

Давно ли Александр II опасался партии Аничкова дворца, и вот уже Александра III пугают княгиней Юрьевской, Константином — партией Мраморного дворца. Победоносцев дает понять новому императору, что его может постигнуть не только судьба отца, но и судьба прадеда. Примеров убийств, совершаемых в тишине дворцов, убийств, которых никто не называет вслух злодеяниями, в русской истории не так уже мало.

В Приморское известие о случившемся пришло не сразу. 3 марта, когда Василий Львович Перовский ехал верхом на Северную сторону, его окликнул знакомый.

— Слыхали новость? Царя убили бомбой, вчера весь день в церквях звонили, сгоняли народ присягать новому царю.

«Наконец-то! — подумал Василий Львович. — Столько лет ждали этого».

Он помчался назад, домой, сообщить матери и жене потрясающую новость. Варвара Степановна, выслушав его, как-то вся потемнела.

— Что с Соней? — сказала она. — Ведь, наверно, она в этом участвовала.

От этих слов, которые пророчили несчастье, сразу стало в маленьком домике угрюмо и невесело. Василий Львович давно уже старался подготовить мать к тому, что она больше не увидит Соню. Но трудно забыть умершую дочь и совсем невозможно — живую. Дни потянулись за днями.

Как-то прибежал сосед грек, человек глупый и болтливый.

— Слышали, злодеев уже поймали. Теперь злодейку ищут. Говорят, напали на след.

Варвара Степановна бросила на сына взгляд, полный ужаса.

И правда, напали на след. В тот же день к Вере Фигнер внезапно приходит Кибальчич. Он приносит невеселые вести. Квартира на Тележной

взята с бою. Саблин застрелился. Гельфман арестована. Там же после вооруженного сопротивления арестован Тимофей Михайлов.

Саблин — талантливый, остроумный; Геся, которая, несмотря на тяжкое личное горе, забывала о себе, думала только о других. Соне ясно: Саблин погиб, чтобы не даться живым полиции. Геся и Михайлов живы, но и им не избежать гибели. А Желябов?.. И как всегда, мысли о судьбе людей сразу же перебиваются мыслями о судьбе дела.

«Квартиру на Тележной почти никто не знает. Неужели Рысаков действительно предает?»

На Вознесенском спешно собираются члены Комитета. Фигнер предлагает сохранить мину на случай проезда Александра III. Для этого, считает она, можно рискнуть людьми. Большинство — против.

— Это трусость! — вырывается у Веры Николаевны

— Вы не имеете права так говорить, — обрывает ее Тихомиров.

Исполнительный Комитет выносит постановление: немедленно бросить магазин и организовать отъезд Кобозевых. Во время спора Соня молчит. Но когда товарищи настаивают на том, чтобы и она покинула Петербург, возражает горячо и нетерпеливо.

Вечер того же 3-го числа. На Невском в толпе шныряют газетчики и кричат: «Новая телеграмма о злодейском покушении».

Прохожие нарасхват раскупают листки, еще пахнущие типографской краской. В толпе — Соня и Тырков. Они тоже покупают листок. Тырков читает вполголоса:

— «Министр внутренних дел объявляет во всеобщее известие. Один из главных организаторов последнего преступного посягательства на драгоценную жизнь в бозе почившего государя императора, арестованный 27-го вечером, признал свое руководящее участие в преступлении и изобличается в том же показанием задержанного на месте катастрофы виновника ее, мещанина Рысакова».

До сих пор Соня еще надеялась, что следствию не удастся установить причастность Желябова к царевубийству.

«Даже в этот момент, полный страшной для нее неожиданности, — писал Тырков, вспоминая об этом вечере, — Перовская не изменила себе. Она только задумчиво опустила голову, замедлила шаг и замолчала». Тырков тоже молчал, боясь заговорить, зная, что она любит Желябова.

—.-Зачем он это сделал? — вырвалось у него.

— Верно, так нужно было, — тихо ответила Перовская.

Только теперь, после ареста Желябова, окружающие поняли всю

глубину чувства, которое связывало этих двух людей. «Особенно она, — говорили их общие друзья, — ее чувство было безгранично глубоко, и только такая натура, как у Софьи Перовской, способна вынести его, не утративши других гражданских чувств».

Каждый день приносит новые вести. Телеграммы сообщают о новых и новых арестах. 4 марта полиция производит обыск у Кобозевых. 5 марта саперы извлекают из-под Малой Садовой мину.

«Ваше императорское величество, — пишет Победоносцев новому царю 6 марта, — измучила меня тревога. Сам не смею явиться к Вам, чтобы не беспокоить, ибо Вы встали на великую высоту. Не знаю ничего — кого Вы видите, с кем говорите, кого слушаете и какое решение у Вас на мысли... И я решаюсь опять писать, потому что час страшный и время не терпит. Или теперь спасти Россию и себя, или никогда...»

Соня больна, но лежать в постели, ходить к врачу — это сейчас не для нее. Чтобы продержаться хотя бы еще немного, она глотает пилюли и порошки, пьет какие-то микстуры.

— Найди мне рублей пятнадцать займы, — просит она у Веры Николаевны. — Я истратила их на лекарства — это не должно входить в общественные расходы.

Вера Николаевна, и без того называвшая Соню «великой аскеткой», говорит:

— До такого ригоризма у нас, кажется, еще никто не доходил.

Соня старается завести связи с дворцовыми прачками и модистками, разыскивает георгиевских кавалеров, которым во время праздника приходится сталкиваться с царствующими особами. Часами дежурит у Аничкова дворца.

У нее нет дома. Поздно вечером она не знает, куда пойдет ночевать, но какая-то непонятная сила держит ее на ногах.

Соня хочет снять квартиру на Пантелеймоновской, поближе к тюрьме, чтобы устроить там наблюдательный пункт, ищет лазейку в окружной суд. Не думая об опасности, ходит целые дни по городу, подбирает людей, убеждает колеблющихся, старается их увлечь смелыми планами. Члены военного кружка уже обсуждают с ней пути освобождения друзей.

Создать отряд рабочих под командой смелых, волевых офицеров, прорвать ряды войск, когда осужденных повезут на казнь, вырвать пленников из когтей врагов — вот что кажется ей вполне возможным.

Она не дает себе ни секунды отдыха. В городе ходят слухи, что

Желябова и Рысакова будут судить военным судом и казнят не сегодня-завтра. Ее планы рушатся один за другим, но она не опускает рук. Тырков помогает ей во всех начинаниях.

Она знает, друзья говорят про нее: «Соня потеряла голову», но они ошибаются. Никогда еще мысль ее не работала так четко. Им кажется, что она сошла с ума, потому что надеется спасти Желябова. Но разве то, на что они все шли вместе с тем же Желябовым, разве решение освободить Нечаева не было таким же безумием? А освобождение централочных? Пусть оно не удалось, но разве она не отдала этому делу год жизни? Так неужели же оставить погибать Желябова, без которого так трудно себе представить дело, Желябова, который так дорог ей самой?

Друзья уговаривают Соню хоть на самое короткое время уехать за границу. В их среду проник слух, будто бы Лев Николаевич Перовский каким-то образом передал дочери заграничный паспорт. Но если это и не так, то Рина (Анна Михайловна Эпштейн) берется перевезти ее через границу, а Анне Михайловне можно довериться.

Но Соня и слышать не хочет об отъезде.

— Разве мы можем, — говорит она, — оставить свои позиции? Какие вопросы рождаются, какое движение везде, какая жизнь! Мы должны напрячь все силы, чтобы еще немного открыть глаза народу.

В Петербурге — слухи, слухи. А Соне нужно точно знать, когда будет суд, что думает правительство.

Она вспоминает, что у Риной в департаменте полиции есть знакомый генерал, который в глубине души сочувствует революционерам.

Рина по Сониной просьбе согласилась пойти к генералу.

Генерал сообщил самые точные сведения: участь подсудимых бесповоротно решена. Суд будет только для публики.

В шесть часов Рина пришла туда, где должна была встретиться с Соней. Соня пришла только в девять, усталая, бледная.

Рина сразу же рассказала ей, что знала.

«Когда я подняла глаза, — вспоминала потом Рина, — то увидела, что она дрожит всем телом. Потом она схватила меня за руки, стала нагибаться все ниже и ниже и упала ничком, уткнувшись лицом в мои колени. Так оставалась она несколько минут. Она не плакала, а вся была как в лихорадке. Потом она поднялась и села, стараясь оправиться, но снова судорожным движением схватила меня за руки и стала сжимать их до боли...»

На столе шумел самовар. В столовой было уютно и тепло, а Соня

дрожала, как будто все окна были распахнуты и ветер ворвался в комнату. Рина снова заговорила:

— Не съездить ли мне в Одессу, вызвать его родных?

— Нет, — ответила Соня упавшим голосом. — Слишком поздно.

— Генерал удивился, зачем Желябов объявил себя организатором покушения.

— Иначе нельзя было, — сказала Соня, — процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.

— Генерал говорит, что Желябов вел себя все время гордо и благородно. Первого марта его разбудили ночью. Узнав, что царь убит, он сказал: «Теперь у нас большой праздник. Я не принял участия в этом покушении только потому, что был в тюрьме!»

На бледных Сониных щеках вспыхнул румянец, глаза загорелись.

— И потом, — продолжала Рина, — он написал заявление: «Если Рысакова намерены казнить, было бы несправедливостью сохранить жизнь мне». Генерал говорит, что Желябов знает об ожидающей его казни и выслушал это известие с поразительным спокойствием.

Соня глубоко вздохнула и закусила губу.

— Говорят, Рысаков выдает, — после минутного молчания сказала Рина. — Генерал отрицает это, не знаю почему.

— Нет, он, должно быть, прав, — произнесла Соня не очень уверенно.

Она говорила мало, кратко, отрывисто, несколько раз спохватилась, что уже ночь, повторяла: «Надо идти», но не имела сил встать.

Наконец Соня заставила себя одеться и выйти на улицу. Зима опять вернулась после нескольких теплых дней. В снежной мгле смутно появлялись и исчезали одинокие фигуры прохожих. Соня шла, сама не зная куда. У партии было много квартир, куда каждый член Исполнительного Комитета имел право прийти, как к себе домой. Но она слишком хорошо знала: тем, у кого ее найдут, несдобровать.

После долгого раздумья Соня решила пойти на Вознесенский.

— Верочка, можно у тебя ночевать? — спросила она Веру Николаевну, которая открыла ей дверь.

Вера Николаевна посмотрела на нее с удивлением и упреком.

— Как это ты спрашиваешь? Разве можно об этом спрашивать?

— Я спрашиваю потому, что, если в дом придут с обыском и найдут меня, тебя повесят.

Обняв ее, указывая на револьвер, который лежал у изголовья постели, Вера Николаевна сказала:

— С тобой или без тебя, если придут, я буду стрелять.

Запечатлев эту сцену в своих воспоминаниях, Вера Николаевна добавила: «Такова была душа Перовской, частица души ее, потому что только частица ее была приоткрыта мне. В то спешное время мы слишком поверхностно относились к психологии друг друга. Мы действовали, а не наблюдали!»

В то «спешное время» людям некогда было думать и о собственной психологии. За одну ночь арестовали несколько членов наблюдательного отряда, в том числе и Лизу Оловенникову.

Соня услышала об этом рано утром и сразу же бросилась к Сергею Иванову. Она знала: в этот день они должны встретиться.

Оказалось, что Сергей Андреевич уже ходил к Оловенниковой и не попал в засаду только оттого, что его от самых дверей ее квартиры оттолкнула какая-то незнакомая женщина.

— Разве можно так рисковать?! — воскликнул он, увидев Соню. — Ведь это чудо, что я на свободе и вы не нарвались на полицейских.

— От своей судьбы не уйдешь, — непривычно резко ответила Соня. — Да я и сама не хочу этого и не буду прятаться в подполье. Рано или поздно это должно случиться.

Она показалась ему на этот раз взволнованной, нервной, не в пример обычному спокойствию и мягкости.

А волноваться было от чего. По планомерности обысков и арестов чувствовалось, что правительство опомнилось, спохватилось.

«Везде столько полиции, — записала 7 марта у себя в дневнике жена генерала Богдановича, — столько войска, что через них трудно что-либо видеть».

Удар, нанесенный народовольцами в центре, как и следовало ожидать, не вызвал волнений в крестьянстве. Восстания в городе тоже не последовало. Плеханов был прав. Ничего не изменилось, кроме того, что после имени Александр вместо двух черточек появились три.

Многие из рабочих, с которыми Соня продолжала поддерживать связь, считали, что надо было поднять рабочих хотя бы в одном Питере. Они говорили:

— Пусть бы кончилось неудачей, но для будущего оно послужило бы опытом, положило бы ясную границу между народом и правительством, да еще неизвестно, чем бы кончилось.

8 марта в Зимнем дворце состоялось первое при новом царе заседание совета министров. Рассматривался проект Лорис-Меликова. Александр III

начал с того, что выразил сомнение в своевременности этой меры и предложил присутствующим, не считая вопрос предрешенным, высказаться откровенно.

То, что на заседание по личному желанию императора пригласили таких людей, как Победоносцев и известный реакционер граф Строганов, доказывало, что для самого императора вопрос предрешен.

Победоносцев разразился громовой речью. Он назвал «говорильнями» земские, городские и новые судебные учреждения и «самой ужасной говорильней» — печать... «И когда, государь, — воскликнул он, — предлагают вам учредить по иноземному образцу новую верховную говорильню? Теперь, когда прошло несколько дней после совершения самого ужасающего злодеяния».

Совещание кончилось тем, что проект был сдан в комиссию. По мнению Валуева, в данных обстоятельствах это означало полный провал. Победителей не судят, но побежденные всегда виновны. В обществе, ровно ничего не сделавшем для того, чтобы поддержать Исполнительный Комитет, начались разговоры, что «Народная воля» 1 марта погубила конституцию.

«Не верьте историям, будто покойный царь подписал конституцию в день своей смерти, — писала позднее английская газета «Таймс». — Он подписал назначение комиссии для рассмотрения вопроса, не могут ли быть расширены земские учреждения, и если вы услышите о конституции, — повторил он еще раз, — не верьте этому».

Сам граф Лорис-Меликов через несколько месяцев, уже из-за границы, будучи недоступным царской немилости, написал А. А. Скальковскому:

«...Чем тверже и яснее будет поставлен вопрос о всеобщем земстве, приноровленном к современным условиям нашей жизни, тем более мы будем гарантированы от стремлений известной, хотя и весьма незначительной, части общества к конституционному строю, столь непригодному для России».

Того же 8 марта в Коломне у Анны Павловны прошло обсуждение подготовленных Грачевским и Тихомировым обращений к правительству. После прений, в которых Соня и Суханов принимали особенно горячее участие, Комитет отдал предпочтение тихомировскому проекту обращения, написанному в форме письма новому императору.

«Ваше величество, — говорилось в письме, — вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный Комитет не считает, однако, себя вправе поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для

нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной... Виселицы бессильны спасти отживающий порядок. Весь народ истребить нельзя. Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка.

Могут быть только два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или добровольное обращение верховной власти к народу.

Вы потеряли отца. Мы теряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Мы ждем того же от вас».

Кончалось письмо требованием освободить всех политических заключенных и созвать народных представителей для пересмотра всего строя государственной и общественной жизни.

Перовская и ее товарищи не верили, что царь выберет второй путь. И все-таки они решили отпечатать и распространить письмо Александру III в возможно большем числе экземпляров. Пусть народ поймет, за что казнили Александра II, и сам рассудит, на чьей стороне правда.

9-го числа Соня снова встретила с Ивановым. Он знал об ее болезни, но все-таки его поразило, как ока всего за несколько дней осунулась, побледнела, похудела. «Порой среди разговора, — вспоминал потом Иванов, — она вдруг задумывалась, как бы уносясь на минуту мыслью куда-то далеко, но потом, встряхнувшись, оживлялась, проявляя лихорадочную торопливость и энергию».

Иванов рассказал об одном смелом замысле. Перовская заинтересовалась, стала расспрашивать о подробностях. И только тут он узнал ее, прежнюю, всегда стойкую, выдержанную.

— Я давно, — сказала она, уходя, — собираюсь с вами потолковать серьезно и предложить вам более систематическую революционную работу. Оставаться долго волонтером партии — положение неудобное и притом малопродуктивное. Нужно самому входить в курс дела. Одно это сильно подымает и энергию человека и производительность его работы. Нужно, чтобы революционная работа не была чем-то лишь добавочным к частной, личной жизни человека, а тем центральным пунктом, около которого сосредоточиваются все помышления и интересы.

«Говорила она это, — добавил уже от себя Сергей Андреевич, — замечательно хорошо, просто и сердечно, и в словах ее чувствовались

убеждение и уверенность, почерпнутые из личного опыта. Впечатление ее слов надолго сохранилось у меня, и я после всегда вспоминал об этих минутах, как о чем-то светлом и бодрящем в самые трудные моменты жизни».

Исполнительный Комитет держит в страхе столицу. Исполнительный Комитет ставит условия царю.

А между тем это всего только кучка смелых людей, которая быстро тает.

10 марта. Соня, опустив голову и засунув руки в муфту, идет по Невскому. Дело почти не подвинулось за последние дни. У нее такое чувство, как будто она своими слабыми руками пытается сдвинуть каменную гору. Но ведь она не может оставить Желябова погибать...

Вдруг кто-то хватает Соню за руки. Она поднимает голову.

Серая шинель, рябое лицо, белесоватые глаза — околоточный. Рядом с ним — хозяйка лавки из дома на 1-й роте.

— Эта? — спрашивает околоточный.

— Да, да, она самая, — говорит женщина и отводит глаза.

Вокруг собирается толпа. Все с любопытством смотрят «а Соню — она так мало похожа на преступницу.

И вот ее уже везут в участок. Грязные, темные, прокуренные комнаты, заплеванные полы. Кипы бумаг на столах. Наглое лицо пристава. За стеной грубая ругань и чей-то жалобный голос.

Вызваны дворники из дома № 18 по 1-й роте.

— В вашем доме жила Лидия Антоновна Войнова?

— Как же, Жили-с. Да вот они самые.

— Хорошо-с, — говорит пристав, — я должен препроводить вас, сударыня, в жандармское управление.

Время было беспокойное. И когда Соня не пришла на очередное заседание, ее товарищи сразу поняли: случилось непоправимое.

— При Александре Дмитриевиче это не могло бы случиться, он увез бы ее насильно, — выразил кто-то из них вслух мысль, которая пришла в голову не ему одному.

— Она вилась, как вьется птица над головой коршуна, который отнял у нее птенца, пока сама не попала к нему в когти, — сказал Тырков.

Сергей Иванов с горечью вспомнил, как сильно хотелось ему заставить Софью Львовну покинуть Петербург и как он не решился даже заговорить с ней об этом: «Чувствовалось, что это будет бесполезным разговором, который только расстроит ее».

Камера № 1. Стены, окрашенные охрой, и на фоне окна, замазанного белой краской, черный переплет решетки. После лихорадки последних дней мертвенная тишина тюрьмы, неподвижный покой желтых больничных стен. В такой же камере Соня сидела много лет назад. Тогда было столько надежд, хотелось на волю. А сейчас единственное желание — чтобы поскорее все кончилось.

При аресте у нее, кроме множества прокламаций, отняли пальто, кольцо, пенсне, маленькую вуаль, запонки для манжет. Офицер записал принятые вещи в книгу. Соня очень хорошо знала, что расписаться в получении этих вещей ей уже не придется.

Она ждала этого всегда, и все-таки как неожиданно это случилось: арест, участок, допрос в комиссии до четырех часов утра. Корректный, разговаривающий ледяным тоном прокурор Плеве. И самое ужасное — лист с подробными признаниями Рысакова.

Прокурор показал Соне не все. Некоторые места он прикрывал рукой, но из того, что она увидела, было ясно, кто виноват в провале квартиры на Тележной, в смерти Саблина, в арестах Гельфман и Тимофея Михайлова.

В протоколе против слов «зовут меня» Соня твердой рукой написала: «Софья Львовна Перовская». Показала, что занималась революционной деятельностью, что средства к жизни частью добывала работой по переводам и переписке, частью брала из фондов партии. Она признала свое участие в покушении под Москвой и в событии 1 марта. Взяла на себя больше того, что было: сказала, что сама не бросила снаряда только потому, что его для нее в тот день не достало.

Следующий допрос вел прокурор Добржинский, тот самый, которому удалось «обработать» Гольденберга. С Рысаковым он справился без труда. Достаточно было обещать этому мальчику помилование, и он, как утопающий, схватился за протянутую руку.

Добржинский начал вкрадчиво, мягко, как человек, которому от души жаль бедную девушку, попавшую в такое ужасное положение. Но Соня сразу же дала ему отпор. На вопросы, которые касались ее товарищей, она отвечала сухим и не терпящим возражений голосом:

— Об этом я говорить не желаю. Этого показывать не буду.

Ласковая улыбка сменилась на лице Добржинского нетерпеливой гримасой. И при каждом «не желаю», «не буду», «не стану» он презрительно пожимал плечами, как бы говоря: «Тем хуже для вас».

Было ли ему ясно, что эта хрупкая на вид девушка — не Рысаков и не Гольденберг? Понимал ли он, что никакой пыткой, никакими обещаниями у

нее не вырвешь лишнего слова?

«Стремясь к поднятию экономического состояния народа и уровня его нравственного и умственного развития, — написала она в своих показаниях, — мы видели первый шаг к этому в пробуждении в среде народа общественной жизни и сознания своих гражданских прав. Ради этого мы стали селиться в народе для пропаганды, для пробуждения его умственного сознания. На это правительство ответило страшными репрессиями, рядом мер, делавших почти невозможной деятельность в народе. Таким образом правительство само заставило партию обратить преимущественное внимание на наши политические формы, как на главное препятствие народного развития».

Перовская не давала объяснений, которые могли навести на чей-нибудь след, но на вопросы о целях партии и ее действиях ответила подробно.

«Партия, — говорится в ее показаниях, — придерживаясь социалистическому учению, долго колебалась перейти к политической борьбе, и первые шаги по этому пути встречали сильное порицание со стороны большинства партии, как отступление от социализма. Но ряд виселиц и других мер, показывавший необходимость сильного отпора правительству, заставил партию перейти решительно на путь борьбы с правительством, при которой террористические факты являлись одним из важных средств. Упорство же в посягательствах на жизнь покойного государя вызывалось и поддерживалось убеждением, что он коренным образом никогда не изменит своей политики, а будут только колебания: одной ли виселицей больше или меньше, народ же и общество будут оставаться в прежнем вполне бесправном положении...»

11 марта. Соня не знала, куда ее повезли. Случайно занавески на окне кареты раздвинулись, и она увидела Неву, серые бастионы Петропавловской крепости и тускло-золотой шпиль. Карета въехала в ворота крепости и остановилась во внутреннем дворе. Жандармский офицер отворил дверцу, вышел и предложил Соне следовать за ним. Поднялись по какой-то мрачной лестнице, прошли коридор. Жандарм распахнул дверь.

Соня увидела сводчатую полутемную комнату, длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел жандармский полковник. Перед ним спиной к двери стоял кто-то в арестантском халате.

Человек обернулся. Это был Рысаков. Увидев Соню, он вспыхнул и отвел глаза. Его косые, расходящиеся от переносицы брови зашевелились, толстые губы передернула странная гримаса.

— Признаете ли вы в этой женщине ту блондинку, о которой говорили в предыдущих показаниях?

— Да, — ответил Рысаков, бросив на Соню быстрый и как будто умоляющий о чем-то взгляд.

Но в Сониных глазах он не прочел прощения — они глядели на него холодно и презрительно.

Снова сводчатая комната в Петропавловской крепости, и снова кто-то в арестантском халате.

За столом на этот раз двое: прокурор Добржинский и офицер в темных очках.

— Потрудитесь обернуться, господин Тырков, — подчеркнуто вежливо произносит Добржинский.

Тырков оборачивается. У Сони до того измученный вид, что он боится задержать ее на лишнюю минуту.

— Не знаком, — говорит он сразу, не дожидаясь вопроса.

Добржинскому, который, должно быть, надеялся на эффект неожиданного появления и на свое умение разбираться в «игре физиономий», пришлось разочароваться.

12 марта газета «Голос» сообщила, что арестована «сообщница Гартмана, подававшая ему сигнал для взрыва, подруга Желябова, руководительница Рысакова — женщина невысокого роста, худая, скромная, по внешности ничем не похожая на нигилистов».

В правительственном сообщении были полностью указаны имя, фамилия и звание арестованной, а в Приморском все еще ничего не знали и надеялись, что беда минет.

Василий Львович встал утром 14 марта особенно рано и вышел запрягать волов. Но едва он открыл дверь, как на него набросились жандармы и схватили его за руки. Из-за угла дома, из-за стогов сена и пристроек выбежали люди с шашками и револьверами. Последними показались знакомые ему жандармский, капитан и севастопольский полицмейстер.

— Капитан, что это значит? — спросил Василий Львович.

— Отпустите, отпустите, — с видимым смущением приказал капитан жандармам. — Идите на кухню.

Варвара Степановна и Александра Ивановна, жена Василия Львовича, стояли бледные, перепуганные.

— Я получил приказ, — обратился капитан к Василию Львовичу, —

арестовать вас и доставить в Петербург под строгим конвоем. Десятого числа в Петербурге арестовали вашу сестру.

— Что ж, их пытать будут? — спросила Варвара Степановна.

— Что вы! Это в настоящее время недопустимо и невозможно.

Василия Львовича увезли. Позднее ему сказали, что его арестовали «для дезинфекции».

Весь день и всю ночь Варвара Степановна пропела как в бреду. Тяжелое горе, которое столько лет приближалось, наконец, пришло к ней и навсегда поселилось в ее доме. Она плакала, но слезы давали облегчение только на миг, а потом опять нарастала боль, которая вызывала новые слезы.

Через несколько дней снова приехал жандармский капитан, передал Варваре Степановне сто пятьдесят рублей на путевые издержки и повестку, в которой было сказано, что департамент полиции немедленно требует ее в Петербург.

В тот же вечер Варвара Степановна выехала в Петербург в сопровождении старшего сына Николая Львовича.

Здание министерства внутренних дел у Чернышева моста. У двери в кабинет — курьеры и чиновники.

Приемная полна ожидающих. Министры, губернаторы, директора департаментов с туго набитыми портфелями, генералы, сенаторы. И среди них пожилая женщина в черном платье — Варвара Степановна. Все ждут, потому что граф изволит завтракать в своем кабинете. Он так обременен государственными делами, что не успевает дома даже позавтракать.

Наконец дверь открывается, служитель выносит на подносе блестящий кофейник, чашки, тарелки. Курьер приглашает его превосходительство министра юстиции пожаловать в кабинет.

Министр юстиции выходит. Приглашают Варвару Степановну первую. Лорис-Меликов сидит за большим столом. Его брови нахмурены.

— Сядьте, — указывает он Варваре Степановне на кресло против себя. — Я должен вам передать, госпожа Перовская, настоятельную просьбу, или, вернее, приказание государя, чтобы вы употребили все ваше влияние на дочь, чтобы она выдала всех своих соучастников, потому что необходимо положить конец этому пролитию крови.

— Дочь моя, — ответила Варвара Степановна с достоинством, — с раннего детства обнаруживала такую самостоятельность, что ее нельзя было заставить делать что-либо по приказанию. На нее можно было влиять только лаской и убеждением. Теперь же она — взрослый человек вполне

сложившихся взглядов. Она ясно понимала, конечно, что делала, и потому никакие просьбы не могут повлиять на нее.

Расчеты Лорис-Меликова и самого Александра III оказались неправильными. Не было на свете силы, которая могла заставить такую женщину, как Варвара Степановна, отравить дочери последние дни жизни позорными просьбами.

— Не забудьте, сударыня, — сказал Лорис-Меликов, с каждым словом повышая голос, — что еще сын ваш в наших руках, и мы сгноим его в тюрьме, если понадобится.

— Я знаю, что вы можете это сделать, — сказала Варвара Степановна.

— Но вы все-таки пожелаете видеть вашу дочь?

— Конечно, хотела бы.

— Так вам будет дано свидание.

Лорис-Меликов встал, давая понять, что прием окончен.

Через несколько дней Соню ввели в комнату, в которой ее уже ждала Варвара Степановна. Увидев мать, Соня бросилась к ней, принялась целовать ее лицо, шею, руки.

Свидание было устроено не по правилам. Варвару Степановну не отделяли от Сони две решетки. По-видимому, Лорис-Меликов все еще надеялся, что мать, увидев преступницу дочь, бросится к ней с мольбами «чистосердечным признанием» купить жизнь.

— Сядьте, — сказал жандармский офицер, — вот сюда, — и показал на четыре стула, которые стояли посреди пустой комнаты.

Тут только Соня вспомнила, что в комнате посторонние, все тот же прокурор Добржинский и какой-то незнакомый жандармский офицер.

Соня и Варвара Степановна сели рядом. Жандармский офицер и прокурор, усевшись напротив них, придвинули стулья так близко, что касались их колен своими.

— Мамочка, успокойся, — шептала Соня, — прости, прости! Верь, что я не могла поступить иначе.

Жандармский офицер впился глазами в Сонино лицо, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Помни, мамочка, — продолжала Соня, — что я с радостью встречу смерть. Единственное, чего я боюсь, — это помилования.

Жандармский офицер и прокурор переглянулись.

Соне столько нужно было сказать матери, но присутствие соглядатаев словно парализовало ее. Прошло еще несколько томительных минут. Варвара Степановна встала. Соня поняла ее: лучше прекратить это мучительное свидание.

— Пришли мне, мамочка, простое черное платье, — попросила она. — Мне хотелось бы быть на суде опрятно одетой.

Это свидание не было последним. После того как 24 марта Соню перевели в Дом предварительного заключения, Варваре Степановне удалось увидеться с ней в ее камере. Говорить они и не пытались. Да и что можно было сказать друг другу в присутствии двух соглядатаев?

Лев Николаевич отказался от свидания с дочерью. Это было лучшее, что он мог для нее сделать.

Соня во время первого свидания сказала матери правду: быть, как женщине, отделенной от остальных, жить после того, как всех ее товарищей предадут смертной казни, — это было то, что всегда казалось ей самым страшным.

Она могла бы заставить себя существовать только ради дела, но помилование — пожизненная тюрьма или каторга — означало для нее прозябание в крепости, полное бездействие, гражданскую смерть.

Да и знала ли она, за что должна была бы взяться сейчас, если бы даже очутилась каким-то чудом на воле? Старый путь завел их в тупик, новый еще не был найден.

Несмотря на желание Александра III покончить с Рысаковым как можно скорее, суд откладывали со дня на день. Его нельзя было не отложить после «заявления» Желябова, после арестов на Тележной, после извлечения мины на Малой Садовой.

Если бы Соня оставалась на свободе, ее товарищей уже не было бы в живых. Накануне того дня, когда ее арестовали, другим обвиняемым (их в то время было четверо) уже вручили обвинительный акт. Теперь началось дополнительное следствие, составление дополнительного акта, а это требовало времени.

17 марта арестовали Кибальчича, и опять началась следственная горячка.

Кибальчича водворили по соседству с Соней, но при существовавших обстоятельствах о перестукивании не могло быть и речи.

Здесь, в камере № 2, воспользовавшись тем, что у него, наконец, появилось свободное время — на воле не до того было, — Кибальчич взялся за свой давно заброшенный «проект воздухоплавательного прибора».

«Находясь в заключении, — написал он, — за несколько дней до своей смерти, я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении.

Если же моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди Человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью. Поэтому я умоляю тех ученых, которые будут рассматривать мой проект, отнестись к нему как можно серьезнее и добросовестнее и дать мне на него ответ как можно скорее».

(На донесении по этому поводу начальника жандармского управления генерала Комарова государственной полиции, кроме слов «приобщить к делу о 1 марта», есть пометка, которая говорит сама за себя: «давать это на рассмотрение ученых теперь, вряд ли будет своевременно и может вызвать только неуместные толки».

22 марта Соня написала матери письмо. «Дорогая моя, неоцененная мамуля! Меня все давит и мучает мысль, что с тобой. Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня, побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно так будет. И, право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии, поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне. И единственно, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная; это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его. Голубонька моя, мамочка, вспомни, что около тебя есть еще громадная семья, и малые и большие, для которых для всех ты нужна, как великая, своей нравственной силой. Я всегда от души сожалела, что я не могу дойти до той нравственной высоты, на которой ты стоишь; но во всякие минуты колебания твой образ меня всегда поддерживал. В своей глубокой привязанности к тебе я не стану уверять, так как ты знаешь, что с самого детства ты была всегда моею самой постоянной и высокой любовью. Беспокойство о тебе было для меня всегда самым большим горем. Я надеюсь, родная моя, что ты успокоишься, простишь хоть частью все то горе, что я тебе причиняю, и не станешь меня сильно бранить; твой упрек единственно для меня тягостный.

Мысленно крепко и крепко целую твои ручки и на коленях умоляю не сердиться на меня. Мой горячий привет всем родным. Вот и просьба к тебе есть: дорогая мамуля, купи мне воротничок и рукавчики с пуговками, потому запонок не позволяют носить, и воротничок поуже, а то нужно для

суда хоть несколько поправить свой костюм: тут он очень расстроился. До свидания же, моя дорогая, опять повторяю свою просьбу: не терзай и не мучай себя из-за меня; моя участь вовсе не такая плачевная, и тебе из-за меня горевать не стоит.

Твоя Соня.»

Речь обвинителя, царский суд не страшны были Соне. Ей важен был суд истории, суд народа. Но это потом, когда ее уже не будет. А сейчас для нее важнее всего был суд ее совести. Она написала матери, что совесть ее чиста, потому что она жила по своим убеждениям. В самом деле, когда она ушла из дому и примкнула к кружку чайковцев, когда ухаживала в больнице за больными, учила в школе детей, жила убогой деревенской жизнью и чувствовала себя среди народа, как в родной семье, совесть ее была чиста. Потом пошли занятия с рабочими. Они тоже захватили ее целиком. Правда, были уже тогда минуты сомнений. Становилось страшно, когда рабочие, которые вчера еще смирялись, готовы были идти за ними, а они сами еще не знали, куда их вести. Стихия была разбужена. Река разлилась, старое русло стало ей тесно, а нового русла они не сумели вырыть. Потом в Харькове, когда Соня старалась вырвать друзей из Централки, она тоже чувствовала, что делает правое дело. И дорого ей стоило от него отказаться.

Раздвоение началось исподволь и достигло своего апогея перед съездом. Раздвоение партии и раздвоение в человеческих душах. Они слишком торопились. Им приходилось по ходу решать то, что необходимо было решить заранее. Да и могла ли она с уверенностью сказать сейчас, кто из них был прав и был ли кто-нибудь прав? Не она одна, никто из ее друзей — а у нее были друзья и в том и в другом лагере — не представлял себе тогда политической борьбы без политического заговора. Для слияния научного социализма с рабочим движением тогда еще не настало время.

И все-таки, когда Соня судила себя сама строгим судом собственной совести, ее не могла не утешать надежда, что так дорого доставшийся им опыт не пропадет даром, пригодится тем, кто будет продолжать дело. А в то, что их дело бессмертно, она верила от всего сердца.

На судебной трибуне

26 марта. 11 часов утра. В здании окружного суда открылось первое заседание Особого присутствия сената по делу «О совершенном 1 марта 1881 года злодеянии».

Заменить военный суд судом Особого присутствия решено было из международных соображений.

«Император Александр III, — свидетельствует полковник лейб-гвардии Преображенского полка граф Пфейль, — решился на публичное разбирательство дела только для того, чтобы положить конец всяким слухам о жестоком обращении и пытках, которым будто бы подвергались обвиняемые в тюрьме».

Подсудимых вводят по одному. Соня обменивается рукопожатиями со всеми, кроме Рысакова.

В публике высшее общество: бахрома эполет, меха, ордена, лорнеты, запах тонких духов.

Обвиняет Муравьев. Тот Николай Валерианович Муравьев, который за год до этого проиграл сражение с Исполнительным Комитетом. Теперь о поражении не может быть и речи. Он спокоен. Что бы ни сказали защитники, победа останется за ним.

Для Сони он не только противник по делу Гартмана, но и товарищ детских игр, Коля Муравьев, которого они с Машей и Васей вытащили когда-то в Пскове из пруда. Он тогда так испугался, плакал, и вода лилась с него ручьями. Да, это его лицо, изнеженное, капризное. Он и родную сестру послал бы на виселицу, если бы это ему понадобилось для карьеры.

Подсудимые сидят на скамье за дубовым барьером: Рысаков, Михайлов, Гельфман, Кибальчич, Перовская, Желябов. Сбоку два жандарма с шашками наголо, неподвижные, как фигуры в музее. А за ними на стене огромный, задрапированный в черное портрет Александра II. Он стоит, как живой, вытянувшись по-военному, в лентах, орденах, с каской в руке.

Соня рядом с Желябовым. Она спокойна. На лице у нее легкий румянец. Председатель суда следит за тем, чтобы они не разговаривали, но им все-таки удастся обменяться несколькими словами.

Желябов, Кибальчич, Перовская — авангард «Народной воли». Идет последний бой между ними и царскими слугами.

Но что могут сделать здесь эти обреченные люди? Они могут сделать

многое: защитить знамя «Народной воли» от поругания, сказать правду в глаза врагам так, чтобы услышала вся Россия.

Они мечтали о пропаганде. И вот судьба привела их на такое место, откуда их слышно будет всему народу. Не только тем, кто живет сейчас, но и тем, кто будет жить после. И еще другая цель у них в этом бою: отстоять, спасти двух товарищей — Тимофея Михайлова и Гесю Гельфман. Прямых улик против них нет. Их оговорил Рысаков. Его показания надо опровергнуть, разбить, уничтожить.

— Подсудимая Перовская, — говорит первоприсутствующий, — объявите ваше имя, фамилию, где проживали последнее время.

— Дворянка Софья Перовская, двадцати семи лет. Занималась революционными делами.

Первоприсутствующий обращается к Желябову. Желябов называет себя, потом говорит:

— Я двадцать пятого числа подал в Особое присутствие из крепости заявление о неподсудности моего дела Особому присутствию сената как суду коронному, так как признаю правительство одной из заинтересованных сторон в этом деле и полагаю, что судьей между нами, партией революционеров и правительством, может быть только один — всенародный суд. Полагая, что настоящая форма суда лично к нам неприменима, я заявлял о том, что по справедливости и по духу даже наших русских законов, наше дело подлежит рассмотрению суда присяжных заседателей, как представляющих собой общественную совесть, и просил на это заявление ответа...

Ответ, прочитанный обер-секретарем, гласит: «Особое присутствие находит, что отвод о неподсудности дела... лишен всякого основания и не подлежит удовлетворению».

— Я удовлетворен, — к удивлению присутствующих, заявляет Желябов. И правда, он удовлетворен. Ему удалось огласить то, что суд предпочел бы спрятать под сукно.

Первоприсутствующий возвращается к опросу. Он спрашивает Желябова о его вероисповедании. Желябов отвечает:

— Крещен в православии, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого вероучения и торжественно признаю, что вера без деда мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за права угнетенных и слабых, и если нужно, то за них и пострадать...

Отрицание христианской религии и признание христианской морали — это так похоже на бывшего чайковца.

Во время чтения обвинительного акта бесконечное число раз повторяются ссылки на Гольденберга. Он умер. А его показания продолжают верой и правдой служить жандармам.

Когда адвокаты и Желябов, который отказался от защитника, по формальным соображениям потребовали отвода Гольденберга как свидетеля, Муравьев произнес торжественно:

— В настоящее время имею честь заявить, что показание Гольденберга... должно быть прочитано на судебном следствии, и под условием этого прочтения обвинительная власть считает возможным продолжать судебное следствие.

И самое ужасное то, что, кроме умершего свидетеля Гольденберга, есть живой свидетель Рысаков. Он с ними на одной скамье подсудимых, но Перовская ведет себя так, будто его не существует, не замечает его, не хочет замечать.

Обвинительный акт прочитан. Теперь первоприсутствующий предлагает подсудимым высказаться по существу предъявленных им обвинений.

Рысаков не может не признать себя виновным в преступлении 1 марта, но тут же объявляет, что не считает себя в полном смысле членом партии «Народной воли».

Михайлов называет показания Рысакова ложными. Отрицает свое участие в покушении.

— Я подтверждаю лишь, — говорит он, — что принадлежу к той партии, которая защищает среду рабочих, потому что я и сам человек рабочий, и признаю, что сопротивлялся властям, чтобы не отдавать себя даром.

Гельфман, не отрицая того, что была членом партии и хозяйкой конспиративной квартиры, утверждает, что участия в событии 1 марта не принимала.

— Считаю долгом заявить, — заканчивает она свою речь, — что у меня на квартире, как на собраниях, бывших до первого марта, так и утром первого марта, Тимофей Михайлов не был.

Кибальчичу, может быть, из-за присущего ему спокойного, философского тона удастся рассказать о стремлениях «Народной воли», о причинах, заставивших лиц социалистического образа мыслей перейти к политической борьбе. Рассказывая о своем личном участии в террористической деятельности, Кибальчич подчеркивает, что оно

ограничивалось исключительно научно-технической сферой.

— Я говорю это, — предупреждает он судей, — не для того, чтобы снимать с себя часть обвинения, а просто по чувству справедливости.

Соня, когда очередь доходит до нее, подтверждает, что, как член «Народной воли» и агент Исполнительного Комитета, участвовала и в покушении под Москвой и в покушении 1 марта.

— Партия «Народной воли», — говорит она, — отнюдь не считает возможным навязывать какие бы то ни было учреждения или общественные формы народу и обществу и полагает, что народ и общество рано или поздно примут эти взгляды и осуществят их в жизни... Относительно лиц, участвующих в последнем событии, я могу заявить одно: Гельфман как хозяйка конспиративной квартиры, как член партии «Народной воли» вовсе не примыкала к террористической деятельности партии... Относительно подсудимого Михайлова я должна сказать, что он точно так же не принимал участия в террористической деятельности партии, не готовился в метальщики и не был первого марта на квартире, где, собственно, решался план действий...

После Сони встает Желябов. Он говорит:

— Я долго был в народе, работал мирным путем, но вынужден был оставить эту деятельность... Оставляя деревню, я понимал, что главный враг партии народолюбцев-социалистов — власти.

Первоприсутствующий останавливает его движением руки.

— Я должен предупредить вас, что я не могу допустить в ваших объяснениях таких выражений, которые полны неуважения к существующему порядку управления и к власти, законом установленной...

— Я это признаю, — соглашается Желябов и продолжает в прежнем тоне, — как человек, из народа вышедший, для народа работавший, я так понимал выгоду от политической борьбы.

— Для суда не нужно знать теории, — опять прерывает его председатель. — Суду нужно знать ваши личные отношения к делу.

— Совершенно верно, — подтверждает Желябов, — я мог бы держаться в таких рамках и к ним возвращусь.

Несмотря на то, что Фукс чуть ли не ежеминутно перебивает Желябова, градоначальник Баранов — протеже Победоносцева — жалуется императору на слабость председателя.

Министр юстиции, вызванный по этому поводу во дворец, заверяет его величество, что никаких неприличий не происходит, и предлагает присутствующему при этом разговоре Победоносцеву вместе поехать в суд.

Победоносцев демонстративно отказывается.

— Я дал себе слово, — говорит он резко, — ноги моей не будет в новых судебных учреждениях.

Не только Победоносцев и Баранов, все приверженцы старого заволновались.

«Неужели же люди энергичные, люди дела; а не пустой болтовни, — пишет Победоносцеву анонимный корреспондент, — все перешли в шайки злодеев, богоотступников, царевбийц; неужели у царя остались слуги лишь честные, деликатные бояре, считающие, что не следует даже с такими отщепенцами, каковы перовские и желябовы, иначе обращаться как учтиво и разыгрывать с ними эту противную и уродливую комедию, которую с ними ломали на суде, дозволяя им разглагольствования, изъяснения их богоотступной деятельности, хвастовства их злодеяниями и ученые прения?»

«Возмутительно, — говорится в воспоминаниях жены начальника штаба Московского военного округа Духовской, — что убийц государя судят правильным судом, спрашивают их: «Признаете ли вы себя виновными?» Их следовало народу отдать на растерзание».

«Хотя и говорят, что убийцам надо дать высказаться, — пишет в дневнике генеральша Богданович, — но я с этим не согласна. Рассуждения Желябова о религии, циничные разговоры Перовской — все это действует губительно и на слушающих на суде и на читающих газеты».

Но и здесь, среди этой тщательно подобранной и профильтрованной публики, не все разделяют такое мнение. На некоторых людей, ожидавших под влиянием газетных описаний увидеть мелодраматических злодеев, подсудимые производят скорее даже благоприятное впечатление.

«Душа дела Желябов и Перовская... — записывает государственный секретарь Перетц, — Перовская — блондинка небольшого роста, прилично одетая и причесанная — должна владеть замечательной силой воли и влиянием на других. Преступление 1 марта, подготовлявшееся Желябовым, было после его арестования приведено в исполнение по ее плану и благодаря замечательной ее энергии».

«Видя на скамье подсудимых эту миловидную блондинку с круглым лицом, с ласковыми голубыми глазами, одетую в простое, но со вкусом сделанное темное платье, — вспоминает через много лет граф фон Пфейль, — трудно было поверить, что это одна из опаснейших государственных преступниц, в числе преступлений которой было и убийство 1 марта...»

«...Высокого роста, — пишет он о Желябове, — стройный, сильный, с удивительным лицом: высокий лоб, густые, слегка вьющиеся волосы,

довольно длинная борода, смуглый цвет лица, к которому отлично подходили темные, сильно блестящие глаза. Никто не мог поверить, что это крестьянин. Его костюм и маленькие руки также не подходили для крестьянина».

«Это был выдающийся, богом одаренный человек... — отзывается он о Кибальчиче. — Не пойдя этот молодой человек по преступному пути, из него вышел бы знаменитый специалист своего дела».

Люди тут же в кулуарах суда шепотом передают слова одного генерала, приятеля и сослуживца самого Тотлебена. Этот генерал произнес следующий приговор над Желябовым и Кибальчичем: «Что бы там ни было, что бы они ни совершили, но таких людей нельзя вешать. А Кибальчича я бы засадил крепко накрепко до конца его дней, но при этом предоставил бы ему полную возможность работать над своими техническими изобретениями».

Заседание возобновляется. В залу входят эксперты и свидетели. Их опрашивают, подводят к присяге.

Судебное следствие идет чинно и медленно. Один за другим берут слово председатель, адвокаты, прокурор. Желябов отражает удары. Заставляет свидетелей проговариваться. Ему нужно опорочить их показания, чтобы защитить Гельфман и Михайлова.

Каждый раз, когда Желябов говорит, прокурор пожимает плечами, иронически улыбается.

Кибальчич объясняет суду, что во избежание лишних жертв стремился к тому, чтобы радиус действия мины был по возможности ограничен. Эксперты подтверждают, что в случае взрыва воронка была бы небольшая и люди, находившиеся на тротуарах и в домах, не пострадали бы. Экспертов не мог не поразить Кибальчич, который в невозможных условиях сумел сделать то, что другим не удавалось даже в самых совершенных лабораториях. Они забывают, что он сидит на скамье подсудимых, и невольно говорят с ним не только как равные с равным, но даже с некоторым почтением.

Приговор над цареубийцами не вынесен, прокурор еще не произнес обвинительной речи, а новый царь уже выполнил приговор, который произнес над собой сам. Валуев называет внезапный, совершенный в тайне переезд императорской семьи в Гатчину «мерой о двух цветах».

«В самом деле, — писал парижский корреспондент газеты «Таймс», — странно видеть добычей страха тридцатисемилетнего человека здорового телосложения и геркулесовской силы. Его отъезд в Гатчину был настоящим

бегством. В день, когда он должен был выехать, четыре императорских поезда стояли в полной готовности на четырех различных вокзалах Петербурга со всем служебным и военным сопровождением, и пока они ждали, император уехал без всякой свиты с поездом, который стоял на запасном пути».

Маркс и Энгельс писали в 1882 году в предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии»:

«Во время революции 1848–1849 гг. не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».

«Следила ли ты за судебным, процессом против организаторов покушения в С.-Петербурге? — писал Маркс дочери 11 апреля 1881 года. — Все это действительно дельные люди, без мелодраматической позы, простые, деловые, героические. Фразерство и дело — непримиримые противоположности. Петербургский исполнительный комитет, который действует так энергично, выпускает манифесты, написанные в исключительно «сдержанном тоне».

«И я, и Маркс находим, — говорил позже Энгельс Герману Лопатину, — что письмо Комитета к Александру III положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров находятся люди с государственной складкой ума...»

Третий день суда

Прокурор встает и начинает обвинительную речь: — Господа сенаторы, господа сословные представители! Призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо совершавшихся на русской земле, я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием лежащей на мне задачи. Быть юристом, слугой безличного и бесстрастного закона в такую роковую историческую, минуту, когда и в тебе самом и вокруг все содрогается от ужаса и негодования, когда при одном воспоминании о событии первого марта неудержимые слезы подступают к глазам и дрожат в голосе, когда все, что есть в стране честного и верного своему долгу, громко вопиет об отмщении, трудно...

Торжественные слова несутся под своды залы, как слова богослужения.

— Для того чтобы произнести над подсудимыми суд справедливости и

закона, — продолжает прокурор, — нам предстоит спокойно исследовать и оценить во всей совокупности несмываемые пятна злодейски пролитой царственной крови, область безумной подпольной крамолы, фанатическое исповедание убийства, всеобщего разрушения, и в этой горестной, но священной работе, да поможет нам бог.

Веления промысла неисповедимы. Совершилось событие неслыханное и невиданное: на нашу долю выпала печальная участь быть современниками и свидетелями преступления, подобного которому не знает история человечества...

Напыщенное красноречие прокурора рассеивает внимание, мешает слушать. Но вот после многочисленных патетических отступлений он добирается, наконец, до сути дела:

— Я должен остановить внимание Особого присутствия на самом событии этого преступления и пригласить высокое судилище вместе со мною углубиться в его невыразимо тягостные подробности. Это не факт, это история. С глубокой сердечной болью я вызываю это страшное воспоминание о цареубийстве, но я не могу сделать иначе по двум причинам: во-первых, потому, что из кровавого тумана, застилающего печальную святыню Екатерининского канала, выступают перед нами мрачные облики цареубийц...

Желябов смеется. Соня улыбается. В самом деле, до чего глупо: «печальная святыня Екатерининского канала», «мрачные облики цареубийц...»

Муравьев останавливается на полуслове. Его лицо покрывается пятнами. Смех Желябова заставил его забыть заученную фразу.

— Но здесь, — пытается он ответить насмешкой на насмешку, — меня останавливает на минуту смех Желябова. Тот веселый или иронический смех, который не оставлял его во время судебного следствия... Я знаю, что так и быть должно: ведь когда люди плачут, желябовы смеются. Итак, я не могу не говорить о самом событии первого марта. Во-вторых, потому, что в настоящие торжественные минуты суда я хотел бы в последний раз широко развернуть перед подсудимыми картину события первого марта и сказать им: «Если у вас осталась еще хоть капля способности чувствовать и понимать то, что чувствуют и понимают другие люди, носящие образ божий, любуйтесь, вы этого хотели, это дело рук ваших».

Прокурор театральным жестом указывает на подсудимых.

— День первого марта! — восклицает он. — Кто из нас, кто из жителей Петербурга не помнит, как начался и как проходил этот воистину черный день, мельчайшие особенности которого неизгладимо врезались в

память каждого? Обычной чередой шла воскресная, праздничная суета огромного города...

Соня не слушает. Кто может яснее, чем она, представить себе этот день: торопливое прощанье на Вознесенском, встречу на Тележной, Невский проспект, заполненный беспечной, прогуливающейся публикой, безлюдную Михайловскую площадь, Екатерининский канал... Екатерининский канал до и после покушения.

Прокурор считает своим долгом сообщить не только то, что было, но и то, чего не было. Он с умилением, со слезами в глазах рассказывает о том, как «опечаленный повелитель русской земли наклонился над сыном народа», как, забыв о муках своих, «думал только об израненном верном слуге».

И говорит это, совсем не считаясь с тем, что Александр II, как это выяснилось тут же, на судебном следствии, из показаний свидетелей, потерял сознание сразу же после ранения.

Цель прокурора — возвысить личность императора, изобразить его не только мучеником, но и героем, погибшим на своем «трудном царском посту», унижить подсудимых, доказать, что нет ни революционеров, ни Исполнительного Комитета, а есть только шайка разбойников с атаманом во главе.

— Я знаю, — говорит он, — что существует не один Желябов, а несколько желябовых, но я думаю, что данные судебного следствия дают мне право отрицать соединение этих желябовых в нечто органическое... в нечто соединяющееся в учреждение.

Одно из подтверждений своей мысли Муравьев находит в том, что покушение было совершено под руководством женщины.

— ...Если, — продолжает он, — этот Исполнительный Комитет так правильно организован и руководил всем этим делом, то неужели, когда был арестован Желябов, организатор злодеяния, неужели у Исполнительного Комитета не нашлось более сильной руки, более сильного ума, более опытного революционера, чем Софья Перовская? Неужели слабым рукам женщины, хотя бы она была сожительницей Желябова, можно передавать такое дело, как преемство по исполнению злодеяния?

Соня все чаще и чаще слышит свое имя.

— Я не знаю, — говорит прокурор, — вещи или предмета, внушающего больше негодования, как воспоминание об обстановке этого преступления. Везде на проезде государя императора, куда бы ни вышел государь император, таясь во тьме, следуя за ним, стояли эти люди,

выжидающие, высматривающие, следящие за его привычками, за направлением, которое он примет при проезде для того, чтобы потом из этих опытов сделать кровавое употребление, а когда приходится себе представить, что это слежение и наблюдение было организовано женщиной, подсудимую Перовской, то становится еще ужаснее, еще более душа содрогается... И потом дальше:

— Я не могу перейти к прочим подсудимым, не указав на то, что в участии в преступлении Перовской есть черта, которую выбросить нет возможности... Мы можем представить себе политический заговор; можем представить, что этот заговор употребляет средства самые жестокие, самые возмутительные; мы можем представить себе, что женщина участвует в этом заговоре, но чтобы женщина становилась во главе заговора, чтобы она принимала на себя распоряжение всеми подробностями убийства, чтобы она с циническим хладнокровием расставляла метальщиков, чертила план и показывала, где им становиться; чтобы женщина, сделавшись душой заговора, бежала смотреть на его последствия, становилась в нескольких шагах от места злодеяния и любовалась делом рук своих, — такую роль женщины обыкновенное нравственное чувство отказывается понимать.

Все глаза устремлены на скамью подсудимых. Многие ясно видят веревку на нежной Сониной шее.

Прокурор подходит к последней части своей речи. Говоря о «системе царубийства, теории кровопролитья, учении резни», он навел на публику панику. Теперь ему нужно ее успокоить, доказать, что преступление совершено по подсказке эмигрантов, что в России нет почвы для подобных преступлений.

— Сомнения нет и быть не может, — говорит он, — язва не органическая, недуг наносный, пришлый, русскому уму несвойственный, русскому чувству противный... социализм вырос на Западе и составляет уже давно его историческую беду...

Сторонниками нового учения являются у нас люди, которым без социализма некуда было бы приклонить голову, нечем заниматься, нечего есть, не о чем думать. Огромное движение — умственное, общественное и экономическое движение, вызванное великими реформами великого царя-мученика, — подняло и передвинуло все элементы русской жизни. Но, процеживаясь и оседая, движение дало никуда не годные отброски, от старого отставшие, к новому не приставшие... Явились люди, могущие за неимением или нежеланием другого дела, только «делать» революцию... Все стало у этих людей свое, особенное, нерусское, даже как будто нечеловеческое, какое-то, да будет мне позволено так выразиться,

социально-революционное...

Речь течет плавно по заранее вырытому руслу. Но вот она, наконец, подходит к концу.

— Имею честь, — заявляет прокурор, — предложить вам произнести о них безусловно обвинительный приговор. Только такой приговор вытекает из представленных вам доказательств, только его карательные последствия соразмерны с злодеянием первого марта... Безнадёжно суровы и тяжки эти последствия, определяющие ту высшую кару, которая отнимает у преступника самое дорогое из человеческих благ — жизнь...

Прокурор продолжает говорить, но его уже не слушают.

Один за другим выступают адвокаты. Но что можно сказать на царском суде в защиту цареубийц? Каждую минуту председатель их прерывает:

— Это не подлежит нашему обсуждению.

— Вы отвлекаетесь.

— О наказании вы будете говорить после.

— Я должен вас остановить.

— Вы выходите из указанных вам рамок.

Наибольшее количество замечаний удостоивается защитник Кибальчича Герард. Его речь скорее похожа на обвинительную, чем на защитительную. Он восхищается своим подзащитным и возмущается порядком, который таких людей, как Кибальчич, превращает в преступников.

Защитник Перовской, присяжный поверенный Кедрин, тоже доказывает, что первым толчком, который побудил Перовскую идти «по скользкому пути», была административная ссылка. И на этом основании просит для своей подзащитной возможного снисхождения. Он говорит:

— Когда вы услышали в первый раз, что в этом преступлении участвует женщина, то у вас, вероятно, родилась мысль, что эта женщина является каким-то извергом, неслыханной злодейкой. Когда же вы встретились с ней на суде, то это впечатление, я думаю, оказалось диаметрально противоположным. По крайней мере подсудимая на меня произвела совершенно другое впечатление, чем то, которое у меня до встречи с ней составилось. Я увидел скромную девушку с такими манерами, которые не напоминали ничего зверского, ничего ужасного. Где же причина этому мнению? Может быть, она желает порисоваться, представить себя в лучшем свете, чем она есть на самом деле? Я этого не думаю. Я полагаю, что то признание, которое она перед вами сделала, не выгораживая себя нисколько, идя вперед, навстречу обвинению, которое

над ней тяготеет, прямо говорит за то, что в ней нет и тени лицемерия.

Кедрин в своей речи высказал громко то, что многие думали про себя. Образ подсудимой не мог не поразить публику.

Встает и Желябов. Он сам произносит свою защитительную речь. Даже враги смотрят на него с затаенным восхищением: так он красив. Его голос звучит уверенно и смело, как будто не ему угрожает смертная казнь. Его простые слова сильнее напыщенного красноречия прокурора.

— Господа судьи! Дело каждого убежденного деятеля, — говорит Желябов, — дороже ему жизни. Дело наше здесь было представлено в более извращенном виде, чем наши личные свойства. На нас, подсудимых, лежит обязанность по возможности представить цель и средства партии в настоящем их виде.

Первоприсутствующий перебивает речь Желябова, и не раз, не два, а бесконечное число раз. «Представить: цель и средства партии в настоящем их виде», — ведь это именно то, чего он ни в коем случае не должен допустить.

И все-таки, несмотря на бесчисленные перерывы, Желябову удается сказать многое.

Опровергая прокурора, он заявляет:

— Мы государственники, не анархисты. Анархисты — это старое обвинение. Мы признаем, что правительство всегда будет, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы.

Отмежевываясь от чистого терроризма, он возражает против того, что прокурор делает подсудимых «ответственными за взгляды Морозова, служащие отголоском прежнего направления».

— Николай Морозов, — говорит он, — написал брошюру. Я ее не читал, сущность ее я знаю; к ней, как партия, мы относимся отрицательно и просили эмигрантов не пускаться в суждения о задаче русской социально-революционной партии, пока они за границей, пока они беспочвенники... Для нас в настоящее время отдельные террористические факты занимают только одно из тех мест в ряду других задач, намечаемых ходом русской жизни. Я тоже имею право сказать о себе, что я русский человек, как сказал о себе прокурор.

В зале оживление.

Желябов выпрямляется, несколько мгновений ждет, пока настанет тишина. Потом, высоко подняв голову, продолжает:

— Я говорил о целях партии, теперь я скажу о средствах... Если вы, господа судьи, взглянете в отчеты о политических процессах, в эту

открытую книгу бытия, то вы увидите, что русские народолюбцы не всегда действовали метательными снарядами, что в нашей деятельности была юность, розовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виной.

Простые, искренние слова. Но разве эти люди поймут? Они не хотят понимать. Для них Желябов — враг, которого надо убить как можно скорее, без лишних слов. Он смел и благороден, у него прекрасное, прямодушное лицо, тем хуже для него.

Соня смотрит на него с гордостью. Она знает: их поведение здесь, на суде, — то, что Александр Михайлов в письме к осужденным по делу шестнадцати назвал «последним актом общественной жизни», — даст, может быть, больше, чем дала вся предыдущая жизнь.

«Приятно даже под страхом десяти смертей говорить свободно, исповедовать свои убеждения, свою лучшую веру. Приятно спокойно взглянуть в глаза людям, в руках которых твоя участь. Тут есть великое нравственное удовлетворение».

Это слова не Перовской, не Желябова, не Кибальчича, а все того же Александра Михайлова — товарища, друга и сподвижника сегодняшних подсудимых.

И, зная этих людей, можно с уверенностью, сказать, что они не отказались бы под этими словами подписаться.

Суд подходит к концу. Подсудимым предоставлено последнее слово. Несколько фраз, и в них надо вложить все. Больше говорить не дадут.

— Прокурор, несмотря на мое заявление, сделал меня членом террористической фракции... Я не сочувствую террору. Я отрицаю террор... — бормочет Рысаков, заикаясь, путаясь в словах.

Перовская обводит взглядом залу. Не к судьям, не к публике обращает она свое последнее слово, а к людям, которые там, за стенами суда.

— Много, очень много обвинений сыпалось на нас со стороны господина прокурора, — говорит она. — Относительно фактической стороны обвинений я не буду ничего говорить — я все их подтвердила на дознании, но относительно обвинения меня и других в безнравственности, жестокости и пренебрежении к общественному мнению, относительно всех этих обвинений я позволю себе возразить и сошлюсь на то, что тот, кто знает нашу жизнь и условия, при которых нам приходится действовать, не бросит в нас ни обвинения в безнравственности, ни обвинения в жестокости.

— Я имею сказать только одно, — заявляет Желябов, — на дознании я был очень краток, зная, что показания, данные на дознании, служат лишь

целям прокуратуры, а теперь я сожалею о том, что говорил здесь, на суде. Больше ничего.

Три часа ночи. Суд удалился в совещательную комнату. У подсудимых измученные, желтые лица. Желябов незаметно пожимает холодную Сонину руку, словно стремясь передать ей хоть немного своей силы. У Кибальчича лицо утомленное, но спокойное. Геся Гельфман беспомощно прислонилась к барьеру. Ей труднее, чем другим, дается эта пытка. Если ее казнят, убьют не одного человека, а двух: она ждет ребенка. Михайлов сидит, мрачно опустив голову, отодвинувшись подальше от Рысакова, своего убийцы.

Рысакову не сидится спокойно. Его большие руки все время в движении. Он закрывает ими лицо, потом вдруг подносит руку ко рту и впивается в нее зубами. В следующее мгновение его руки уже у горла, судорожно поправляют воротник, точно это не воротник, а веревочная петля.

Ему обещали помилование. Так почему же прокурор требует и для него смертной казни? Может быть, это только для виду. Может быть, его осудят, а потом тайком помилуют. А если все-таки...

Судьи входят. Председатель, поправив пенсне и откашлявшись, читает старческим, слегка охрипшим голосом:

— Виновен ли крестьянин Андрей Иванов Желябов в том, что принадлежал к тайному сообществу, имевшему целью...

Длинная казенная фраза и в конце ответ: «Да, виновен».

— Виновна ли в том же преступлении дворянка Софья Львовна Перовская?.. Да, виновна.

Бесконечный ряд вопросов и после каждого ответ: «Да, виновен».

Все виновны, но пытка еще не кончена. Суд опять уходит, чтобы определить, какому наказанию подвергнуть подсудимых.

Ночь за окнами начинает бледнеть, где-то прогремела телега. Все измучены — ~ и подсудимые, и жандармы, и публика. Газовые рожки горят тусклым, красноватым светом. Душно, трудно дышать. А там, за высокой белой дверью, старики, в которых едва держится жизнь, выносят смертный приговор людям, из которых старшему тридцать лет.

Судьи опять возвращаются в залу. Все встают. Председатель читает приговор.

То, что сказано было в обвинительном акте и много раз говорилось во время судебного следствия, опять повторяется в приговоре.

Не только подсудимые, публика и та не в состоянии прослушать еще раз со всеми подробностями описание покушения на царя, совершенного 1 марта на Екатерининском канале.

Все с напряженным вниманием ждут одного — судебного решения.

Но вот чтение приговора подходит к концу.

— «По указу его императорского величества, — читает председатель, — Правительствующий сенат в Особом присутствии для суждения дел о государственных преступлениях, выслушав дело и прения сторон, постановил...»

Рысаков еле держится на ногах. Вот сейчас самое страшное или самое радостное: жизнь хотя бы в тюрьме, хотя бы на каторге. Председатель продолжает бесстрастным голосом:

— «Подсудимых — крестьянина Таврической губернии, Феодосийского уезда, Петровской волости, деревни Николаевки, Андрея Иванова Желябова, 30 лет; дворянку Софью Львовну Перовскую, 27 лет; сына священника Николая Иванова Кибальчича, 27 лет; тихвинского мещанина Николая Иванова Рысакова, 19 лет; Мозырскую, Минской губернии, мещанку Гесю Меерову Гельфман, 26 лет, и крестьянина Смоленской губернии, Сычевского уезда, Ивановской волости, деревни Гаврилково, Тимофея Михайлова, 21 года, на основании статей уложения о наказаниях 9, 13, 18, 139, 152, 241, 242, 243, 279 и 1459 лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение. Приговор сей относительно дворянки Софьи Перовской прежде обращения к исполнению... представить через министра юстиции, на усмотрение его императорского величества».

Приговора ждали с нетерпением не только в суде. Вечером 28 марта, уже после того, как прокурор потребовал для всех подсудимых смертной казни, философ Соловьев читал в зале кредитного общества лекцию на тему «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».

Прежде чем дать разрешение на эту лекцию, градоначальник Баранов взял с него слово, что он не упомянет ни о самом преступлении, ни о судьбах процесса.

И правда, сначала речь в лекции идет о чем-то как будто совсем далеком: о тайнах христианства, тайнах неведомого «того берега» бытия. Но публика ждет. Она знает: Соловьев не может не коснуться того, что волнует всех. И ждет не напрасно.

«Мало-помалу, — рассказывает современник и свидетель этого события, — перспектива суживается, оратор заметно близится к нашему берегу... «Теперь там, — говорит он, — за белыми стенами, идет совет о том, как убить безоружных. Ведь безоружны же подсудимые узники. Но если это действительно, совершится, если русский царь, вождь

христианского народа, заповеди поправ, предаст их казни, если он вступит в кровавый круг, то русский народ, народ христианский, не может идти за ним. Русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути...»

Публика устраивает оратору овацию. Вскоре к градоначальнику поступает сразу несколько доносов.

Соловьев отделяется сравнительно небольшим наказанием. Такие люди, как он, не страшны царскому правительству.

Лев Толстой еще раньше, задолго до суда, написал Александру III письмо. Он не мог найти себе покоя с той самой минуты, как узнал об убийстве Александра II. Его волновала участь цареубийц.

«Я буду, — предупредил он императора, — писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям с цветами подбострастного и фальшивого красноречия, которые только затемняют и чувства и мысли. Я буду писать просто, как человек человеку».

Толстой обращался прежде всего к нравственному чувству императора (чайковцы первого времени по своим взглядам были ему много ближе, чем народовольцы), обращался к его здравому смыслу, к его разуму. Он доказывал ему логическим путем, заранее опровергая все могущие возникнуть возражения, отменяя все ссылки на высшие соображения и государственную необходимость. Истина всегда истина — против зла есть одно только средство, и это средство — прощение.

«Государь! — писал Толстой. — Если бы вы сделали это, позвали этих людей, дали бы им денег и услали их куда-нибудь в Америку и написали бы манифест со словами вверху: «А я вам говорю, любите врагов своих», — не знаю, как другие, но я, плохой верноподданный, был бы собакой, рабом вашим... Убивая их, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеалы есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который был бы выше их идеала, включал бы в себе их идеал».

Это письмо с просьбой передать его императору Толстой, по-видимому, не представляя себе, с кем имеет дело, доставил Победоносцеву.

Узнав 30 марта, что письмо, которое он отказался передать, пошло по назначению другим путем, Победоносцев поторопился парализовать его действие.

«Сегодня пущена в ход мысль, — написал он Александру III, — которая приводит меня в ужас... Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от

смертной казни... Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли убедить Вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется...»

На этом верноподданническом послании Победоносцева Александр III написал: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь».

После того как 30 марта в 4 часа пополудни подсудимым сообщили приговор в окончательной форме, Гесья Гельфман попросила дать ей свидание с мужем — Колодкевичем, а когда ей в ее просьбе отказали, подала 30 марта в 10 часов вечера через своего защитника Герке следующее заявление прокурору:

«Приговоренной к смертной казни
Геси Мееровны Гельфман
Заявление.

Ввиду приговора Особого присутствия сената обо мне состоявшегося считаю нравственным долгом заявить, что я беременна на четвертом месяце».

На другой день, 31 марта, Гельфман была освидетельствована врачами в присутствии лиц прокурорского надзора и петербургского градоначальника.

Того же 31 марта Кибальчич, которому сказали, что его проект передадут на рассмотрение ученых, обратился к Лорис-Меликову с просьбой дозволить ему не позже завтрашнего утра свидание с кем-нибудь из членов Комитета или хотя бы получить письменный ответ экспертизы и позволить ему предсмертное свидание с товарищами по процессу или по крайней мере с Желябовым и Перовской.

Предсмертные просьбы Кибальчича были оставлены без внимания.

На прошении Рысакова о помиловании царь написал: «Поступить сообразно заключению Особого присутствия».

Значит — смерть. Но Рысаков не хочет умирать. Совесть, честь, жалость к людям — Рысаков перестал понимать, что это значит. Только одно слово, как раскаленное железо, жжет его мозг, только одно слово он в состоянии понимать, и это слово — смерть. Продать все, продать всех,

лишь бы не умереть. Пусть другие качаются на виселице, пусть других душит веревка, он, Рысаков, не выносит даже мысли об этом.

Рысакова не оставляют в покое. Его допрашивают и во время и после суда и даже накануне казни.

«Из нас, шести преступников, — пишет он в последнем протоколе от 2 апреля, — только я согласен словом и делом бороться против террора — тюрьма сильно отучает от наивности... До сегодняшнего дня я выдавал товарищей, имея в виду истинное благо родины, а сегодня я — товар, а вы — купцы...»

И Рысаков называет новые имена: Григория Исаева, техника «Народной воли», Веру Фигнер.

«Я предлагаю так: дать мне год или полтора свободы, чтобы действовать не оговором, а выдачей из рук в руки террористов... Для вас же полезнее не держать меня в тюрьме... Заранее уславливаюсь, что содержание лучше получать каждый день...»

После того как закончился процесс первомартовцев, Дом предварительного заключения словно замер. Большинство обитателей этого дома знало о приговоре и надеялось, что его отменят хотя бы для женщин. Близкие друзья Перовской пытались хоть что-нибудь узнать о ней. Кто-то из тюремщиков сказал им, что она держится бодро, но очень бледна и слаба физически. Одна, по выражению Софьи Ивановой, «добрая фея» принесла ей на словах прощальный привет от Сони. Иванова, которая на воле столько раз передавала Соне письма от Варвары Степановны, жаждала оказать ей сейчас хоть какую-нибудь услугу, но это было невозможно. К смертникам впускали только самых проверенных надзирателей. И днем и ночью у них в камерах дежурили по двое — жандармский офицер и жандарм-солдат, которым полагалось следить за тем, чтобы осужденные не лишили себя жизни и «дожили до веревки».

Дежуривший 3 апреля жандарм говорил Тыркову, что, выйдя во двор, где уже ждали колесницы, Перовская побледнела и зашаталась, но Тимофей Михайлов словами: «Что ты, что ты, Соня, опомнись!» — вернул ей бодрость, и она твердой походкой вошла на колесницу.

Вере Фигнер, попавшей потом в тот же Дом предварительного заключения, рассказали, что Перовской, привязывая ее ремнем к колеснице, сильно скрутили руки и, когда она попросила: «Отпустите немного, мне больно», — жандармский офицер проворчал: «После будет еще больше».

Вот это да еще переданный через кого-то завет беречь Верочку и Наума — Фигнер и Суханова — все, что удалось друзьям Софьи Львовны

узнать о ней.

Между объявлением приговора и приведением его в исполнение прошло пять суток. Многие объясняли себе это промедление тем, что преступников пытали именно в эти дни — не до, а после суда, когда никто уже не мог услышать их голоса. Генеральша Богданович записала у себя в дневнике:

«Под ужасной тайной я узнала, что после суда Желябова будут пытаться заставить говорить, чтобы от него выведать, кто составляет эту организацию... Говорят, их повесят в пятницу. Дай бог, чтобы попытали. Я не злая, но это необходимо для общей безопасности, для общественного спокойствия».

То, что вопреки веками освященному обычаю приговоренным к смерти не дали проститься с родными, служило косвенным подтверждением слухов.

Варваре Степановне сказали: «С момента вынесения приговора дочь ваша считается мертвой, и потому никаких свиданий не полагается».

Пытали приговоренных или нет, так и осталось невыясненным.

И здание у Цепного, и Петропавловская крепость, и Дом предварительного заключения привыкли хранить свои тайны.

Но что могли бы дать пытки? Ясно было, что у Перовской, Желябова, Кибальчича, Михайлова никакая мука не вырвет лишнего слова, а Рысаков и так, и без пыток, готов вывернуть душу наизнанку.

Из официального отчета известно только, что Перовская накануне казни отказалась принять священника, что легла на исходе одиннадцатого часа, что утром ее, как и других смертников, подняли в шесть часов утра, переодели в казенную одежду, напоили чаем (из соображений гуманности натошак вешать не полагалось) и вывели во двор, где уже ждали колесницы.

3 апреля в семь часов утра на перекрестках петербургских улиц было расклеено правительственное сообщение:

«Сегодня, 3 апреля, в 9 часов будут подвергнуты смертной казни через повешение государственные преступники: дворянка Софья Перовская, сын священника Николай Кибальчич, мещанин Николай Рысаков, крестьяне Андрей Желябов и Тимофей Михайлов. Что касается преступницы мещанки Гельфман, то казнь ее, ввиду ее беременности, по закону отлагается до ее выздоровления».

Толпа собралась у Дома предварительного заключения с самого раннего утра. Тут были военные — пехота и кавалерия, полицейские всех рангов, штатские судейского звания.

Сопровождавший осужденных на место казни офицер лейб-гвардии казачьего полка Плансон спустя тридцать лет не мог без содрогания вспоминать о «жизни», которая шла на Шпалерной в то время, как в Доме предварительного заключения уже выполнялись последние формальности. Он с ужасом рассказывает о буфете, открытом каким-то предприимчивым торгашом в подъезде соседнего дома, об офицерах, бегавших туда потихоньку от начальства «согреться», «пропустить рюмочку-другую водки и проглотить парочку бутербродов», о том, как раздалась, наконец, команда, как «подтянулась пехота, села на коней кавалерия» и из ворот Шпалерной, «как из разверстой пасти чудовища», выехали окрашенные в черный цвет платформы.

В Петербурге говорили потом, что как раз в этот момент к Дому предварительного заключения подошла Варвара Степановна Перовская, которой, словно в насмешку, именно в этот день и час назначили, наконец, свидание с дочерью.

Этот рассказ — тут же, в те же страшные дни создавшаяся легенда. Варвары Степановны в день казни в Петербурге не было. По свидетельству Василия Львовича Перовского, она после произнесения приговора была в таком тяжелом состоянии, что брат его Николай Львович счел за лучшее увезти ее в Приморское.

Колесницы выезжают на Шпалерную, поворачивают на Литейный. Вот он, Петербург, город Сониного детства, юности, зрелых лет. Город, в котором ей суждено умереть в этот весенний солнечный день.

С колесниц, на две сажени приподнятых над мостовой, Петербург не такой, каким его видят люди, идущие по тротуару. Приговоренные сидят спиной к лошадям и невольно смотрят не вперед, на дорогу, а назад, в прошлое.

Перед Соней издавна знакомое здание окружного суда. Нева. За Невой, на другом берегу — заводские трубы, убогие домики рабочих. Там, на Выборгской стороне, в крошечной комнате Гриневицкого было последнее перед арестом Желябова собрание, и там же когда-то давным-давно собирались чайковцы. — Чарушин, Кропоткин, Синегуб, создавались первые рабочие кружки.

А еще дальше и еще раньше — безмятежное лето в Лесном, Кушелевская коммуна — Саша Корнилова, Куприянов, Марк Натансон.

И нет уже ни Невы, ни Литейного. Колесницы, громыхая, поворачивают на Кирочную. Здесь, на квартире Рогачева, Соня говорила с Сухановым об освобождении Желябова и Рысакова, верила тогда, что

освобождение возможно.

А сейчас, возможно ли оно сейчас? Всюду люди, люди, толпы людей. Но не прорываются, не пытаются прорваться сквозь эти толпы отряды освободителей. Не взбираются на колесницы вооруженные рабочие, не разрезают на осужденных впившиеся, вцепившиеся в них ремни.

На углу Спасской — Надеждинской какая-то немолодая женщина взмахивает вслед колесницам белым платком. Жандармы в форме и жандармы в штатском сбрасывают ее с тумбы и куда-то тащат.

Мимо, все мимо. Позади Саперный переулок — Петербургская Вольная типография. Колесницы подняты над землей так высоко, что медичка Дмитриева, которая стоит на другом конце Надеждинской, издали видит отдельные бесформенные фигуры, но, как ни напрягает зрение, не может различить где кто. Во время последнего переодевания были приняты все меры к тому, чтобы смертники потеряли не только индивидуальность, но и самый облик человеческий.

Колесницы совсем близко. Вот они уже проходят мимо. И Дмитриева узнает такие дорогие, такие незабываемые лица. Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов. Видят ли они ее, узнают ли?

«Это было одно мгновение, но такое, которое навсегда запечатлевается. в мозгу, точно выжженное каленым железом, — вспоминает она через много лет. — Они прошли мимо нас не как побежденные, а как триумфаторы — такой внутренней мощью, такой непоколебимой верой в правоту своего дела веяло от их спокойных лиц... И я ушла с ярким и определенным сознанием, что их смерть — только великий этап на путях великой русской революции и что и грохот солдатских барабанов, ни тяжелая пята реакции не заглушат и не остановят грядущей грозы и бури!»

Колесницы переезжают Невский. Слева Малая Садовая, Екатерининский канал, справа дом Фредерикса, встречи освобожденных по Большому процессу. Приветствия, споры, неосторожные возгласы. А через несколько лет в том же доме, в квартире Александра Михайлова, законспирированные заседания Распорядительной комиссии.

И совсем недалеко за вокзалом Тележная улица, утро 1 марта, Геся Гельфман, Саблин, еще живой.

Но вот уже другая сторона Невского проспекта — Аничков дворец, околоточный, последние мгновения свободы, и так близко в пространстве и так далеко во времени Екатерининский сад, ледяная горка. Мать. Детство. Брат...

Долго ли пересечь самую широкую улицу, а какое нагромождение

воспоминаний! Давно ли это было или недавно, почти только что или много лет назад, какое это сейчас может иметь значение?

Колесницы едут по Николаевской. Вот дом, где в скромной квартирке Суханова был организован центральный военный кружок, дом, в который она так часто приходила вместе с Андреем Ивановичем и куда пришла одна совсем без сил вечером 1 марта.

Все это было, было, было... Этого не отнимешь при обыске, не конфискуешь. Это ее прошлое. Но вспоминает ли она сейчас о нем, до воспоминаний ли ей? Может быть, глядя на это море, на этот океан людей, она думает не о прошлом, а о будущем, не о своем — своего у нее нет, о будущем народа, страны. А может быть, ее мысли с самым близким для нее человеком, который и в этот последний, в этот смертный час не с ней, а рядом с тем, кто их всех предал.

Длинная Николаевская улица долго, долго перед глазами, но и она не бесконечна. И опять, уже перед самым въездом на Семеновский плац, на этот раз совсем молоденькая женщина в платке, стоя на тумбе и одной рукой держась за столб от подъезда, другой посылает приговоренным последнее приветствие.

Войска, войска, войска! Громче барабанная дробь. Конец пути.

Конец. Не пройдут колесницы по Загородному мимо Технологического института, не дойдут до дома № 18 по Первой роте, где так напряженно, так трудно и в то же время так бесконечно хорошо жилось Николаю Ивановичу Слатвинскому и Лидии Антоновне Войновой.

Колесницы еще далеко, а Семеновский плац уже полон народу. Разные причины — долг службы, чувство злорадства, жажда зрелищ, нездоровое любопытство — привели сюда самых разных людей.

— Я был на Семеновском плацу и видел казнь первомартовцев от начала и до конца... Мне казалось, что, если на площади будут сочувствующие им люди, им легче будет умереть, — сказал потом Анне Павловне Корба революционер Желваков.

Таких, как Желваков и Дмитриева, в толпе немало.

8 часов 30 минут. Из карет, управляемых церковнослужителями, выходят пять православных священников в полном облачении. Ненамного раньше их в закрытом тюремном фургоне, с городовым на козлах приезжает знаменитый палач Фролов. Усиленный конвой из казаков охраняет его «драгоценную» жизнь. «С вызывающей улыбкой он прошел мимо войск к помосту. За ним следом шел его помощник с мешком в руках. В нем были веревки», — писал полковник лейб-гвардии Преображенского

полка граф фон Пфейль, которому в это утро пришлось участвовать в охране эшафота, и тут же с ужасом описывает лицо палача: «отвратительное лицо с воспаленными, глубоко посаженными глазками».

8 часов 40 минут. На платформе в нескольких шагах от эшафота собираются представители власти, высшего военного и судейского мира, чины посольских миссий, русские и иностранные журналисты. У огромной, поднятой над площадью на три сажени виселицы идут последние приготовления к казни.

8 часов 50 минут. Колесницы вместе с собственным бесчисленным конвоем проходят между двумя рядами казаков, въезжают в квадрат, образованный вокруг эшафота кавалерией, цепями казаков, конных жандармов, пехоты лейб-гвардии Измайловского полка.

В толпе, которая стоит сплошной стеной за шпалерами войск, слышится гул, чувствуется нарастающее движение. Людей так много, что широкая, ничем не застроенная площадь кажется тесной. Люди всюду — на крышах Семеновских казарм, интендантских сараев, вагонов Царскосельской железной дороги, станционных зданий. Двенадцатитысячное войско с трудом сдерживает натиск толпы.

Как только колесницы останавливаются, движение в толпе замирает, гул обрывается. Что бы ни привело в это утро людей на Семеновский плац — сейчас они все, как один, с острым, неослабевающим, болезненно-напряженным вниманием следят за трагедией, последний акт которой проходит перед ними на эшафоте. Вот палач отвязывает приговоренных, одного за другим возводит их на эшафот, надевает на них наручники с цепями, прикрепляет цепи к позорным столбам.

Их выстраивают в ряд на возвышении, выставляют напоказ перед несметной толпой, и они (четверо из пяти) изо всех сил стараются сдержать волнение. Они знают: достойно встретить смерть — это то единственное, что им, смертным, еще дано сделать для бессмертного дела революции.

Эти минуты были когда-то и прошли, но прошли не бесследно. Сохранился официальный отчет о казни, сохранились наброски, сделанные художниками, воспоминания очевидцев, корреспонденции.

«Я присутствовал на дюжине казней на Востоке, но никогда не видел подобной живодерни», — пишет немецкий журналист.

В отчете подробно описаны колесницы, черные дощечки на груди у осужденных с белой надписью «Цареубийца». Черные арестантские халаты и черные фуражки без козырьков на мужчинах, такой же халат, тиковое платье в полоску и похожая на капор повязка у Софьи Перовской — первой

в России женщины, приговоренной к смертной казни по политическому делу, добившейся хотя бы в этом вопросе равноправия.

Отчет приводит точные размеры выкрашенного в черный цвет эшафота, объясняет устройство виселицы, говорит о железных кольцах для веревки, о «роковых длинных саванах висельников», о приготовленных у эшафота пяти тоже черных, наскоро сколоченных гробах.

Запоздалые признания, слезы раскаяния, униженные мольбы о помиловании — вот о чем предпочли бы сообщить своим читателям представители казенной прессы. Вместо этого им приходится признать, что «осужденные преступники казались довольно спокойными, особенно Перовская, Кибальчич и Желябов», что «бодрость не покидала Желябова, Перовскую и особенно Кибальчича».

Они не могут поступить иначе, слишком много здесь, на Семеновском плацу, даже среди привилегированных зрителей, свидетелей нравственной силы приговоренных. С платформы, на которой находятся иностранные журналисты, минуя рогатки цензуры, летят во все стороны корреспонденции.

«Казнь пяти государственных преступников, всякий, кто ее видел, назовет самым отвратительным зрелищем, какое ему приходилось наблюдать... Среди офицеров и чиновников, стоявших на возвышенной платформе, выражения гнева и отвращения к тому, как происходила казнь, были сильны и всеобщы... Операция была в высшей степени мучительна для всех участников и зрителей», — сообщает на своих страницах «Таймс», и в той же «Таймс», в газете лондонского Сити, которую трудно заподозрить в симпатии к революционерам, говорится о замечательном спокойствии и твердости, проявленных всеми казненными, кроме Рысакова, о том, что «Перовская была спокойнее всех и даже, что стоит отметить, сохранила легкий румянец на щеках».

«На спокойном желтовато-бледном лице Перовской, — сообщает официальный отчет, — блуждал легкий румянец, когда она подъехала к эшафоту, глаза ее блуждали лихорадочно, скользя по толпе и тогда, когда она, не шевеля ни одним мускулом, пристально глядя на толпу, стояла у позорного столба».

Чего она ждала? Искала ли глазами Суханова, Штромберга, тех рабочих, которые готовы были взяться за освобождение Желябова, или просто хотела увидеть перед смертью хотя бы одно знакомое, дружеское лицо?

Но и это невозможно. Между ней и толпой народа живой, подвижной

и все-таки непроницаемой стеной — жандармы, казаки, кавалерия, пехота.

Смертная казнь стала привычным делом во времена царя-«освободителя». Ритуал был тщательно разработан и соблюдался с точностью.

Все произошло, как всегда, как полагается в подобных случаях. Были и обнаженные головы во время чтения приговора, и священники в траурных ризах с крестами в руках (повесить людей без напутствия церкви считалось не по-христиански), и палач в традиционной красной рубахе, именуемый в официальных документах «заплечных дел мастером», и почти бесперывная барабанная дробь.

Вот раздалась команда «на караул», и градоначальник известил прокурора, что все готово к совершению «последнего акта земного правосудия». И вот уже прокурор передал осужденных палачу, я палач, перед тем как начать свою «работу», отступил на несколько мгновений в сторону, пропуская на эшафот священников.

Что это? Может ли это быть? Желябов что-то сказал священнику, сверкнул зубами, покачал красивой головой. Откуда взял силу улыбаться такой открытой, такой широкой улыбкой человек, который знал, что веревка вот-вот перетянет ему горло?

«Я до сих пор вижу перед собой могучую умную голову Желябова», — больше чем через четверть века писал граф фон Пфейль.

Сотни тысяч глаз следят за каждым движением Желябова и Перовской, «не пропустили ни одного мимолетного выражения лиц других приговоренных.

Желябов обернулся к Перовской. Им никогда не хватало времени для себя. У них минуты всегда были на счету, а теперь и минут не осталось. Всем видно, что они говорят между собой, но о чем говорят — не слышно. Барабанщики старательно выполняют возложенную на них обязанность.

Давно ли прозвучало последнее слово. Дошло и до последнего объятия. Кибальчич, Михайлов, Желябов на глазах у несметной толпы простились с Перовской поцелуем. Вслед за Желябовым по направлению к ней сделал шаг Рысаков. Она резко отвернулась.

Кибальчич, который еще во время пути на место казни поразил Плансона тем, что на его «лице нельзя было прочесть ни страха, ни гордости, ни презрения, ни следа другого чувства, которое могло волновать его в подобную минуту», и на эшафоте остался верен себе. Кажется, что то, что происходит с ним, не имеет к нему отношения. Про Тимофея Михайлова говорили, что 1 марта он ушел с поля боя, потому что у него не хватило духа бросить снаряд. Но его поведение здесь и на скамье

подсудимых свидетельствует о необыкновенной силе духа.

Вот Рысаков не умел жить, не умеет и умереть по-человечески. Он давно упал бы на помост, если бы его не поддерживали сзади помощники палача. Этот человек по-настоящему жалок и вызывает в окружающей его толпе только презрение. Но Рысаков не в счет. Те четверо, которых он привел на виселицу, спокойны, бодры, полны чувства собственного достоинства.

И силу держаться до последней минуты им дало сознание: то, что для них конец, для дела, которое дороже жизни, только начало, только пролог.

Основные даты жизни и деятельности Софьи Перовской

1853 г., 1 сентября — У Варвары Степановны и Льва Николаевича Перовских родилась дочь Софья.

1865 г. — Двенадцатилетняя Софья Перовская проводит вместе с матерью несколько месяцев в Женеве. г., весна — Варвара Степановна с дочерьми уезжает в крымское имение Кильбурун. Сестры занимаются там самообразованием.

1867–1869 г.г. — Софья Перовская возвращается в Петербург, поступает на Аларчинские курсы.

1870 г., ноябрь — Софья Перовская семнадцати лет от роду начинает самостоятельную жизнь.

1871 г., август — Софья Перовская вступает в кружок, который позднее получает название кружка чайковцев.

1872 г., весна — Перовская уезжает в Ставропольский уезд Самарской губернии. В Ставрополе преподает литературу на частных курсах народных учительниц и занимается оспопрививанием, с осени работает помощницей народной учительницы в селе Едимнове Тверской губернии., летом — Перовская, получив в Твери диплом народной учительницы, возвращается в Петербург и принимает участие в работе кружка.

1874 г., 5 января — Перовскую арестовывают. Третье отделение отпускает в июне Перовскую на поруки, и она уезжает в Крым к матери.

1874–1877 гг. — Перовская работает в Симбирской губернии в качестве докторской ученицы. Потом в Симферополе поступает на фельдшерские курсы и одновременно служит в земской больнице.

1877 г., апрель — Перовская кончает курсы. Назначается заведующей двумя бараками для раненых;

июнь — По вызову из суда Перовская уезжает в Петербург. Участвует в организации помощи заключенным;

октябрь 1877 г. — январь 1878 г. — Идет судебное следствие по делу 193-х пропагандистов. Перовская участвует в протесте подсудимых. После заседания 26 октября на суд не является.

1878 г., 23 января — Суд выносит Перовской оправдательный приговор;

весна — Перовская готовится к освобождению Мышкина;

лето — Перовская принимает деятельное участие в попытке вооруженного освобождения каторжан. Из-за пересмотра приговора по делу 193-х подвергается аресту и отправке в административную ссылку. По дороге убегает, возвращается в Петербург, вступает в тайное общество «Земля и воля»; уезжает в Харьков для организации массового освобождения заключенных из харьковских центральных тюрем.

1875–1879 гг., зима — Перовская учится под чужим именем на акушерских курсах, создает кружки революционной молодежи.

1879 г., июнь — Перовская едет в Воронеж, где принимает участие в съезде «земледельцев»

октябрь — Перовская становится агентом Исполнительного Комитета «Народной воли» и участвует в подготовке взрыва императорского поезда под Москвой;

19 ноября — По знаку Перовской производится взрыв.

1880 г., январь — Перовская становится членом Исполнительного Комитета и Распорядительной комиссии «Народной воли»;

март — Перовская едет в Одессу. Участвует в подготовке нового покушения на царя. Затем по возвращении в Петербург занимается организационными делами партии, пропагандой среди военных и рабочих;

ноябрь — Перовская ведет наблюдение за выездами царя. Организует для этого специальный наблюдательный отряд. Принимает участие в создании «Рабочей газеты». После ареста Желябова берет на себя организацию покушения.

1881 г., 1 марта — Под руководством Перовской совершается убийство царя. Между 1 и 10 марта Перовская пытается организовать освобождение Желябова и подготовить покушение на Александра III;

10 марта — Перовскую арестовывают;

26 марта — Начинается суд над участниками покушения на царя;

3 апреля — на Семеновской площади в Петербурге Софью Перовскую вместе с другими участниками покушения на царя предают смертной казни.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Семья Перовских



Софья Перовская в детстве.



С. Перовская с подругами.



В. С. Перовская — мать Софьи Перовской.



С. Перовская.



С. Перовская и В. Поджио.



П. Лавров



П. Кропоткин



Г. В. Плеханов



А. Желябов.



А. Михайлов



М. Оловеникова.



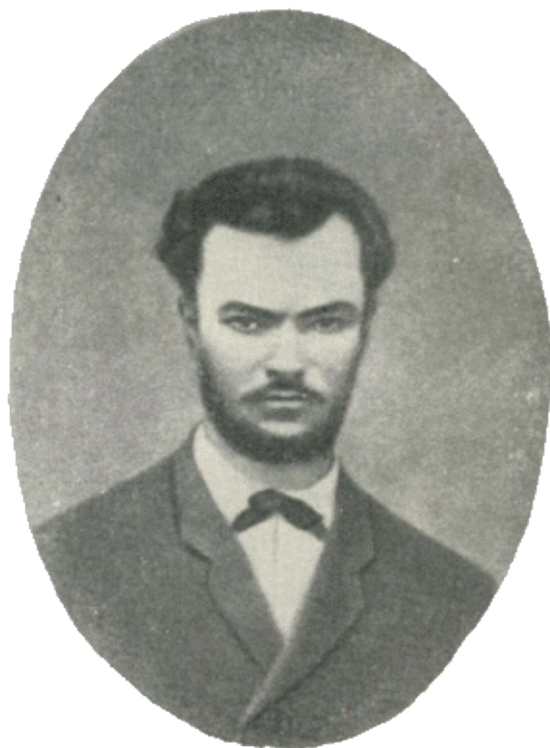
А. Баранников



Вера Засулич.



А. Кувшинская-Чарушина.



С. Кравчинский.



A. Корба



И. Чарушин.



«Арест пропагандиста». С картины И. Е. Репина.



Вера Фигнер.



Николай Кибальчич



Софья Перовская и Андрей Желябов. Рисунок Пясеикого, сделанный во время суда над народовольцами.



Подпольные издания «Народной воли».



Софья Львовна Перовская (фото 1881 г.).

Дурная моя, если я пишу
 маму, так все доброты и
 милости как будто от себя
 беру. А ты, умилая моя,
 уполномоченная, пишешь себе и не
 забываешь, подбираешь себя ради всего
 отдуваясь, так и ждешь
 меня так же, о своей участи
 несколько не горюю, совершено
 спокойно встретил ее, так
 как давно знала и ожидала
 это рано или поздно, а так
 будет. Варавра же, и моя мать
 мамина, она вообще не такая
 простая. Я думаю так же
 подсаживали меня, как у
 себя, поступать же при
 этом я была невос...
 потому что она была...

Дурная моя, если я пишу
 маму, так все доброты и
 милости как будто от себя
 беру. А ты, умилая моя,
 уполномоченная, пишешь себе и не
 забываешь, подбираешь себя ради всего
 отдуваясь, так и ждешь
 меня так же, о своей участи
 несколько не горюю, совершено
 спокойно встретил ее, так
 как давно знала и ожидала
 это рано или поздно, а так
 будет. Варавра же, и моя мать
 мамина, она вообще не такая
 простая. Я думаю так же
 подсаживали меня, как у
 себя, поступать же при
 этом я была невос...
 потому что она была...

Дурная моя, если я пишу
 маму, так все доброты и
 милости как будто от себя
 беру. А ты, умилая моя,
 уполномоченная, пишешь себе и не
 забываешь, подбираешь себя ради всего
 отдуваясь, так и ждешь
 меня так же, о своей участи
 несколько не горюю, совершено
 спокойно встретил ее, так
 как давно знала и ожидала
 это рано или поздно, а так
 будет. Варавра же, и моя мать
 мамина, она вообще не такая
 простая. Я думаю так же
 подсаживали меня, как у
 себя, поступать же при
 этом я была невос...
 потому что она была...

Последнее письмо С. Перовской матери.

ЛИСТОКЪ НАРОДНОЙ ВОЛИ

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ХРОНИКА.

цѣна 15 коп.

ИПНАТИЙ ЮАННОВИЧЪ ТРИНЕВИЦКІЙ—погибъ отъ удара себя, вторымъ выстрѣломъ удара Александра II, 1-го Марта 1881 г. на Екатерининскомъ мосту.

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧЪ САГУБИТЪ—погибъ послѣ оказаннаго ему вооруженнаго сопротивления при заступанствѣ императрицы отъ на Терской улицѣ въ С.П. 3 Марта 1881 г.

3-го Апрѣля 1881 г. на Соловьевскомъ плацу, въ С.П. похищенныя социальны-революционеры **АНДРЕЙ ИВАНОВИЧЪ ЖЕЛЕЗОВЪ, ОМѢЛІА АНДРЕЕВНА ПЕРОВОУСКАЯ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ ТИМОФЕЕВИЧЪ МИХАЙЛОВЪ** и **НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ УЧАСКОВЪ**.

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА.

Исполнительный Комитетъ проситъ осторожнѣе избегать всякихъ флиртъ. Провѣдты: около 50 дѣтъ, роста выше среднего, тѣло среднѣе, бороды тонкая, расчесывать въ обѣ стороны, волосы съ средней части лба. Волосы синие, глаза, сперва въторыхъ иногда кажутся голубыми, голубыми, голубыми. Живетъ по въ Павловскѣ по въ Петергофѣ.

Цѣлоз. Комит. 16-го Мая 1881 г.

ОТЪ РЕДАКЦІИ:

а) Редакция «Народной Воли» благодаритъ, что сохранены экземпляры № 5 «Народной Воли» въ типографіи исполнителей по порученію Исп. Ком. слѣдующія издания: 1) Прокламация Исп. Ком. по поводу событія 1-го марта, 2) Прокламация Исп. Ком. къ Евр. обществу, 3) Объясненіе къ русскимъ крестьянамъ, 4) Открытое писаніе Исп. Ком. къ Александру III и 5) Прокламация Исп. Ком. по поводу славы 3-го Апрѣля.

б) Приступая вновь къ изданію «Народной Воли», редакціи вѣстимъ нашей типографіи, мы не можемъ въ социальныя воспользоваться бездѣльною частью матеріала, доставленнаго редакціи корреспондентами въ теченіи минувшаго и послѣдшаго мѣсяцевъ. Необходимо перервать связь

съ редакціей, въ виду того, что редакція не имѣетъ возможности получить этотъ матеріалъ. Простите, пожалуйста, за это, редакціи, въ виду того, что редакція не имѣетъ возможности получить этотъ матеріалъ. Простите, пожалуйста, за это, редакціи, въ виду того, что редакція не имѣетъ возможности получить этотъ матеріалъ.

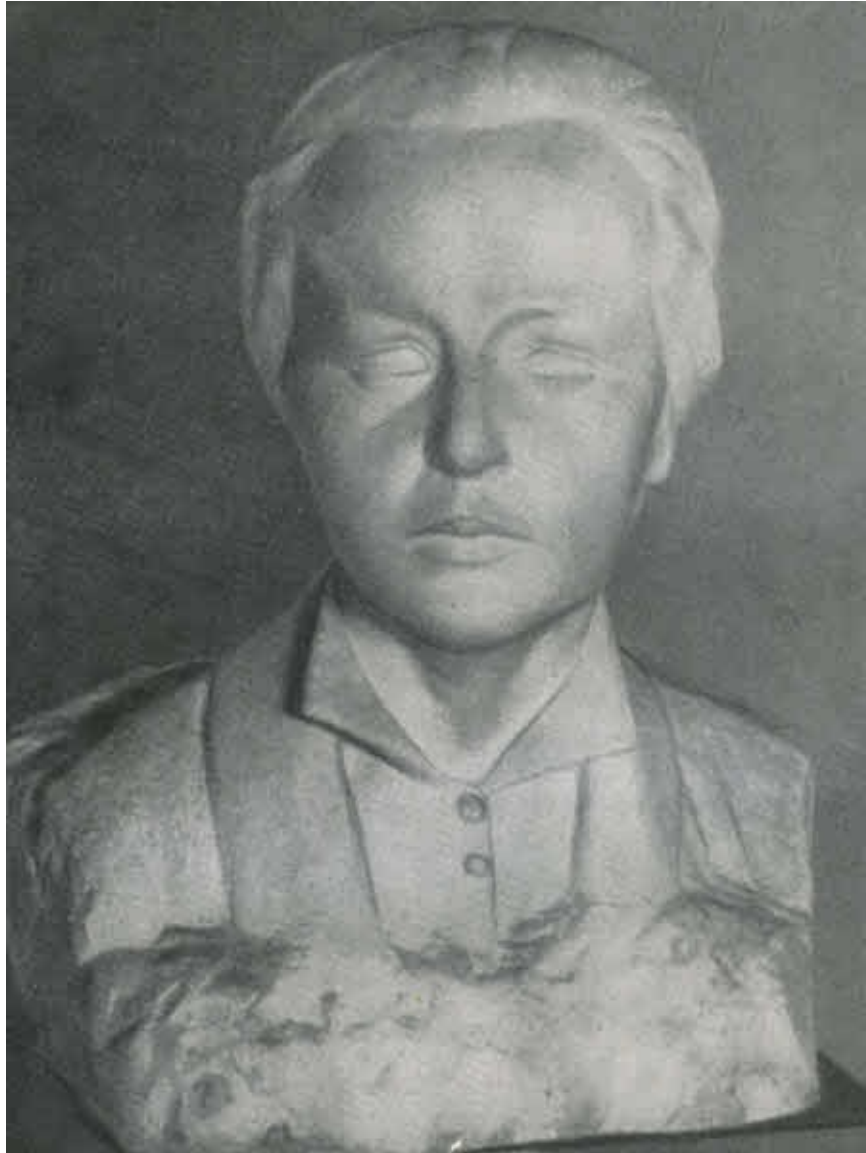
Изданіе теперь этотъ Листокъ, мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ.

Петергофъ 15-го Мая.

Суть вѣрить въ нашу идею. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ.

Но нечего намъ вѣряться въ нашу идею. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ. Мы надѣемся, скоро выйдеть въ свѣтъ.

«Листок «Народной воли» с сообщением о казни участников покушения на Александра II.



Бюст С. Л. Перовской (работа скульптора Г. Кепинова).

Краткая библиография

Работы классиков марксизма-ленинизма

К. Маркс и Ф. Энгельс, Предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии». Соч., изд. 2-е, стр. 304–305.

Ф. Энгельс, Введение к брошюре «О социальном вопросе в России». Соч., изд. 2-е, стр. 566–568.

«Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями». Изд. 2-е. М., Госполитиздат, 1951.

В. И. Ленин, Гонители земства и Аннибалы либерализма. Соч., т. 5.

В. И. Ленин, Что делать? Соч., т. 5.

В. И. Ленин, Понятное направление в русской социал-демократии. Соч., т. 4.

В. И. Ленин, Мелкобуржуазный и пролетарский социализм. Соч, т. 9.

В. И. Ленин, Крестьянская «реформа». Соч., т. 17.

В. И. Ленин, Лев Толстой, как зеркало русской революции. Соч, т. 15.

В. И. Ленин, Памяти Герцена. Соч., т. 18.

В. И. Ленин, Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Соч., т. 31.

Документы и публикации о С. Л. Перовской и деятельности «Народной воли».

Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932.

К делу 1 марта 1881 г. «Былое», 1918, № 4–5.

К истории военной организации «Народной воли». (Показания Ф. И. Завалишина.) М., «Каторга и ссылка», 1925, кн. 18.

Кравчинский С., Смерть за смерть. П., 1920.

Литература партии «Народной воли». М., 1907.

«Народная воля» перед царским судом. М., изд-во политкаторжан, 1930,

«Народная воля» в документах и воспоминаниях. М., изд-во политкаторжан, 1930.

Неизданные письма С. Л. Перовской (1872–1873). М.—П., «Красный архив», 1923, т. III.

Отчет стенографический по делу о революционной пропаганде в империи. Спб., 1878.

Перетц Е. А., Дневник. М., 1927.

Перовская С. Л. (Брошюра.) Лондон, 1882.

Письма участников процесса 193-х (с предисловием Р. М. Кантора). «Красный архив», 1924, т. V.

Процесс 193-х. Издание Саблина, 1906.

Процесс 16 террористов. Спб, 1906.

Процесс 1 марта. Спб., 1906.

Процесс 17 народовольцев. 1873 г. «Былое», 1906, № 10.

Процесс 20 народовольцев. «Былое», 1906, № 1.

Суд над преступниками 1 марта 1881 г. Полный отчет в официальной редакции. М., 1881.

Воспоминания

Аптекман О. В., Общество «Земля и воля». П., 1924.

Ашенбреннер М. Ю., Военно-революционная организация партии «Народной воли». «Каторга и ссылка», кн. 7. П., 1923.

Брейтфус Андрей, Из воспоминаний о казни. «Былое», 1924, № 25.

Иванов С., Из воспоминаний о 1881 годе. «Былое», апрель 1906, № 4.

Иванова София, Воспоминания о С. Л. Перовской.

Ивановская П. С., Л. Д. Терентьева. «Каторга и ссылка», 1931, кн 3(76).

Ивановская П. С., Первые типографии «Народной воли». «Каторга и ссылка», 1926, кн. 3(24).

Иохельсон, Далекое прошлое. «Былое», 1918, кн. 6–7;

Первые дни «Народной воли». П., 1922.

Карпова М., Софья Перовская в Ставрополе. «Каторга и ссылка», 1925, № 2.

Кафиеро-Кутузова О., Из далекого прошлого. «Былое», 1907, № 1 (13).

Ковальская Е. Н., Из моих воспоминаний. «Каторга и ссылка», 1926, № 1.

Ковальская Е. Н., Мои встречи с С. Л. Перовской. «Былое», 1921, № 16.

Кравчинский С., Подпольная Россия. Соч., т. I. М., Гослитиздат.

Кропоткин П., Записки революционера. М., 1925.

Любатович О., Далекое и недавнее. М., 1930.

Мещерский В. П., Мои воспоминания. П., 1898.

- Морозов Н., Повести моей жизни. М, 1947.
- Морозов Н., Возникновение «Народной воли». «Былое», 1906, № 12.
- Несколько слов о казни цареубийц 3 апреля 1881 года. «Былое», 1919, № 15.
- Новицкий, Из воспоминаний жандарма. М., изд-во «Прибой», 1929.
- Первое марта 1881 г. Статьи и воспоминания. М., 1931.
- Первое марта 1881 г. М., изд-во политкаторжан, 1933.
- Перовский В. Л., Воспоминания о сестре. М., Гиз, 1927.
- Попов М. Р., Записки землевольца. М., 1933.
- Прибылен а-К о р б а А. П. и Фигнер В. И., Александр Дмитриевич Михайлов, М., Гиз, 1925.
- Прибылена-Корба А. П., «Народная воля». М., 1925.
- Серебряков Е. А., Революционеры во флоте. П., 1920.
- Сидоренко Е., 1 марта 1881. Харьков, «Пути революции», 1926, кн. 2–3.
- Синегуб С., Записки чайковца. М., изд-во «Молодая гвардия», 1929.
- Старик (Ковалик), Движение семидесятых годов по Большому процессу (193-х). «Былое», 1906, № 10.
- Тихомиров Л., А. И. Желябов и С. Л. Перовская. Изд-во «Донская речь», 1906.
- Тырков А. В., К событиям 1 марта 1881 г. «Былое», 1906, № 5.
- Фигнер В. Н., Запечатленный труд, тт. 1–2. М., 1921–1923.
- Фроленко М. Ф., Липецкий и воронежский съезды. «Былое», 1907, № 1.
- Фроленко М. Ф. Собрание соч., тт. 1–2. М.
- Чарушин Н. Я, Детство и в гимназии. Кружок чайковцев. М., 1926.
- Шишко Л. Э., С. Кравчинский и кружок чайковцев. Собр. соч., т. IV. П» 1918.
- Эльцина-З а к М., Из встреч с первомайцами. «Каторга и ссылка», 1924, № 12.
- Якимова А. В., Группа «Свобода или смерть». «Каторга и ссылка», 1926, № 3.
- Якимова А. В., Покушение на Александра II. М.—Л., 1928.
- Якимова А. В., «Большой процесс» или процесс 193-х. «Каторга и ссылка», 1927, № 8.

- Ашешов Н. П., Софья Перовская. П., Гиз, 1920.
- Берви-Флеровский В. В., Три политические системы. Лондон, 1897,
- Богучарский В. Я., Из истории политической борьбы партии «Народной воли», 1912.
- Корелин П. Н., Новое о С. Л. Перовской. «Материалы об-ва изучения Тверского края», 1928, № 6.
- Корнилова-Мороз А., Перовская и кружок чайковцев. М» 1929.
- Корнилова-Мороз А., Софья Перовская — член Исполнительного Комитета «Народной воли». М., изд-во политкаторжан, 1930.
- Корольчук Э., Из истории пропаганды среди рабочих Петербурга в середине 70-х годов. «Каторга и ссылка», 1928, № 1–2.
- Левин Ш. М., Кружок чайковцев и пропаганда среди петербургских рабочих в начале 1870 года. «Каторга и ссылка», 1929, кн. 61.
- Левицкий В., «Народная воля» и рабочий класс. «Каторга и ссылка», 1930, № 1.
- Невский В. И., От «Земли и воли» к группе «Освобождения труда». М., 1930.
- Павлюченко Э. А., Софья Перовская. Учпедгиз, 1959.
- Панкратов В. С., Из деятельности рабочих в 1880–1884 гг. П., «Былое», 1906, № 3.
- Плеханов Г. В., Неудачная история. Партия «Народной воли». Собр. соч., т. XXIV.
- Плеханов Г. В., О былом и небылицах. Собр. соч., т. XXIV.
- Плеханов Г. В., Русский рабочий в революционном движении. Собр. соч., т. III.
- Плеханов Г. В., Наши разногласия. Собр. соч., т. II.
- Полонская М. Н. (Ошанина), К истории партии «Народной воли». «Былое», 1907, № 6.
- Русанов Н. С., Идейные основы «Народной воли». «Былое», 1907, № 9(21).
- Столпянский П. Н., Революционный Петербург. Птг., 1922.
- Твардовская В. А., Кризис «Земли и воли» в конце 70-х годов. «История СССР», 1959, № 4.
- Твардовская В. А., Воронежский съезд землевольцев. «Историческая наука», 1959, № 2.
- Твардовская В. А., Организационные основы «Народной воли». «Исторические записки», № 67.
- Тезисы Культпропа ЦК ВКП(б) к 50-летию «Народной воли». М., 1930.
- Ткаченко, Революционная народническая организация «Земля и воля».

М., изд-во «Высшая школа», 1961.

Тун А., История революционного движения в России, 1917.

Тютчев, Революционное движение 1870—80 гг. М., 1925.

INFO

Сегал Елена Александровна

СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ

М., «Молодая гвардия», 1962. Жизнь замечательных людей
Серия биографий. Вып. 15(348).

400 с., 11 л. илл.

Редактор Г. Короткевич

Художники Г. Калиновский и Б. Диодоров

Обложка работы художника Э. Озола

Худож. редактор Ю. Хамов Техн, редактор В. Савельева

А09469. Подп. к печ. 30/XI 1962 г.

84x108 1/32. Печ. л. 12,5(20,5)+11 вкл. Уч. — изд. л. 19,4.

Тираж 115 000 экз. Заказ 1540. Цена 76 коп.

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия».

Москва, А-30, Суццевская, 21.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

КНИГИ 1962 года

Вышли в свет:

- 1(334) М. Булгаков, Мольер, 240 стр. + 7 вкл., цена 50 коп.
2(335) Г. Миронов, Короленко, 368 стр. + 9 вкл., цена 70 коп.
3(336) И. Гуро, Л. Фоменко, Анри Барбюс, 279 стр. + 9 вкл., цена 58 коп.
4(337) А. Левандовский, Жанна д'Арк, 288 стр. + 8 вкл., цена 59 коп.
5(338) В. Порудоминский, Гаршин, 304 стр. + 7 вкл., цена 61 коп.
6(339) И. Лаврецкий, Панчо Вилья, 256 стр. + 6 вкл., цена 54 коп. 7(340) Корней Чуковский, Современники. Портреты и этюды, 704 стр. Ч 16 вкл., цена 1 р. 23 к.
8(341) А. Манфред, Марат, 352 стр. + 8 вкл., цена 69 коп.
9(342) Г. Серебрякова, Карл Маркс, 688 стр. + 21 вкл., цена 1 р. 29 к.
10(343) В. Поокофьев, Петрашевский, 336 стр. + 7 вкл., цена 65 коп.
11(344) М. Арлазоров, Циолковский, 320 стр. + 10 вкл., цена 65 коп.
12(345) А. Таланов, Качалов, 240 стр. + 10 вкл., цена 52 коп. 13(346) М. Яновская, Роберт Кох, 272 стр. + 6 вкл., цена 58 коп. 14(347) Т. Гладков, Джон Рид, 288 стр. + 8 вкл., цена 60 коп.

Печатаются:

- Х. Пирсон, Диккенс. Перевод с английского.
А. Моруа, Три Дюма. Перевод с французского.
Л. Гроссман, Достоевский.
Г. Гулиа, Дмитрий Гулиа.
А. Алдан-Семенов, Черский.
И. Дубинский-Мухадзе, Орджоникидзе.
М. Колесников, Дипонегоро.
Н. Бажанов, Рахманинов.
М. Яструн, Мицкевич. Перевод с польского.
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Каталог книг серии 1933–1962.

Выйдут в свет в 1963 году:

М. Горький, Литературные портреты.
Герои гражданской войны. Сборник.
А. Толмачев, Калинин.
М. Брагин, Кутузов.
А. Елкин, Луначарский.
Ф. Бега, В. Александров, Петровский.
Б. Расин, Подбельский.
Ж. Амаду, Кастро Алвес перев. с португал.
К. Калчев, Димитров, перев. с болгарск.
Л. Визен, Хосе Марти.
Авиаторы и космонавты. Популярный биографический словарь.
Г. Голубев, Заболотный.
М. Поступальская, С. Ардашникова, Обручев.
А. Студитский, Павлов.
О. Писаржевский, Прянишников.
В. Прибытков, Иван Федоров.
А. Штекли, Джордано Бруно.
А. Акимова, Дидро.
Е. Брандис, Марко Вовчок.
А. Гладков, А. Н. Островский.
Ю. Коротков, Писарев.
В. Шкловский, Лев Толстой.
А. Турков, Салтыков-Щедрин.
С. Цвейг, Бальзак, перев. с немецк., 2-е изд.
И. Стоун, Джек Лондон, перев. с англ., 2-е изд.
М. Мижо, Сент-Экзюпери, перев. с франц.
Д. Доддз, Теккерей, перев. с англ.
Х. Херсонский, Вахтангов.
М. Герман, Домье.
Р. Рильке, Роден, перев. с немецк.
Я. Ивашкевич, Шопен, перев. с польск.

notes

Примечания

1

То есть не имеющему права престолонаследия.

2

Яд (нем.).

3

Спасайся, кто может (фр.).

4

Мать-кормилица (*лат.*), как студенты называли свое учебное заведение.

Киевский и одесский генерал-губернаторы.

Гриневицкий.

Тимофей Михайлов.

Рысаков.

Емельянов.

10

Возможно покушение.